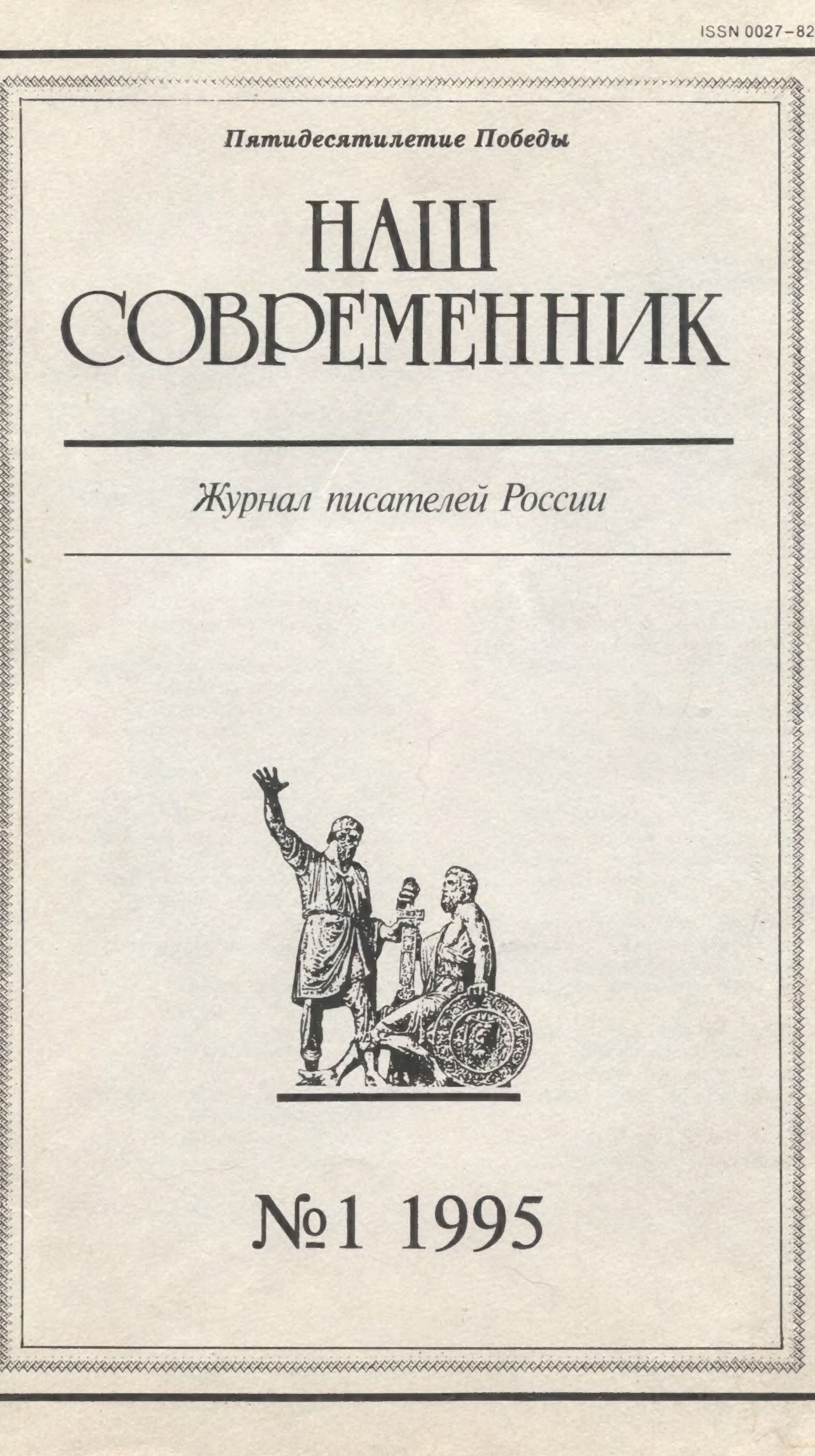
ISSN 0027-8238



50-летию Победы посвящается



НАД КНИГОЙ Г. К. ЖУКОВА "ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ"

В теснину шорохов и звуков
Кремлевской сумрачной стены
ушел опальный маршал Жуков,
великий каторжник войны.

За грань того мемориала,
куда в годину торжества
досмертный пропуск подписала
ему народная молва.

Ушел негнучий, нелукавый,
перед страной не мельтеша,
помимо болестей и славы
не накопивший ни шиша.

Который год в отставке дачной,
он словно выпал из времен,
как бы стеной полупрозрачной
от всех сограждан отделен.

Нам не видны его печали,
его обиды не слышны.
Но на руке его стучали
часы судьбы. Часы войны.

Он повторял фронты и даты,
он из боев не выходил,
как те великие солдаты,
кому он книгу посвятил.

Познав, что время многолико,
и неохочий до похвал,
он всем от мала до велика
по их достоинствам воздал.

И что с того, что неудобен
суровый маршальский правеж?!
И коль Верховный был верховен —
то против правды не попрешь.

Кому же лучше знать об этом,
и чьи резоны таковы —
запеленавшие Победу
снегами Вязьмы и Москвы?!

Того Россия захотела
от кожемяки-скорняка,
когда эпоха то и дело
страну кормила со штыка.

Он мог за проволокой ржавой
тягать колымское кайло.
Уберегла его Держава.
И ей хоть в этом — повезло.

Юрий БЕЛИЧЕНКО



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей России
Издательско-производственное
объединение писателей России
Международный фонд
славянской письменности и культуры
Сотрудники редакции и члены
Совета редакции

№1 1995

МОСКВА

Содержание

Компьютерная верстка М. Г. Акколаевой.
Операторы М. Б. Терентьева, Ю. Г. Сотова.
Корректоры С. А. Артамонова, С. Н. Извекова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 № 1222.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 32. Телефоны: 200-24-24 (секретариат); 200-23-88 (отдел прозы); 200-24-90 (отдел поэзии); 921-48-71 (отдел очерка и публицистики; отдел критики); 921-43-59(технический центр); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 01.12.94. Подписано в печать 29.12.94. Формат 70 х 108 1/16. Бумага газетная. Офсетная печать. Усл.печ.л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,5.. Уч.-изд. л. 19,94. Тираж 31 305 экз. Заказ 53.

103750, Цветной бульвар, 30.
Ордена "Знак Почета" типография "Красная звезда", 123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ЧИТАТЕЛИ И "НАДЗИРАТЕЛИ"

В эти дни утрат — социальных, личных, духовных — всякое расставание тревожно и каждая встреча радостна. Завершая минувший год, мы не без тревоги ждали результатов подписки. Речь шла не только о судьбе "Нашего современника" — о том, выживет ли "толстый" литературно-художественный журнал как вид периодики.

К счастью, худшего не произошло. Литературный журнал — это уникальное явление отечественной культуры (именно в России он имел особое общественное и художественное значение) — выстоял в очередном испытании. И вновь "Наш современник" оказался лидером подписной кампании. В 1995 году мы сохранили почти всех своих читателей. 26 тысяч индивидуальных подписчиков подтвердили свою верность "Нашему современнику", свою любовь к его постоянным авторам. О подписке на другие журналы. У "Нового мира" около 25 тысяч подписчиков, у "Молодой гвардии" — около 16 тысяч. Но это журналы с "честной подпиской", поскольку подписка "Знамени" (21 тысяча), "Октября" (15 тысяч), "Невы" (14 тысяч), "Дружбы народов" (11 тысяч) больше чем наполовину (точная цифра скрывается) оплачивается партийными деньгами товарища Джорджа Сорроса (распорядитель Гр. Бакланов) и отправляется "сверху" в российские библиотеки, где их мало кто читает. Мы называем это "принудительной подпиской на партийные деньги", потому что именно так в свое время библиотекам навязывались "Коммунист", "Партийная жизнь", "Блокнот агитатора". Но что делать! Без сорровско-баклановских денег "демократические издания" давно бы приказали долго жить.

Подписка — это оценка работы журнала, труда, исканий его сотрудников.

Мы предлагали читателю трудную работу — работу мысли, самостоятельной, бескомпромиссной, стремящейся охватить все проявления, противоречия нашей современности и нашей истории. Мы сознательно удерживались от того, чтобы кормить его пережеванной пищей готовых формул, бесплодной жвачкой лозунгов и схем. Мы верили в духовную зрелость нашего читателя, умудренного опытом нынешней беды и долголетней борьбой за патриотическую идею (именно такой читатель — со стажем, выписывающий журнал по 10 и более лет, — составляет основу нашей аудитории). Ни на минуту не усомнились мы в его способности постичь глубину (порою поистине пугающую) мысли последнего русского классика Леонида Леонова, стремившегося в своем вершинном создании — романе "Пирамида" — не только прояснить смысл человеческих и народных трагедий нашего века, но и заглянуть в будущее, подсказать человечеству достойный выбор, в известном смысле предопределить его грядущую судьбу. Мы верили, что читатель "Нашего современника" поймет напряженность историософских исканий одного из леоновских наследников — Владимира Личутина, обратившегося к первому надлому русской истории — церковному расколу XVII века, от которого через три столетия в толще народной жизни змеится роковая трещина. Удивителен язык личутинского романа — северный, заповедный, настоянный ароматом столетий. Редакция не просила автора упростить язык, привести к современному стандарту. Мы знали — нашего читателя не отпугнет родная архаика, древняя красота северных речений.

Мы ценили в читателе силу мысли и эстетическое чутье. И не ошиблись. Одновременно с результатами подписки мы узнали мнение читателей о нашем журнале, выраженное в ответах на анкету, опубликованную в 10-м номере за 1994 год. В редакции получено уже несколько сотен ответов, и только два человека утверждали, что они отрицательно относятся к направленности журнала и считают, что его содержание за последнее время изменилось в худшую сторону. Один из них — явный, неисправимый ельцинист, который — удивительное дело! — только теперь понял, что

журнал критически оценивает многие аспекты деятельности президента и его команды. Другой — экстремист с противоположного фланга: на его взгляд, журнал недостаточно активно борется с врагами русского народа, в частности, с теми, кого не всегда точно называют сионистами.

Любопытно, что та же идеологическая “симметрия” упреков — справа и слева — присутствует в печатных откликах на публикации журнала, на его общественно-политическую и художественную линию. О “Нашем современнике” в минувшем году писали немало, в том числе и в критическом плане. На наш взгляд, это лишнее свидетельство активной позиции журнала, его общественной значимости: с изданием, не вызывающим широкого резонанса, спорить не будут. Разумеется, редакция заинтересована разобраться и в сути упреков. Мы отнюдь не считаем себя непогрешимыми и готовы извлечь рациональное зерно из любой критики. Если оно там имеется.

На “Наш современник” нападали такие, казалось бы, “взаимоисключающие” друг друга авторы, как Виктор Астафьев и Татьяна Глушкова. Такие разведенные на противоположные общественные полюса издания, как “Литературная газета” и журнал “Молодая гвардия”, “Вечерний клуб” (приложение к московской “Вечерке” с ее вполне специфической позицией) и палестинское издание “Аль-Кодс”. Для диапазона добавим к ним заокеанскую монархическую газету “Наша страна”, издающуюся в Аргентине.

Внимательно присматриваясь к замечаниям, пытаясь понять логику и побудительные мотивы оппонентов, нельзя не заметить, что критика, раздающаяся в наш адрес, отражает крайние, сектантские общественно-политические точки зрения. Поистине, крайности сходятся, если уж В. Астафьев, изменивший русскому движению, и яростная фундаменталистка Т. Глушкова объединяются в неприятии линии журнала.

Виктор Астафьев, попав в компанию “подписантов-расстрельщиков”, в октябре 1993 года призывавших в газете “Известия” расправиться с писателями-патриотами, вынужден все больше увязать в пошлой русофобии. Отвечая на вопросы “Вечернего клуба”, он обвинил главного редактора “Нашего современника” в том, что тот “свихнулся” на патриотизме. П и с а т е л ю стоило бы задуматься хотя бы над смыслом употребляемых им слов. Можно ли называть безумной любовь к родине? Нет, это ненависть к родной земле — признак потемнения рассудка!

Татьяна Глушкова посвящает сокрушению “Нашего современника” уже п я т у ю статью, причем в журнале “Молодая гвардия” после большой публикации в № 11 уже заявлено и продолжение — если это будет еще пять статей, боимся, что у дружественного журнала, чей тираж, к сожалению, сильно упал, вообще не останется подписчиков! Она именует нас “журналом измены”. Но если это обвинение справедливо, то отчего бы браниться “изменнику” В. Астафьеву: именно он, по логике Глушковой, должен был быть близок “Нашему современнику”. Ан нет, в 1994 году нам были близки Л. Леонов, В. Белов, А. Проханов, В. Личутин, В. Крупин, Ю. Кузнецов. А это — люди не измены, а верности и веры.

А может быть, бдительный критик обнаружит признаки “измены” в статьях С. Кара-Мурзы, В. Бушина, О. Платонова, К. Душенова, В. Кожинова, Н. Нарочницкой? Или в исследовании митрополита Иоанна “Русь соборная”? Или в знаменитой работе Дугласа Рида “Спор о Сионе”, которая благодаря нашему журналу стала доступной не только московскому читателю, но и тысячам подписчиков в провинции? Если “Наш современник” — “журнал измены”, почему же он, а не та же “Молодая гвардия”, стал трибуной патриотической оппозиции, опубликовав выступления лидеров практически всех ее ведущих группировок: Г. Зюганова, В. Зорькина, А. Руцкого, Н. Павлова, С. Говорухина, Михаила Астафьева (в портфеле редакции статья С. Бабурина)?

Неусыпно надзирая за линией “Нашего современника”, “Молодая гвардия” проглядела эти важнейшие публикации. Зато обнаружила “факт” “активного влияния на его политику крайне антисоветских диссидентских сил”. Подразумеваются (и прямо называются) И. Шафаревич, Л. Бородин. А не стыдно ли “Молодой гвардии”, клеймящей И. Шафаревича, постоянно на своих страницах пользоваться его знаменитым термином “малый народ”, который именно он ввел в русскую публицистику? Не стыдно ли

человеку, очевидно, считающему себя русским патриотом, не знать разницы между диссидентами-русофобами и русскими националистами, боровшимися с космополитическо-интернационалистской в основе своей идеологией. Эту разницу прекрасно замечали даже на Западе (протестуя против сравнительно мягких приговоров русофобствующим диссидентам в восьмидесятые годы, Запад оставался равнодушным к многолетним срокам заключения, которые получали русские националисты: Л. Бородин, В. Осипов, И. Огурцов). Да и в родном ЦК, равно как и в КГБ, националистов и диссидентов отнюдь не смешивали. Недавно в журнале "Источник" (№ 6, 1994) был опубликован характерный документ — секретная Записка КГБ, направленная в ЦК КПСС и подписанная председателем Комитета Ю. Андроповым. В ней подчеркивается, что "русизм", русский национализм несравненно опаснее для власти, чем диссидентское движение, ибо "указанная деятельность имеет место в иной, более важной среде", иными словами, не в узком кружке еврейской по преимуществу интеллигенции, а в народе. В Записке перечисляются основные "прегрешения" националистов: "демагогия" о "необходимости борьбы за сохранение русской культуры, памятников старины, за спасение "русской нации"; заявления о "перерождении Советской власти, об отрыве партии от масс, об отсутствии противодействия сионистским тенденциям..." Неужели и мы должны счесть все это виной мужественных борцов за русское дело?

Только безумной пристрастностью можно объяснить и проводимое Т. Глушковой отождествление эмигрантских волн — первой, второй и третьей. Атаман Всевеликого Войска Донского и талантливый писатель П. Краснов, наверное, в гробу бы перевернулся, узнай он о том, что яростная обличительница записала его в один ряд с эмигрантами третьей волны, выезжавшими из Союза по израильским визам... А ведь мы опубликовали не какое-то "власовское" произведение Краснова, а его роман о славе русского оружия в войне 1877—1878 годов.

Если Т. Глушкова считает, что печатать Краснова недопустимо, ибо он боролся против Советской власти и воевал вместе с Власовым, то автор заокеанской "Нашей страны" В. Рудинский пытается запретить нам печатать стихи замечательного русского поэта-фронтовика Виктора Кочеткова. "Тот же журнал "Наш современник", почтительно воспроизведший на своих страницах "Цареубийцы" (роман П. Краснова — ред.)... унизился теперь до напечатания гнусного стихотворения некоего Кочеткова, направленного против генерала Власова".

Да будет известно г-ну Рудинскому, что "некий" В. Кочетков д в а ж д ы бежал из немецкого плена. Не на благополучный Запад и не в злосчастное воинство Власова, а на родину, чтобы, пройдя все мытарства фильтрационных лагерей, вновь встать в строй и сражаться с Гитлером за Россию.

"Мы хотели бы видеть в "Нашем современнике" союзников" — примирительно завершает свою заметку В. Рудинский. Заявляем на это: мы готовы к союзу со всеми, кто борется за русскую Россию, за право нашего народа — наряду со всеми другими народами — иметь свой национальный дом на Земле. Но именно поэтому мы не позволим над собой никакого идеологического "досмотра" — ни со стороны "Молодой гвардии", ни из-за океана. Не для того мы избавились от партийной цензуры, чтобы подчиняться новому цензурному диктату. Не дадим хулить героев, освободивших родину. Да, журнал публиковал и тех русских авторов, которым выпала з л а я с у д ь б а сражаться по другую линию фронта, в том числе и рассказы Рудинского. По русской традиции мы сострадаем им как людям, попавшим в беду. Но было бы абсурдом видеть подлинных героев войны в них, а не в освободителях России, к которым имеет честь принадлежать и член редколлегии журнала Виктор Иванович Кочетков.

Редакция "Нашего современника" не может принять обвинения и в "хулиганском" отношении, в "провокаторстве", раздавшегося со страниц "Литературной газеты" по поводу исследования А. Львова об Осипе Мандельштаме. Оно написано с глубоким проникновением в национальную психологию поэта, а главное — талантливо.

Еще более неприемлем для нас насмешливый тон иных критиков, рассуждающих о "православствующих" авторах журнала. Т. Глушковой,

изобретшей этот неологизм, чтобы побольнее уязвить Нину Карташеву (происходящую, кстати, из глубоко верующей семьи), следовало бы подумать, что ее “словотворчество” слишком напоминает риторические перлы Губельмана-Ярославского...

Не можем понять и того, зачем мужественная газета “Аль-Кодс”, чью справедливую борьбу за торжество истинной свободы печати редакция “Нашего современника” поддерживает, в отчете о вечере журнала язвительно писала о православной ориентации наших авторов. Конечно, сейчас существует некая официозная мода на православие (столь же поверхностная, сколь и спекулятивная), но ведь “Наш современник” был одним из первых защитников и пропагандистов православной веры, не случайно же ставшие ныне широко известными работы митрополита Санкт-Петербургского Иоанна опубликованы в “Нашем современнике”. Иронизировать над этим так же бестактно, как, скажем, глумиться над мусульманским духом, вдохновляющим бойцов палестинского сопротивления.

Внимательный подписчик заметил, наверное, что в последнее время из редколлегии “Нашего современника” вышли два известных русских писателя: В. Астафьев и Ю. Бондарев. Причины были идеологические. Одному не нравилось, что журнал “свихнулся” от патриотизма, а другому — что мы печатали Солженицына. Но даже и в этом трудном случае мы пошли на то, чтобы расстаться, — лишь бы не подчиняться никакому диктату, пускай даже со стороны известных писателей.

Повторим: мы не считаем себя непогрешимыми. К любым беспристрастным деловым замечаниям редакция готова прислушаться. Во многом для того, чтобы услышать такие замечания, мы и опубликовали в прошлом году вопросы анкеты. Но мы не дадим сбить нас с нашего пути, выверенного в многолетней борьбе за русскую идею, за русское дело. С широкой дороги отечественной словесности, вехи которой — великие идеалы нашей веры и священные предания нашей истории.

Наступивший год побуждает с особым чувством вспомнить об одном из таких преданий, близком и величественном. Для нас 1995-й— год Великой Победы. Не дежурный юбилей, к которому уже присасываются стремительно мимикрирующие официозные журналисты (еще вчера именовавшие Победителей “русскими рабами”, “красно-коричневыми”), а вдохновляющий пример отцов. Так же, как и мы, они вынуждены были сражаться со злом всего мира — и победили! Не дать замолчать эту Победу, не дать опошлить ее официозной пропаганде, вдохнуть уверенность и гордость в сегодняшних бойцов России — вот задача патриотической прессы, в том числе журнала “Наш современник”. Нам предстоит битва за Победу, уже одержанную отцами, и если мы одержим верх, это станет прологом русского торжества в новом развернувшемся ныне всемирном противоборстве.

Еще одна задача: сплотить все здоровые патриотические силы. Как и прежде, редакция будет предоставлять слово тем, кто думает о судьбе России, кто стремится содействовать ее возрождению. Мы будем публиковать лидеров оппозиции, представителей русской эмиграции, сохранивших верность стране и за рубежом. А если в правительстве внятно — делом — заявят о себе патриоты, журнал предоставит трибуну и этим людям.

В декабре пушки стреляли на территории России, штурмовики сбрасывали бомбы на российские поселки и города. Проблема сохранения целостности государства, проблема Державы, поднятая журналом в 1994 году, приобрела грозную актуальность. У писателей иные возможности и средства, чем у военных и политиков. Иной раз не менее, а более действенные. “Путь от души к душе другой” может связать людей и народы крепче, чем иной договор или совместное коммюнике. В конце 1994 года лучшие авторы журнала, в том числе Валентин Распутин и Игорь Шафаревич, приняли участие в Днях “Нашего современника” в Якутии. Возрождение единства народа и земель станет темой наших публикаций и других акций журнала в наступившем году.

Таковы вкратце планы. Надеемся, нам удастся их осуществить. Порукой тому — духовная независимость, творческая свобода, которую мы вновь отстояли благодаря нашим авторам и нашим подписчикам.

Редакция

50-летию Победы посвящается

ОЛЕГ СМИРНОВ



МЕСЯЦ КОЛОСЬЕВ

РОМАН

1

Иосиф Виссарионович Сталин благоволил к нему и отзывался так: "Толстый, но умный, очкастый да зоркий". И еще с той же угадываемой шутливостью называл его: "Наш толстун" — и за глаза, и в глаза. В последнем случае Александр Сергеевич Щербаков смущенно, благодарно и осторожно улыбался, и стекла его очков будто отражали эту улыбку. Конечно, Вождь мог бы отметить и такую черту Александра Сергеевича — трудолюбие, фантастическую работоспособность, когда ради порученного дела буквально не щадишь живота своего, можно сказать — работаешь на износ. Впрочем, у кого из окружения Вождя да и у самого Иосифа Виссарионовича иной стиль? Труд, труд, труд — потом все остальное. По крайней мере, Александру Сергеевичу положено именно так трудиться — одному из приближенных к Вождю руководящих деятелей.

Да, он трудяга, каких мало: ночи напролет, без единого выходного. Товарищ Сталин и другие — старше возрастом, поработав ночь, днем умеют поспать, передохнуть. А Александру Сергеевичу днем спится скверно даже со снотворным, в итоге — никакого отдыха. И поэтому он так устал, так вымотался, и потому так пошаливает сердечко. Конечно, на сердечке сказывается и некоторое ожирение,

---

СМИРНОВ Олег Павлович родился в 1921 году на Кубани. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг прозы, в том числе романов "Эшелон", "Прощание", "Неизбежность", "Северная корона", "Ближе к рассвету", повестей "Июнь", "Обещание жить", "Поиск", "Скорый до Баку", "Красный дым", "Остаток дней", "Свеча не угаснет", "Проводы журавлей" и других. Произведения переведены на зарубежные языки. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей с 1956 года. Живет в Москве. В "Нашем современнике" впервые выступил с повестью "Победитель" в майском номере 1993 года.

нарушен обмен веществ. Так это ж понятно: образ жизни малоподвижный, то в кабинете, то в автомобиле, шагу пешком не сделаешь. И поесть любит — в любое время суток, и поплотней. М-да, прегрешения наши тяжкие.

Щербаков усмехнулся, протер замшевой тряпочкой очки, опять надел, поправил на переносице указательным пальцем. Вздохнул, потер под расстегнутым кителем левую сторону рыхлой, в складочках, груди. Щемит, проклятое. Болезненное ощущение можно снять лекарственными таблетками. А можно — коньячком.

Неповоротливо, неуклюже Щербаков встал с крутящегося кресла, грузно подошел к сейфу, щелкнул замком. Бутылка отборного армянского стояла на месте, и стакан в посеребренном подстаканнике, с посеребренной ложкой — на месте. Выручайте, милые!

Щербаков знал, что и Вождь, и окружение крепко выпивают, но сам почему-то хотел предстать в их глазах не шибко пьющим. Для чего? Кто знает. На всякий случай, возможно. Хотя в общих застольях в хвосте не плелся. Но по-настоящему, для души, предпочитал выпивать в одиночестве. Чтоб никто не узнал об этом. Даже его верный помощник-секретарь. Верный-то верный, однако где гарантия, что не работает на Берию? А чем меньше Лаврентий Павлович и его ведомство ведают про тебя, тем лучше, нервничаешь вроде поменьше.

Он помешивал ложечкой в стакане с подстаканником, отхлебывал мелкими глотками — будто чай пил, такая уж сложилась привычка. Неспешно опорожнив стакан, отнес его в сейф, по соседству с ополовиненной бутылкой, щелкнул ключом. Терпкая жидкость превращалась в тепло, разливавшееся в груди, и сердце вроде начало покалывать пореже, поделикатнее. Лекарство что надо!

В горле запершило, Щербаков зычно прокашлялся:

— Кхы, кхы!

Чересчур зычно? Ничего, что-что, а кашлять и чихать он в своем кабинете может без опаски. Другое дело — размышлять вслух либо сказать по телефону нетелефонное, неосторожное, лишнее — упаси Боже, аппараты прослушиваются, а с некоторых пор в ЦК, поговаривают, и стены прослушиваются: якобы Черчилль либо Рузвельт подарил товарищу Сталину несколько десятков комплектов этих "жучков" — подслушивающих устройств, вмонтированных где? — только догадывайся, спасибо союзничкам и дорогому Лаврентию. Словом, лишних звуков в кабинете издавать не рекомендуется. Знаем, учены. И Щербаков опять усмехнулся. Вот что еще можно проделывать пока что безбоязненно — улыбаться и усмехаться втихаря.

Так вальяжничать, в расстегнутом кителе, Щербаков позволял себе нечасто. Но уж пользовался этими блаженными минутами с толком и чувством. Настраивался на искомую волну быстро: на душе покойно, легко, и думается о своей везучей, о своей счастливой судьбе: в сорок два года — секретарь ЦК ВКП(б), одновременно первый секретарь МК и МГК ВКП(б), начальник Главного политического управления Красной Армии, и воинское звание звонкое — генерал-полковник. Можно сказать, главный идеолог советских вооруженных сил, главный пропагандист и агитатор. Нет, конечно, главный идеолог всего и вся — Вождь, Иосиф Виссарионович Сталин, а он, Щербаков, идеолог, так сказать, в масштабе Красной Армии. Это само по себе что-то значит. И воспитанию личного состава он отдал всего себя. В том, как доблестно сражаются советские воины, есть известная заслуга начальника Главпура, генерал-полковника Щербакова. Ладно, ладно, не будем ложно скромными: весомая заслуга!

Да-а, завидных высот в партии, государстве и армии достиг Александр Сергеевич. И сколько завоюет еще? Пока что он лишь кандидат в члены Политбюро и не входит в ближайшее окружение Вождя — Молотов, Маленков, Каганович, Берия и другие киты. Но со временем непременно войдет, товарищ Сталин оценит его по достоинству. Он же до конца предан Вождю, умен, опытен, энергичен, только бы здоровьишко не подвело. Ничего, будем оптимистами!

Не зря Вождь изредка пускает по его адресу тоже вроде бы полушутливое: "Наш неисправимый оптимист". Правильно, неисправимый. Пример: мало кто верил, что осенью сорок первого отстоим Москву, часть правительства уже эвакуировалась в Куйбышев. А Щербаков верил — отстоим, и делал максимум для этого — прежде всего как руководитель Московской партийной организации. И ведь столица героически выстояла, и тут не сбросишь с весов содеянное в те отчаянные дни и недели Александром Сергеевичем Щербаковым. Таков факт истории.

— Кхы, кхы, кхы!

Привязался этот несносный кашель. Принять таблетку? Или коньячку? Александр Сергеевич потянулся к сейфу, однако на приставном столике со множеством телефонных аппаратов зазвонил внутренний — тоненький, загадочно вибрирующий. Щербаков мгновенно развернулся, плотней утвердил себя в кресле, снял трубку с рычажков. Звонил Поскребышев, секретарь Сталина. Он назвался, словно Александр Сергеевич имел право не узнать того, кто сидит в приемной перед кабинетом Вождя. Деликатный голос, вкрадчивый и какой-то действительно поскребывающий — по нервам. Поскребышев сказал:

— Товарищ Щербаков, товарищ Сталин собирает Политбюро, секретарей ЦК. В три ноль-ноль. Вы поняли?

— Понял, товарищ Поскребышев.

И, несмотря на такой ответ, секретарь повторил:

— В три ноль-ноль. Поняли?

— Конечно, конечно, товарищ Поскребышев. Все ясно!

Не попрощавшись, всесильный секретарь Сталина положил трубку. Положил свою и Щербаков, раздумывая: с какой повесткой заседание, ведь Политбюро давно не собиралось. Поскребышев, как всегда, не сказал, зачем собираются, он вообще никогда не говорил, зачем тебя вызывают, — только час или дату. Поэтому надо быть готовым ко в с е м у. Возможно, разговор пойдет о предстоящей операции в Белоруссии? Но ведь Верховный Главнокомандующий уже вызывал по этому поводу представителей Ставки маршалов Жукова и Василевского, командующих фронтами, начальников их штабов, членов Военных советов. А он, Щербаков, с час назад отпустил начальников фронтовых политуправлений, где тоже шла речь о наступательной Белорусской операции, конкретнее — о ее партийно-политическом обеспечении, об усилении роли политорганов и партийных организаций. Вождь может поднять его и задать какой-нибудь вопрос касательно этого совещания? И какие указания дал начальник Главпура начальникам фронтовых политуправлений? Что ж, Щербаков готов к любому вопросу, постарается доложить Верховному лаконично, исчерпывающе и по-ученому обоснованно.

Ну-с, а вот за это, за у ч е н о с т ь, Щербаков точно знал, Вождь его не жалует, называет: "наш профессор" — уже без намека на доброжелательную шутливость. Как будто Александр Сергеевич виноват в том, что некогда учился в Коммунистическом университете имени Свердлова и в Институте красной профессуры: партия направила — и без дискуссий. В окружении Вождя большинство людей в графе "Образование" бестрепетно могли бы записать: "Незаконченное начальное". Да и сам Вождь не закончил духовную семинарию, но — гениальный ум плюс неустанное самообразование, и его университеты — это жизнь и революционная работа.

А ведь на заседании Политбюро товарищ Сталин, точно, спросил Щербакова:

— Итоги совещания начальников Пуров?

Александр Сергеевич вскочил, как подброшенный, и только раскрыл рот, как Иосиф Виссарионович тихо сказал:

— Только без профессорских лекций. Докладывайте кратко.

— Слушаюсь, товарищ Сталин! — сказал Щербаков и с опаской отметил: Вождь в некотором раздражении. Чем это вызвано — неизвестно, но, естественно, тревожит. Вообще Иосиф Виссарионович нередко впадал в раздражение, подчас переходящее в бурный гнев, а то и в грубость, а порой оно бывало легким, еле заметным, как сейчас.

Он вполне членораздельно доложил, чем озадачил начальников Пуров на период подготовки и проведения наступательной операции, в чем была суть их выступлений. Сталин недослушал, сказал:

— А сколько на сегодня в Красной Армии коммунистов и комсомольцев? Доложите нам.

— К началу нынешнего года, товарищ Сталин, насчитывалось два миллиона семьсот тысяч коммунистов и два миллиона триста восемьдесят тысяч комсомольцев!

— Это на январь сорок четвертого. А я спрашиваю: сколько сегодня, понимаете, товарищ Щербаков, сегодня?

— Такими данными мы, товарищ Сталин, не располагаем...

— Очень жаль, товарищ Щербаков. Нужны обобщенные цифры если не за каждый месяц, то за каждый квартал. Вы скажете: товарищ Сталин разводит

писанину, бюрократию. Нет, товарищ Сталин не бюрократ. Ведь идет война, люди гибнут, численный состав членов и кандидатов партии, членов комсомола меняется. Происходит убыль. Вот почему важно возместить ее. Согласны со мною?

— Согласен, товарищ Сталин!

Верховный Главнокомандующий пососал мундштук, поглядел поверх сидящих за столом и поверх стоящего навытяжку Щербакова, пожевал губами, указательным пальцем провел по усам и еще тише сказал:

— Рекомендую вам, товарищ Щербаков, обратить внимание на следующее. Необходимо нацелить партполитаппарат на то, чтобы усилился приток желающих перед боем вступить в ряды большевистской партии. "Хочу умереть коммунистом, членом партии Ленина —Сталина..." И тому подобное... Вы меня поняли?

— Так точно, товарищ Сталин!

Верховный усмехнулся:

— Вы отвечаете не как красный профессор, а как красный командир, бывший царский прапорщик, например, как товарищ Василевский: слушаюсь, так точно. Жаль, товарищ Василевский не присутствует на Политбюро, он оценил бы ваши ответы...

И опять легкое раздражение пробилось в глуховатом голосе Вождя. Щербаков внутренне сжался, ожидая, что будет дальше. А дальше Вождь сказал:

— Садитесь, товарищ Щербаков. Благодарим за информацию. Надеемся, наши указания учтете...

— Учтем, непременно учтем!

— Не перебивайте товарища Сталина, он этого не любит... Красному профессору все ясно?

Александр Сергеевич уже не знал, подавать ему голос или реагировать как-то по-иному. В мозгу пронеслось: по-иному. Он опять вскочил, склонил голову и замер. Сталин сказал, обращаясь не к нему, а к заседающим:

— Да вы садитесь, садитесь. Сидеть — самое удобное... Я рад, что вам все ясно.

Вождь умолк и бесконечно долго ходил, сутулый, с загривком, среди молчавших, облепивших края стола заседаний в кабинете Верховного Главнокомандующего и попросту — товарища Сталина. Он похаживал вдоль длинного стола, попыхивал загасшей трубкой-кавказкой, а глядел — словно бы на каждого и в то же время ни на кого.

Александр Сергеевич безмолвствовал, как и все, скованный молчанием всевластного человека, и, как все, содрогался от того живого звука, что воспроизводил Вождь. Парализующий страх власти, уничтожающий в рядовом человеке все сущее — это было знакомо Александру Сергеевичу; и он содрогнулся своему пониманию и своему положению.

Между тем Вождь остановился и начал говорить — столь же долго, как ходил до этого. Удивительно, но он говорил как бы о постороннем, то есть не о связанном с Белорусской стратегической операцией, — а как бы вообще, экспромтом. Излагая общие, естественные явления, однако явления основополагающие, как и должно быть, Сталин изредка помахивал зажатой в цепких пальцах трубкой и говорил, словно бы перескакивая с предмета на предмет: то о роли Политбюро, которое практически не собирается и тем принижает свои функции, это его, его, лично товарища Сталина, недосмотр, исправим; то в принципе о значении идейно-воспитательной работы среди населения, особенно на освобожденных от оккупации территориях; то о восстановлении уничтоженных немцами колхозов и совхозов (Щербаков заметил: товарищ Сталин редко называл противника фашистами, гитлеровцами, захватчиками, — просто немцами, и это отчего-то с особой отчетливостью свидетельствовало о ненависти Вождя к врагу); то о необходимости смелее выдвигать в партийные руководящие органы проявивших себя комсомольских вожаков; то о целесообразности всячески развивать традиции офицерского корпуса, как это практиковалось в царской армии; то о пионерии, в частности о тимуровском движении, — чтоб активней помогало фронтовикам-инвалидам, семьям фронтовиков, и, кстати, награжден ли чем погибший под Каневом любимый детский писатель-орденоносец Аркадий Гайдар (несколько членов Политбюро осторожно ответили: "Награжден! "Красной Звездой!"); то вдруг спрашивал, ни к кому не обращаясь: "А при каких обстоятельствах погиб крейсер "Варяг"? — на сей раз соратники безмолвствовали, а Сталин, пренебрежительно махнув трубкой, вновь надолго замолкал.

Щербаков с мучительным, болезненным напряжением следил за ходом мыслей Вождя, чтоб не застигло врасплох, не совсем понимая повороты этой странной,

отвлеченной, разорванной речи. На миг ему показалось, что встретился со взглядом Вождя и прочел в нем нечто непонятное, не поддающееся никакому разумению. Наверное, один лишь Сталин понимал: с ним случались легкие удары, подскоки кровяного давления, когда и разум, и память как бы выходили из-под контроля. У Сталина было стойкое и тем опасное повышенное кровяное давление, о чем он не знал, но знали пользующие его терапевты Кремлевки и, конечно, приближенные — по слухам, в их числе Александр Сергеевич Щербаков.

Что-то со здоровьем Вождя (возраст, нервные перегрузки или другое) не совсем ладно, окружение разумело, однако углубляться — что́ неладно, насколько серьезно и какие сулит последствия, — никто себе не позволял: боялись и подумать на эту тему. И Александр Сергеевич не составлял исключения: гнал от себя эти крамольные мысли. Да и то, братцы: что будет со всем нынешним окружением, ежели к верховной власти придет другое лицо? Какое? И что станется со всеми теми, кто преданно служил предыдущему лицу? И какое окружение подберет себе новое лицо? Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие... Александр Сергеевич сколь ловил себя на этом старушечьем воздыхании, посмеивался над собой, но тем не менее — въелось, при случае и без случая — "Грехи наши тяжкие". Грехи, может, и были действительно, однако ж не столь уж тяжкие, и история их спишет.

2

Июнь в Белоруссии был щедр на духоту, росы и грибные дожди. К полудню парило, срывая досуха росу, после полудня солнце ярилось, искупая ночные грехи, под вечер небо обкладывали дожди, не очень теплые, но и не очень прохладные. Лето как бы боролось за свои права. И еще боролось голубым, чаще безоблачным, покойным небом. По смоленским, по белорусским лесам цвели ландыши, земляника и брусника, под елями и березами прятались ранние грибы. Оголодавшие за зиму и весну солдатики, не дожидаясь вареных, тем более жареных грибов, срывали их на корню, скрипя на губах, размолачивали зубами, не особенно разжевывая и не заботясь о возможности угодить вследствие этого в медсанчасть, а то и в медсанбат.

Замполит Данилкин, щупловатый и сутулый, морщась от ноющей боли в простреленном еще полгода назад плече, ходил по расположению батальона на полянах и внушительным тенорком предупреждал:

— Робя, не жри сырьем! Пропоносит! И дизентерия пропесочит!

Под кирзовыми сапогами со сбитыми задниками у него чмокала податливо мягкая болотистая луговина. Старшему лейтенанту казалось, что по прохладной влажной траве он идет босиком, и это было замечательно, ибо он давненько не хаживал босиком. Ну, в госпиталях, понятно, в тапочках, а так, в обычной боевой жизни — пудовые кирзачи с толстой подошвой, шаркаешь и шаркаешь по городскому булыжнику, по траншейному суглинку, по лесным корневищам в слежавшемся песке. Ничего, обойдет подразделения, приземлится для роздыха, сбросит кирзачи и обмотки и вот тогда-то пронзительно ощутит голую землю, пошевеливая от удовольствия пальцами.

А ведь солдатики это уже проделывали! Составив оружие в козлы, раскатав на траве шинели, кинув в головы вещмешки, блаженствовали вовсю: сверкали натруженными пятками; навернутые на голенища и ботинки проветривались портянки, подсыхали, своей пахучестью забивая махорочный дух. После тридцатикилометрового марша народ наслаждался жизнью в ожидании обеда-ужина, а батальонный замполит Данилкин косолапил от группы к группе и проводил работу.

Грибов было столько, что и вставать не надо: протяни с шинели руку — и срывай, отряхни маленько от земли и хрумкай в свое удовольствие. На предостережения Данилкина — не жрите сырьем — особого внимания не обращали: кто отмахивался, кто ощерялся, кто отшучивался: мол, солдатское брюхо все переломит. Данилкин понимал: изголодались, сам с голодухи готов был жевать что угодно, — ничего, скоро подъедут полевые кухни, повеселимся.

Но главная проводимая замполитом работа имела иную, можно сказать, идейно-политическую направленность. Надо было напомнить агитаторам, чтоб не забывали проводить беседы с личным составом — лучше в индивидуальном порядке — чтоб достойно завершить марш-бросок, без отставших, чтоб винтовки,

автоматы, пулеметы, гранаты берегли от загрязнения, ротным парттрупоргам напомнить: с окончанием марша, после ужина, возможно, будет общебатальонное партсобрание, посвященное предстоящим задачам коммунистов и комсомольцев в близких боях — быть в авангарде, первыми поднимаясь в атаку, показывая личный пример преданности партии, товарищу Сталину и Родине. И наиважнейшее — прием в партию. Если бы не приболел батальонный парторг, Данилкину было бы легче и быстрей обойти расположение, потом присоединиться к комбату и самому передохнуть. Жаль, жаль, что парторг Нигматуллин, тоже старший лейтенант, кривоногий рыжий татарин, перед маршем угораздился подхватить понос, угодил в санбат. Конечно, грибной сырьяк не лопал, однако желудок у него оказался не солдатский, а более деликатный, офицерский, шутки шутишь, Денис Степаныч? Шучу, ответил себе Данилкин, без шутки пропаду с устатку, рухну, как сноп.

И усну — как штык, по-солдатски говоря. Без боязни простудиться на земле: лето есть лето, и если подрубить елового лапника, то на таком лежбище никакая простуда не достанет и дрыхнуть будешь всласть, будто на пуховике. А окрест клубятся запахи хвои, разнотравья, волглой супеси. С полузасеянных полей словно бы пахнет свежеиспеченным хлебом, но это, конечно, лишь кажется — оттого, наверное, что из ржички-пшенички пекутся буханки. А что вкусней армейской пайки?

Это время, теплое, солнечное, в здешних краях называют месяцем колосьев. Рожь колосится, пшеница колосится. И грибы-спутники проклевываются: колосовики. Наголодавшиеся на марше солдаты грызли и грибы-колосовики, и пшеничные колосья. А от последних, не разжеванных как следует, пропоносит не слабее, чем от грибов. Не отведал ли еще до марша парторг Нигматуллин незрелых зернышек? Не исключено, голод не тетка. Во всяком случае, Нигматуллина сейчас не хватает.

Махмуд и сам это понимал, говорил при прощании Данилкину:

— Денис Степаныч, ты уж извиняй за конфуз. Покидаю неподходяще. Бои на горизонте, и еще какие, а я вроде бы бросаю тебя. Ведь мне замену прислать не успеют.

— Где уж успеть, — сказал Данилкин.

— Вроде дезертирую...

— Ты это брось. Не дезертируешь, а дизентируешь. Да и будешь поблизости, в санбате. Считай, с нами рядом.

— Так-то так, однако помочь тебе не смогу.

— Поправляйся. Еще поспеешь воротиться в строй. Сражение, чувствую, предстоит затяжное.

— Так считаешь?

— Да. Лето — самая пора воевать.

— Это точно. Перестану дристать — жди в батальоне.

— Буду ждать.

— Стыдно мне все-таки.

— Не переживай. На войне всяко случается.

Они похлопали друг друга по спине, и пароконная подвода увезла парторга. Недозрелые зернышки подвели? Да черт с ними, в июне сорок первого, а может, в начале июля, Денис Данилкин не хуже прочих размолачивал молодыми крепкими зубами такие же зерна и потому держался на ногах. Хотя тоже страдал не хуже прочих.

Бог ты мой, неужели прошло три года? Да, двадцать второе июня не за горами. Сорок четвертый год! А где же он, распостылый сорок первый? Канул в небытие, оставив по себе дымный, смрадный, кровавый и позорный след. Никуда не денешься: драпали тогда и додрапали до стен московских. Ну да ладно, теперь-то уж давно идем на запад. Скоро освободим Белоруссию. Освободим!

От высокого к низкому: он возвращается в места, где под кустиками присаживался, судорожно расстегнув армейские шаровары. Лечились травами, на ходу срывали, жевали, никаких же санчастей, — благо, в группе Данилкина был окруженец-ефрейтор, понимавший толк в лечебных травах. Их название? Забыл. Но помогали здорово. И как звать ефрейтора-травника — забыл. Помнил лишь: его насмерть срезало пулеметной очередью, когда подлеском переходили передний край, к своим. Срезали свои же, поскольку окруженцы не знали пароля. А откуда им было знать эти самые пропуск-отзыв? Какой он был в ту ночь? "Мушка — Москва", вот не забыл.

Ноги пудовые, в поясницу — кол осиновый вогнали, плечи ноют, будто с десяток километров тащил ствол станкового пулемета. И потертости, конечно, саднят: ступни и между пальцами, а также между ляжками и ягодицами, словно на коне наездился, хрен пехотный. А на марше конем пользовался лишь комбат: восседал в седле, за ним пёхом тянулся весь батальон, Данилкину даже неловко стало за капитана: неужто не усекает ситуации? Разумеется, комбату положено верхом, но если твои подчиненные выкладываются на марше, тебе не хочется спешиться и хотя бы с километр повести коня в поводу? Комбату, видать, не очень хочется...

Присев на трухлявом пеньке тут же, возле зарослей черемухи, Данилкин устало и медленно выкуривал папиросу-патрончик. Сколько он их выкурил, папиросок, самокруток и трофейных эрзац-сигарет (последние — дрянь невозможная)! Столько же, наверное, сколько прошагал верст по военным дорогам. Он усмехнулся такой мысли и такому сравнению, тщательно загасил окурок о пень, каблуком втоптал в землю: аккуратист, разумеет, что в лесу с огнем шутки плохи. От окурка, от "кресала" — зажигалки, от спички, от искры солдатского костра лес можно уберечь, но вот от снарядов, мин, бомб, гранат, зажигательных пуль — вряд ли. Потому и выгорают на войне целые урочища.

Надо было подниматься и двигать в роты, по своим замполитским делам, но усталость будто приклеила к трухлявому сосновому пеньку. Да, посидеть, отдохнуть — блаженство, особо ценимое после многокилометрового перехода. Данилкин повел плечами, вдохнул поглубже. Лесные запахи дурманили голову и в то же время как будто делали ее ясней, садившееся за верхушки берез, елей, сосен, осин солнце багрово посвечивало на западе. С запада же накатно доносило артиллерийскую стрельбу, близкую и не близкую. А за спиной, а за деревьями — людской говорок, конское ржание, бряцание оружием и котелками, выхлопы автомашины: в Черном лесу остановился на привал и, видимо, на ночлег не только доблестный батальон капитана Тенюкова, но и весь четыреста девяносто первый стрелковый полк, непромокаемый и непотопляемый.

Данилкин приготовился было уже встать, даже мышцы напружинил, когда из кустарника, по-медвежьи шумно сокрушая сухолом, вывалился Ленька Кравец, ординарец комбата Тенюкова, а заодно и замполита Данилкина: так сказать, слуга двух господ. К тому же хитроватый и нагловатый. Сразу растянул рот до ушей:

— Товарыш старший лейтенант! Я ж вас обшукался... А вы ось игде сидите, проклаждаетесь.

— Я не прохлаждаюсь, просто перекурил и сейчас пойду по ротам, — сказал Данилкин и подумал: похоже, я оправдываюсь перед этим солдатом.

— Та ни! Трэба итить не до рот, а до товарыша комбата. Вечерять.

— Веди, — ответил Данилкин и следом спросил: — Сырые грибы не жрешь?

— Та ни! Я наберу, почищу, помою и зажарю! Для капитана, а также ж для вас, товарыш старший лейтенант!

— Заботливый ты, с тобой не пропадешь.

— Николи! За мной, як за каменной стеной, га-га!

Данилкин не поддержал игривой веселости ординарца, тот вообще раздражал его, а при веселье — особенно. Все раздражало: медвежья стать, нагловатая ухмылка, некий панибратский тон прихлебалы батальонного начальства, мешанина украинского и русского в быстрой, пулеметной речи (Кравец из Харькова, города скорее русского, чем украинского). Данилкин шел за ним, умышленно приотставая, и Ленька Кравец оборачивался, притормаживал, посмеивался:

— Простить, товарыш старший лейтенант, шо поперед вас трохи шагаю. Як поперед батьки в пекло лезу, га-га!

"Дурацкое сравнение", — подумал Данилкин, отводя от лица стегавшие ветки лесной жимолости, в просторечии — волчьей ягоды. Побуревшие ягодины жимолости напоминали сгустки подсохшей крови, а уже заалевшие ягоды земляники — сгустки крови свежей. Скоро и свежей, и подсохшей крови будет в избытке. Вот почему перед наступлением, перед боем, большим или малым, Данилкин испытывал не одно лишь радостное возбуждение: освободим еще сколько-то родной земли, — но и тягостную тревогу: ох и поляжет нашего брата в тех боях-сражениях.

Эти чувства он испытывал и на марше к передовым позициям, и на привалах во время перехода, и нынче в лесах и болотах под Оршей — здесь, где они расположились, судя по всему, на ночевку. Хотя кто его знает: может, после

кормежки предстоит ночной марш? И такое ведь бывало: топали и днем, и ночью, а спали буквально на ходу, так что впереди идущие сваливались под ноги идущим вослед.

— Ще трошки, товарыш старший лейтенант, — сказал Ленька Кравец. — За першей ротой, за березнячком — вон тама, в лощине.

— Что там?

— Командир батальона капитан товарыш Тенюков, — внушительно сказал ординарец. — Разумиете?

Данилкин не ответил, подумал, что собирался продолжить замполитскую (и заодно парторга) деятельность с первой роты, он так и предполагал, однако вместо этого тащится к Тенюкову. Хотя не исключено, тот доложит о чем-нибудь существенном. По своей, по боевой части, а политической частью заведует он, старший лейтенант Данилкин Денис Степанович, прошу любить и жаловать.

Он, старшой, или по-флотски старлей, Денис Степанович Данилкин, коий просит любить его и жаловать, вышагивал, и ушедшая было крайняя утомленность вновь вливалась в сапоги, а оттуда — в икры, в поясницу, в спину. Загребал носками, сутулился, словно опять на марше в двадцать-тридцать километров. А пройти всего-то ничего — триста метров, вон окраек березняка, там и палатка комбата, — споровисто ж ему поставили, в брезентухе сыщется лежбище и для старшого Данилкина, солдатики поголовно его узнают. Встречавшие кто козыря кто, без пилотки ежели, принимали стойку "смирно", кто валялся на шинельке — поднимал голову. Уважали, стало быть? Хочется надеяться.

А комроты-один, разутый и в майке, не вставая, кинул Данилкину:

— Здорово, комиссар! Все мотаешься, все мобилизуешь?

— Должность обязывает, Гусейн, — сказал Данилкин почти дружески, потому что с лейтенантом Таги-заде он не раз ходил в атаку в ротной цепи, плюс этому Гусейн Таги-заде сам был отменным смельчаком, отчаюгой, сорвиголовой, не зря — дважды орденоносец.

Данилкин откровенно ему позавидовал: вот так бы сбросить просоленную потищем гимнастерку и просоленные влажные портянки — побогдыханствовать. Но у каждого, увы, своя доля. Он ответил Гусейну:

— Вскорости навещу роту.

— Милости просим. Политсостав мы уважаем. Равно как и командный. Можешь даже заночевать у нас.

Помимо прочего, они были уже и на "ты", что, однако, не весьма вписывалось в уставные отношения: все-таки Данилкин, замполит батальона, был начальством для Таги-заде, ротного. Ну да чего там считаться, чего мелочиться на фронте?

А фронт был недалеко. Иногда грохотало довольно сильно, иногда слабей, и тогда мерещилось робкое пулеметное тарахтенье. Или это вправду лишь мерещилось?

3

— Умывайся, Денис. И — присаживайся. Подрубаем что Бог и ординарец послал, — сказал Тенюков.

Он был в чистой исподней рубахе, пропотевшая, потемневшая (хотя ехал верхом, фон-барон) сушилась на ветке. Мокрая после умывания, цвета галочьего пера шевелюра расчесана на косой пробор, голубые глаза холодноваты. Ажур! Данилкин спросил:

— Ночевка?

— Так точно, разлюбезный мой заместитель! Командир полка еще на марше просветил, отвел район расположения.

— И почему ты мне тогда же не сообщил?

— Да где тебя искать! Ты с бойцами шел, то в одной роте, то в другой. Духоподъемом занимался. И законно, это твой хлеб. А мой хлеб — командовать.

— Замполита надлежит держать в курсе, Модест.

— Если посчитаю нужным... Не ерепенься, однако. Так вот, ночуем, а утречком, отзавтракав, — махнем маршем к передовой, в ближний тыл. Уяснил?

— Вполне. А когда же мне партполитработу проводить? Батальонное партийно-комсомольское собрание, инструктаж агитаторов и редакторов "боевых листков", беседы о вступлении в ВКП(б) и ВЛКСМ?

— Широкий круг обязанностей, Денюшенька! Проводи после ужина, полевые кухни вот-вот подъедут. Учти, однако: личный состав сдох на марше, отужинают — вырубятся, из пушек не разбудишь.

— А утром?
— Утром будет и вовсе некогда. Подъем, завтрак, построение — и в поход, труба зовет.
— Как же мне быть?
— Без пол-литра не разберешься. Ладно, что-нибудь придумаем.
— Надо придумать, Модест.
— Ладно, ладно, — Тенюков нахмурился, ибо не любил, когда его называли по имени, как-то объяснил Данилкину: имелась пе-пе-же, и однажды по пьяной лавочке, но ласкательно обозвала Модей, ему помстилось — Мудя, и он врезал ей по пьяной же лавочке оплеуху, на том и расстались. "Глупо поступил", — сказал Тенюкову Данилкин. "Возможно, — ответил тот. — Но походно-полевых жен на наш век хватит, новую завел". — "Шурку, что ли? Из санроты?" — "Она самая... Уже засек? Но это не политика, это аморалка? А пошли вы все, ханжи политсоставские, к чертям собачьим!" На том откровения комбата по поводу "Моди" и закончились. А имечко — Модест — с языка Данилкина нет-нет да и срывалось.
— Давай, давай, мойся-подмывайся в темпе. И сядем за стол. Душа горит, шнапса просит.
Данилкин пожал плечами, сбросил пилотку и гимнастерку с рубахой, отошел к Леньке Кравцу, который уже держал наготове котелок с водой, мыльницу с обмылком, и через плечо — застиранное вафельное полотенце, лыбился:
— Марафет наведем, товарыш старший лейтенант!
Данилкин поплескался, пофыркал, утерся. Вода освежила, взбодрила, ледяная, видать, из родника, коих в болотах и торфяниках хватает. Родниковая, но припахивает болотцем, да ерунда это, главное — освежило, как одеколон в парикмахерской. Парикмахер, пожилой еврей, в наличии и сейчас — при полковой хозроте числится, кочует с машинкой по батальонам, посадит на пенек и стрижет, начальство даже бреет, но, увы, не наодеколонит, если есть свой — пользуйся, только без "пшикалки".
— Что, готов? — нетерпеливо спросил Тенюков.
— Так точно, ваше высокоблагородие!
— Даешь, шутник. Примащивайся!
— Данке вам.
— Леонид! Мечи наличность! Грибы позже...
Данилкин сел на зыбкий раскладной стульчик с брезентовым сиденьем, за раскладной деревянный столик, — стулья и столик были трофейными, и пароконка хозвзвода возила их повсюду, как и трофейную пятиместную палатку-брезентуху. Покуда на привалах в ней ночевали трое, находилось местечко и ординарцу; четвертым был парторг Нигматуллин; ежель бы прибыли на вакансии замкомбата по строевой и адъютант старший да не убудь в лазарет парторг, ординарцу пришлось бы дрыхнуть на воле, на травке, на лапнике. Везет ординарцу Кравцу. А инверсия "адъютант старший" — нелепица, плод военно-канцелярского творчества. Раньше должность называлась нормально: начальник штаба батальона, теперь нововведение, но почему все-таки не "старший адъютант", если уж так приспичило с переименованием? Адъютант — это же совсем из другой оперы. Умники...
Скатерть-самобранка: вмиг на застланном дивизионной газетой столике появились фляга в суконном чехле (разумеется, трофейная, но в ней, Данилкин доподлинно знал, булькает не трофейный шнапс, а отечественная водочка-белоголовка), алюминиевые кружки, миски с нарезанным хлебом, репчатым луком, вспоротая банка сардин из офицерского доппайка, неизвестно как добытый кусман ноздреватого сыра. М-м, пальчики оближешь!
Комбат выверенным движением разлил по кружкам. Одну протянул Данилкину, другую воздел над столом, покрытым газетой "Сталинские богатыри", выдохнул:
— Будем здоровы!
Водка ударила в виски и темя, в голове зашумело, блаженное и дурманно-веселящее тепло стало обволакивать тело, делая его легким и послушным.
Между тем комбат словно бы опомнился, словно бы сбросил что-то с плеч, выпрямился и сказал:
— Повторим? По второй?
— Повторим, — ответил Данилкин, жуя. — Только ты меня кое о чем проинформируй. И поподробней. Например, что еще говорил тебе командир полка?

— Проинформирую. Позже. А пока — дернем по второму заходу!

И после второго захода Тенюков не сразу закусил, некоторое время посидел, пощипывая усики и едва заметно бледнея. Потом опять встрепенулся, отщипнул от хлебной пайки, спросил:

— Прошла?

— Как по маслу, — сказал Данилкин с набитым ртом.

— Рубай, рубай.

— И ты, Модест, закусывай, — сказал Данилкин и запоздало спохватился: Тенюков же не любит, когда его кличут по имени; Данилкина уже малость развезло, и он по-свойски, чуть даже развязно-покровительственно сказал: — Да ты не переживай из-за своего имени. Чем плохое? Великий русский композитор Чайковский прозывался: Петр Ильич. А его брат, ну который писал ему либретто для опер, — Модест. Как ты! Чуешь? А еще был великий композитор Мусоргский Модест Петрович...

— Либретто, опера — это не по моей части, — проворчал Тенюков. — Да и не переживаю я нисколько.

— И правильно поступаешь! За это я тебя уважаю, — сказал Данилкин, чувствуя: слегка заносит, становится болтливым, надо поплотней закусывать, едой приглушить алкоголь.

Тенюков вяло жевал, поглядывая куда-то вбок и вдаль. Помалкивал. Молчал и Данилкин, оттого, быть может, что запихал в рот солидный кус хлеба. В их молчание вторгся ординарец Ленька Кравец. Вынырнув откуда-то из-за валуна, доложил:

— Товарыш капитан, телефонист каже: звонил с хозвзводу, батальонна куфня пидъихала. Приступае к раздаче горячей пищи.

— Понял.

— Разрешите сбечь до куфни з котелками? Наберу ужина и чаю для вас, также ж и для товариша замполита.

— Беги.

— А уж трошки погодя пожарю грибков, так же ж?

— Валяй.

Ординарец, гремя котелками и кирзачами, скрылся за палаткой, у входа в которую примостился телефонист с полевым аппаратом, проводной катушкой и винтовкой, — полеживал на травке, покручивал рукоятку, прикладывал трубку к уху, нескладный, остроплечий и конопатый, как сорочье яйцо. Прожевав, Данилкин спросил:

— Так что же дополнительно сообщил тебе подполковник?

— Дополнительно командир полка сообщил мне, а я тебе, что предстоит, видимо, большое наступление, в частности техники много подтягивается. Посему наша задача — усилить в подразделениях дисциплину и порядок, чтоб никаких пьянок, дебошей, отлучек, самострелов и прочих ЧП. Чтоб оружие привели в образцовое состояние. Чтоб фронтовики передавали опыт необстрелянным и в атаке шли с ними рядом, опекали. Чтоб в подразделениях царил боевой, наступательный дух. Ну, это уже по твоему профилю...

— Все по моему профилю, — сказал Данилкин.

— Извини. Скорее все по моему профилю как командира-единоначальника. В армии же укрепляется единоначалие, так ведь?

— Укрепляется. И что с того?

— А то, что ты занимайся партполитработой, а остальное отдай мне, командирам рот и взводов. Мысль дошла?

— Дошла, дошла... Налицо, как и у многих строевых командиров, недооценка политико-массовой работы.

— Слушай, Денис, скучный у нас разговор образуется. И это уже не впервой.

— Все вы, строевики, смотрите на нашего брата политработника, как на нечто второсортное либо вовсе ненужное. Вот, говорят, и маршал Жуков этим страдает.

— Жукова не тронь. Я считаю: Георгий Константинович — великий полководец.

— Так уж и великий? А я считаю: великий полководец у нас один — товарищ Сталин. Что, не так?

Тенюков промычал какую-то фразу, в которой можно было понять только слова: "само собой". Данилкин проворчал:

— Вечно вас, строевиков, заносит. Потому как политически вы не шибко подкованы.

— А вы, комиссары и политруки, военно не подкованы. Сейчас нет ничего важнее уметь воевать! Воевать!

— Воюем как можем. Стараемся — получше.

— Вот это верно! Стараться надо каждому. От солдата до маршала. Воевать победно и малой кровью!

— Наконец договорились... Отужинаем — двину в подразделения, готовить собрание, проводить беседы...

— И я после ужина — в роты... Еще врежем?

Данилкину было хорошо. После выяснения отношений между единоначальником и замполитом, когда первый все ж таки прояснил второму разговор с подполковником, настроение выровнялось, улеглось и затем поднялось. На душе было не по-фронтовому покойно, даже благостно. А что же, в самом-то деле? Война катит в правильном, западном направлении, ее финал не столь уж далек, грядет Победа, и, смеем надеяться, старшой Данилкин (к тому времени, может, капитан или, бери выше, майор!) допиляет до финишной ленточки неубитым, хотя, не исключено, снова пораненным. Да к ранениям не привыкать. Заглавное — живой до сих пор, а за плечами ведь три года кровавой, страшной войны. Три года, целая жизнь...

И еще целая жизнь поджидает его, когда отгремит Великая Отечественная и алый флаг заполощет над Берлином. И будет эта жизнь длиться не три года, а долго-долго, бессчетно. И он вернется к законной супруге Варваре Михайловне, Варе, Вареньке, и сыну Гришутке, в родной Североуральск, в родную школу, где вел начальные классы, — в этих классах и до мобилизации, до войны-то подвизался один женский пол, единственным мужчиной числился Денис Степанович Данилкин. И если его убьет, то ни единого учителя-начальника (то есть начальных классов) в школе не будет. Зачем его убивать? Не должны бы.

Тело отдыхало, расслаблялось, блаженствовало. Конечно, для полноты счастья скупнуться бы в речонке, в озерке, но опасно: поди угадай, есть ли мины, нет ли, напорешься — каюк. А воды здесь, в Беларуси, вдоволь, не меньше, чем на Смоленщине. И грибов тьма-тьмущая, и полевых и луговых цветов, которые не пахнут, а кажется: пахнут, пьянят настоенным на солнце ароматом. Пьянит, разумеется, водочка, разлюбезная стервочка. Данилкин почесал раскрытую шерстистую грудь — и это было так приятно, — сказал с мягкой, доброй улыбкой:

— Мы с тобой, дорогой Ильич, будем переписываться после войны, а? И в гости друг к другу махнем, а?

— Возможно. Если не подведет пустяк — не укокают нас...

— Да оставь ты, что за мысли! Как можно укокать таких замечательных мужичков, как ты и я? Не можно!

— Шутить изволишь? Шути на здоровье. Только не накликай беды этими прекраснодушными мечтаниями, пусть и шутейными...

— Да что ты сердишься? Я же заявляю ответственно: будем переписываться и съездим в гости. Ежели ты, однако, не зазнаешься... Потому как быть тебе Героем Советского Союза! Ей-Богу!

— Повело тебя, братец... Но мне и моих орденов хватит. Высшая награда — чтоб не срубило кочан.

— Не срубят, однако! Ни тебе, ни мне. Ответственно заявляю...

— Говорун ты, Денюшенька. Не остановишь. Правда, должность у тебя такая говорливая.

Данилкин поперхнулся, закашлялся. Как воспринять слова Тенюкова — не знал. Обидеться, промолчать, обратить в шутку? Выгадывая время, спросил:

— Ты серьезом?

— О чем?

— О моей болтливой должности...

— Серьезом.

— Сам ты болтун, Модест Ильич, — сказал Данилкин и улыбнулся беззлобно. — Выпили оба, потому и болтаем... Давай-ка лучше закурим. Шоб дома не журылись!

— Можно и закурить.

— Вот это наш, идейно выдержанный разговор!

Они затабачили, пуская колечки. Данилкину хотелось что-то произнести, что — неизвестно, но язык чесался, проклятый. Все-таки он не давал себе воли, не заговаривал. Покуривал, посвистывал тихонечко и задумчиво. И вдруг как будто впервые увидел на столике разостланную дивизионку, на первой полосе

броско чернело ее клишированное название. Данилкин вынул изо рта папироску и сказал:

— А сие некрасиво. Политически некрасиво. Непристойно. Безголово.

— О чем ты, братец?

— О том самом! Ты приглядись, приглядись, единоначальник! — Данилкин говорил напористо, но добродушно. — На какую газету навалили выпивку-закуску?

— На дивизионку. Надеюсь, ты не ослеп.

— А ты? Как называется она?

— Иди к черту!

— Погоди, погоди, не лайся. Называется она — "Сталинские богатыри". Кумекаешь, сталинские? А у нас на это слово навалена снедь и даже фляга с водкой!

— Ты случаем не опупел?

— Нет. А вот ежели бы этот факт узрел особист? Раздули бы — будь здоров. Уберем-ка от греха подальше.

Комбат пожал плечами, хмуро выматерился и сказал:

— Убирай, пропагандист и агитатор. Или обождем ординарца?

— Так это ж он и подсуропил, обормот! Нет, лучше-ка я сам уберу...

Когда Ленька Кравец объявился с котелками и трофейным термосом на ремне, дивизионка со стола была уже убрана, и заметил ли это ординарец — неведомо.

— Товарыщы охвицера, горячая пшенка с консервированной ковбасой. Ишьте на здоровьичко, а я допарю грибочки...

Они добили флягу под горячее, похвалили грибы, потом побаловались чайком с конфетами-подушечками. Заканчивая трапезу, Данилкин подмигнул:

— Комбат, а мы с тобой и есть сталинские богатыри!

— Как и наш ординарец.

— Ну, он богатырь по части храпа.

— Не только. По бабам — тоже. Эй, Леонид, быстренько мне автомат, и потопаю в подразделения.

Когда комбат, прихватив двух автоматчиков, ушел по козьей тропке в лес, Данилкин встал из-за столика и, подкачнувшись, зашагал к палатке. Мывший котелок и прочую посуду ординарец Кравец услужливо обернулся:

— Перемога не трэба, товарыш старший лейтенант? Дозвольте пид ручку?

— А-атставить под ручку! — отрезал Данилкин и, вновь качнувшись, подошел к пологу палатки. Неужто перебрал с устатку? Прежде за ним сего не замечалось. Ладненько, полежи, передохни — и в роты, вслед за комбатом.

Данилкин присел на раскладушку, стащил сапоги и гимнастерку, прилег, подложив руки под затылок. Что может быть завлекательней горизонтального положения после марша и выпивона? Ничего-с!

Без маршей на войне не проживешь, равно как и без выпивона. До армии, до фронта Данилкин был абсолютным трезвенником, к водочке привадился на передовой, в госпиталях. Да как не привадиться? Перед атакой — снять нервное напряжение и страх, прибавить бодрости, после атаки — отойти от пережитого, от крови, страданий и смертей, прошедших только что перед тобой, в госпитале — утихомирить боли, в тылу на формировании — ощутить радость бытия, когда тебе ничто не угрожает. Водочка, как видите, завсегда выручит. Не стать бы только ее рабом, не превратиться бы после войны в пьянчугу...

Пьют на войне едва ли не поголовно — и генералы, и солдаты, пьют во всех звеньях — от фронтового до взводного. У офицеров, естественно, бо́льшие возможности, у рядовых — положенные сто граммов наркомовских для сугрева зимой плюс самогон и бражка сердобольных местных жительниц. Впрочем, подчас и офицеры отнюдь не брезгуют самогоном, тем паче если это первачок.

Да и немцы на фронте хлещут — будь здоров. Выбор у них широкий: шнапс, ром, коньяк, ликер. А перед наступлением фрицы накачиваются шнапсом без нормы и прут на нашу оборонку без боязни: пьяному море по колено. Сия истина справедлива и для русских. Война может породить массовое пьянство? Так уже, наверное, породила.

Данилкин полеживал, принюхивался, как пьяняще пахнет еловый лапник, прислушивался, как бубнит в трубку телефонист: "Я — Волга. Я — Волга" и гремит котелками Ленька Кравец, как высоко в небесах подвывает немецкий разведчик—двухфюзеляжный "фокке-вульф", окрещенный славянами "рамой", — высматривает, паразит, вынюхивает. Ни хрена не засечешь, потому что

дивизия уведена в леса, а те из братьев-славян, кто из-за болот остался на окрайках, замаскировались срубленными ветками. Кстати, палатка комбата, где возлежит Денис Степаныч, тоже вся в ветках. Капитан Тенюков, вероятно, проследил лично за этим, он ярый сторонник тщательной маскировки, и правильно, маскировка — архиважно.

Данилкин хотел крикнуть ординарцу, чтоб разбудил через полчаса, и не крикнул, не успел: враз упал в сон, как в трясину. Из которой без посторонней помощи не выберешься. Спал тяжело, с присвистом, с подхрапом, временами постанывал.

Покамест дрых, лишь один сон привиделся. Будто он, Денис Степанович Данилкин, не старшой, а учитель, в кургузом пиджачке и брючках, при галстуке, входит в четвертый класс. Дети встают, хлопая крышками парт, а отличница Нюра Скоробогатова с косичками — крысиными хвостиками четко, как кадровый дежурный, рапортует: "Денис Степанович! Ваша жена скурвилась. Вы там на фронте сражаетесь, а она тут подолом метет". — "Что значит — скурвилась? — отвечает Данилкин. — Это неприличное слово. И моя Варя не может скурвиться". — "Почему же, Денис Степанович, не может?" — спрашивает отличница Нюра Скоробогатова. "Потому, — отвечает Данилкин, — что я всю войну храню ей верность". — "И не ревнуете?" — "Ревную. Но это не твоего ума дело, однако. Садись, Нюра. Не ожидал от тебя фортеля". — "Так и мы не ожидали фортеля от Варвары Михайловны". — "Садись, садись. Ставлю тебе "неуд". — "Жене своей поставьте "неуд". — "Молчать!" — рявкнул Данилкин и застонал.

Но и простонав, он не проснулся. Продолжал посапывать и всхрапывать. И лишь когда услыхал высокий, словно вибрирующий голос комбата, пробудился. Похлопал ресницами, протер глаза. В палатке была густая сумеречь, а за откинутым пологом — тоже сумеречь, но пожиже. "Свечерело?" — удивился и одновременно расстроился Данилкин. Вот так номер! Продрых. Никто не разбудил. Да он никого и не просил. Как же так некстати заснуть? Внезапно вырубился, как в омут сиганул. Либо в трясину. Либо в котел с кипящей смолой, где жарят грешников. Досадно...

Он спешно оделся, обулся, вынырнул из палатки и наткнулся на комбата. Тот, примостившись возле связиста, разговаривал по телефону:

— Задача ясна, товарыщ Пятый... Конечно, конечно... Исполню, как приказываете... Лично проконтролирую... Понял, понял... Вопросов у меня нет... Ясно... До свидания...

Он отдал трубку телефонисту и с головы до ног оглядел Данилкина, будто что-то удивительное, незнакомое. Старший лейтенант смущенно поправил пилотку, расправил складки гимнастерки, стянутой довоенным командирским ремнем с медной пряжкой, развел руками:

— Такая вот незадача приключилась...

— Развезло? Заснул?

— Увы.

— Даешь!

— Товарыш старший лейтенант! — вклинился ординарец. — Вам тута звонил замполит полка, та я ему казав: вы у ротах, проводите якись беседы...

— Кто тебя просил? — самолюбиво вскинулся Данилкин. — Я просил?

— Та ни, товарыш...

— А ведь Леонид выручал тебя, Денис Степаныч, — сказал Тенюков. — Ты же на него вызверяешься.

— Не вызверяюсь. Но что же мне делать? Я же столько работы планировал до отбоя. Может, еще поспею? А, комбат?

— Никоим образом. Впрочем... Коли кто не задал храпака — проводи с ним свою работу. А в принципе отложи на завтра.

— Мне бы хоть начать.

— Удастся — начинай. Но главная для тебя будет работа такая... с двадцати двух до двух будешь проверять, как несут караульную службу. Чтоб часовые с подчасками, сукины дети, не кемарили! Каждый пост проверь, и не единожды. Подполковник Коноплев ориентирует: в окрестностях действует банда из полицаев, сбежавших из Смоленска при взятии города. Руководит бандой гестаповец. Нападают на наших бойцов, на обозы, режут связь, взрывают мосты, словом — гадят. Командир полка предупредил: расположение охраняйте бдительнейше, чтоб никакая диверсантская сволочь не проникла...

— Уяснил.

— А я буду проверять службу с двух до шести, то есть до подъема.
— Когда отдыхать будешь?
— Сей же час. Вздремну на часок.
— Приятных сновидений.
— А тебе приятных собеседований. И — нормальной проверки караулов, без ЧП.
— Договорились.
— Да, еще. — Тенюков будто случайно о чем-то вспомнил. — Поимей в виду: ночью заверну в санроту.
— К Шурке? — понизив голос, спросил Данилкин.
— К ней. Но я по-быстрому.
— Такое по-быстрому не делается.
— Твоя правда. Так поимей в виду. На всякий случай.
— Счастливо, Модест Ильич!
— И тебе. А покуда прилягу, наберусь силенок.
— Пригодятся.
— Твоя правда. Ну, топай.

4

Передвигаться в ближнем тылу в одиночку не разрешалось, только вдвоем и более. И Данилкин вышагивал во тьме, почти ощущая на затылке дыхание сопровождавшего автоматчика. Вот уж кому доставалось — автоматчикам при батальонном командовании: марш не марш, ночевки не ночевки, а куда комбат, его замы и помы — туда и автоматчики сопровождают, как тени, неотступно. Им и передохнуть по-человечески некогда, ежели начальства комплект. Но сейчас в батальонном командовании был острый некомплект, и эти рослые, крепкие ребята с ППШ и ППС на груди маленько как бы передохнули. Подумав об этом, Данилкин обернулся и спросил:
— В первую роту правильно идем? Дорогу знаешь, служивый?
— Навроде правильно. А в лесу что за дороги? Тропы и бестропье, сбиться немудрено, болота кругом.
— Отставить подобные разговорчики! Следуй за мной, я помню, днем проходил.
— Так то днем, товарищ старший лейтенант.
— Не заплутаем и в темноте...
Они действительно не заплутали. И, на счастье, вышли прямиком на командира роты-один, хотя дважды чудом не угодили в болото. Данилкин вовремя спохватывался: хлюпает жижа, сапоги засасывает, кочки проваливаются. Утонуть в болоте — это хуже, чем погибнуть в бою, ей-Богу.
Командир первой роты не спал, но уже умащивался на лапнике, под кустом. Данилкин бодро его приветствовал:
— Добрый вечер, Гусейн!
— Ты, что ли, комиссар? Здорбво! Мотаешься, мобилизуешь? Угомонись. Личный состав отходит ко сну.
— Я вижу, не все отошли.
— Не все. Хватай любого, кто лупится, как сова. Меня, к примеру, хватай. Лейтенанта Таги-заде. Только не хватай сзади, ха-ха!
— Веселый ты человек, Гусейн. Уважаю таковских.
— Я сам себя уважаю, комиссар. — И он опять хохотнул. — А вообще присаживайся, гостем будешь. Азербайджанец гостю всегда рад.
— Чисто говоришь по-русски. Давно хотел спросить: откуда это?
— Оттуда, из Советского Союза! Родом я из Баку, а мать русская.
— Суду все ясно. — Данилкин хотел тоже засмеяться и не засмеялся. — Ротный парторг не дрыхнет?
— Хрен разберет. Надо — поднимай. Для гостя на все готовы. Парторга предоставим, комсорга, водки — если б была, чаю — остыл уже, еловую подстилку с плащ-палаткой — пожалуйста. Спи — позавтракаешь с нами.
— До завтра нужно дожить, Гусейн. А работы невпроворот. Нигматуллин занемог, его обязанности на меня свалились. Был бы батальонный комсорг на подхвате, так пока кадровики не подослали, черти полосатые.
— Не знай я Махмуда, заподозрил бы, что он это умышленно, перед наступлением.

— Махмуд — честняга.
— И вояка. Не спорю.
— Эхма! Дополнительно легли на меня всякие собрания, особливо — прием в партию, в комсомол. Замполит полка жмет, из политотдела дивизионные жмут. Предстоит форсировать мероприятия. Особливо с приемом, с приемом... Вот подскажи, как командир роты, кого бы из бойцов и сержантов, ныне беспартийных, можно было бы нацелить на заявление.
— "Прошу принять в ряды"?.. Помаракуем, прикинем. Ну, можно младшего сержанта Вербникова, в кандидаты партии. Ефрейтора Маркосяна. Рядового Джумагельдиева. Рядового Дьяконова. Сильные, толковые вояки. Не сомневаюсь, преданы Родине и партии Ленина—Сталина. А в комсомол — юнцов, из пополнения. Правда, они почти все комсомольцы. Но, может, кто и сыщется. Ты побеседуй и с парторгом, неудобно без него...
Парторг Аникеев, рыхлый, как будто расползшийся, рекомендовал нескольких человек, включая рядового Дьяконова, который как раз оказался под рукой. Собеседование с ним вышло каким-то односторонним: больше говорил замполит, а боец кивал или ронял увесистые, как гири, "да", "нет". Данилкин, заводясь, красноречиво разъяснял ведущую и направляющую роль Коммунистической партии в советском обществе как в дни мира, так и в дни войны, почетные и ответственные права и обязанности члена партии, высочайшую честь, которой удостаивается каждый, хранящий в кармашке гимнастерки, у сердца, красную корочку партбилета. Ну и прочее в этом ключе. Вопрошал: разумеет ли все это рядовой Дьяконов? Да. То есть согласен? Да. Достоин ли вступить в партию? Нет.
Услыхав чистосердечное "нет", Данилкин аж подскочил на лапнике, будто сквозь ткань плащ-палатки в зад вонзились еловые иголки:
— Как сие понимать? Я не ослышался?
— Нет.
— Но почему не достоин? Поясни. И поподробней.
Почухиваясь и шепелявя, Коля Дьяконов пояснил: в штрафниках покантовался. За что? Да по пьянке вмазал старшине в морду, старшина тот воровал из солдатского довольствия. Так, так, дальше. Дальше: был сержантом, разжаловали в рядовые, в штрафниках ранило, кровью смыл судимость. В настоящем состою под началом сержанта Аникеева, лейтенанта Таги-заде и товарища замполита.
— Но в данный момент ты же чистый! — воскликнул Данилкин.
Дьяконов неопределенно цмокнул, а лейтенант Таги-заде подтвердил:
— Чистенький. После штрафной медальку "За отвагу" заработал.
— Медаль! — поправил Данилкин. — Медаль "За отвагу" краснословит: достоин. А старые прегрешения списаны, на вине — крест. Пиши заявление.
— Темно же, товарищ старший лейтенант.
— Завтра, посветлу, настрочишь. Дескать, будучи всецело предан партии Ленина—Сталина, хочу идти в бой коммунистом. Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б). Доверие оправдаю. Клянусь не щадить ни крови, ни жизни во имя Победы, во имя торжества идей вождя всех народов товарища Сталина. К сему: такой-то. В таком ракурсе...
Вечер качался над лесами и подлесками, над кустарниками и озерцами, над плакун-травой, подбережником, осокой и болотами в ряске и низкорослых камышах, а в небе покачивались, как от ветра, белые, голубые и желтые звезды. Из-за леса всходила немощная, усеченная луна, забивая неверный, колеблющийся звездный свет. Сырости хватало, да и роса пала — как дождь прошел. Данилкин кутался в плащ-накидку, полы которой набрякли, затвердели от влаги, поправлял съезжающий с плеча автомат, посматривал под ноги, по сторонам и изредка на небо. Было тихо, если не считать отдаленного перестука пулеметов да моторного, как бы застывшего в одной точке рокота — то ли на запад летели ночные бомбардировщики, то ли на восток, наши ли, чужие ли.
Расположение батальона Данилкин приблизительно знал со слов комбата Тенюкова. Приблизительно знал его и сопровождавший автоматчик, днем поболтался тут, по свету, но надо быть начеку! Под сапогами чмокало, стегали мокрые скользкие ветки подроста, ноги оплетал плакун-чай (Данилкин механически отметил, кипрей, по-научному). Робко, неуверенно квакали лягушки. Пробубнил и замолк филин.
Батальон спал. В лесной гуще темнели фигуры съежившихся, скрючившихся, с подогнутыми коленками солдат. Лежали группками, или по двое, или в одиночку, — таких-то, наверное, болотная сырость и ветер-низовик донимали более

прочих. И Данилкин пожалел их, отбившихся от коллектива: просифонивает бедолаг на холодочке, нужно бы вместе, в куче, на миру, — на котором, как глаголет пословица, и смерть красна.

Батальон спал. Данилкин не мог видеть лиц, укрытых воротником шинели и пилоткой, но ему казалось: осунувшиеся, посеревшие от усталости черты подчиненных ему людей, не ведающих, что выпадет на завтра.

Батальон спал. В районе хозяйственного взвода одиноко ржала в ночи неприкаянная обозная кляча, ее тоскливое, безнадежное ржание и всхрапы отзывались в Данилкине малознакомой и потому неприятной тоской. Накоротке припомнился сон про отличницу Нюрку Скоробогатову.

Накоротке же подумал и о комбате. Как он? Поспал в своей палатке и уже спит у медсестры Шурки? Или попозже заляжет с ней? С него взятки гладки — холостяк, да и Шурка, видать, холостая. Свободные, как полесский ветер. Хотя на фронте все холостые, даже седовласые генералы числят себя в холостяках и заводят пе-пе-же. На краю жизни и смерти крутят любовь. Денис Данилкин не крутит. Потому что предан семье, любит жену и сына. А если Дениса, стало быть, Данилкина убьет? Гришуха ничегошеньки не поймет, Варя поплачет, поубивается, потом сызнова выйдет замуж. А каково будет Гришухе с отчимом?

Но, пожалуй, страшней, коль изувечит, без рук, без ног будешь, или контузия тяжелейшая, — передвигаться не сможешь, соображать не сможешь, жуткой обузой станешь. Нет уж, извольте прихлопнуть, как муху ладошкой, чем превращать в неподъемного инвалида. Ведь жена может и бросить, подобные случаи зафиксированы. Бросит ли его, такого, Варя? Не должна бы. Однако обузой висеть у нее на шее не намерен: руки на себя наложит — и проблемам конец. Но не о том голова у тебя болит, зам по политчасти Данилкин. Об деле пускай болит.

— Присядем, перекурим, — сказал Данилкин автоматчику. — Что-то ноги гудут.

— Голосую за это обеими руками, — сказал автоматчик и первым опустился на пенек.

Они посидели, покурили, пряча огонек в ладонях. Данилкин действительно устал, будто на марше, а ведь протопали они всего-то ничего. Какая-то застарелая усталость. Или муторные мысли давят к земле? Так гони их к чертовой бабушке!

На западе, где-то за горизонтом запульсировали сполохи, расширяясь и расширяясь. И в Черном лесу словно от этого стало светлее. От луны посветлело, конечно. Ущербная, она карабкалась кверху из остатных сил. Подсвечивает ко времени: с тропы легче не сбиться, ориентиры видишь, по ним и обходишь расположение. Из переплетения полукустарниковых вроде подбережника и плакунчая внезапно окликнули негромко, но властно:

— Стой! Пропуск!

Данилкин аж вздрогнул, автоматчик остался невозмутим. Видя, что с ответом медлят, в кустиках передернули затвором и повторили:

— Стой! Пропуск!

— "Курок", — сказал Данилкин. — Отзыв!

— "Курск". Проходи. А-а, это-сь вы, товарищ замполит. Милости прошу к нашему шалашу!

Часовой и подчасок ютились в ямке, слегка подрытой, как окоп. Когда в ямку влезли Данилкин и автоматчик, стало тесно, как в походной бане: задевали друг друга, толкались нечаянно. Данилкин спросил часового, скуластого, рослого, широкогрудого ефрейтора — он-то и занимал добрую половину окопчика:

— Как служба? Нормаль?

— Нормаль, товарищ замполит, — рокотнул тот. — Не кемарим.

— Бдеть и впредь. — Данилкин хотел спросить у часового, а затем и у подчаска, худенького, маломерного, как подросток, не беспартийные ли они, и вдруг не сделал этого.

— Закурить не найдется, товарищ замполит? — спросил часовой.

— Как не найтись для добрых людей, — сказал Данилкин и раскрыл пачку папирос-патрончиков.

Часовой грубыми мозолистыми пальцами с толстыми ногтями вытащил папиросину. Подчасок руки не протянул. Данилкин сказал:

— Бери, бери и ты, пацанчик. Курни, чтоб девки сохли.

— Некурящий я...

— Возьми на мою долю, — подсказал верзила-часовой.

Данилкин кивнул: бери, чего там — и подчасок робко и неуверенно извлек

папиросу, отдал часовому. Тот ухмыльнулся, одну папиросу заложил за левое ухо, вторую — за правое. Данилкин сказал-приказал:

— Курить только в кулаке.

Ночь двигалась по земле, и вместе с ней по земле двигался замполит Данилкин с сопровождающим. Он обошел три стрелковые роты, взвод автоматчиков, взвод сорокапяток, минометный взвод, взвод связи, хозвзвод. Он как бы огибал их по внешнему обводу расположения, где были выставлены скрытые караульные посты. Иногда, сбиваясь, вторгался в глубь расположения, снова выходил на внешний обвод. И топал, топал.

И думалось ему: может быть, это и есть настоящее дело, иначе говоря — это и есть то, что нужно на войне. Практическое дело, а не его разговоры-беседы, его словеса? Но ведь и они — дело, возражал он себе, они же как-то помогают воевать, они воздействуют на политико-моральное состояние, на боевой дух солдат. Наверное, воздействуют, да вот в какой степени? Может, и правы строевые командиры, эти самые единоначальники, относящиеся к политработникам, как к балласту, который тянет вниз, мешает работать? Но не ошибаются ли строевики? Не загибают ли? Если признать их правоту, то следует признать и другое: замполит Данилкин занимается пустой тратой времени — своего и чужого. Нет, признать этого нельзя.

Перед расставанием у комбатовой палатки капитан Тенюков сообщил Данилкину установленные на сутки, с двадцати до двадцати, пропуск и отзыв, и за первый обход постов Данилкин двенадцать раз произносил: "Курок" — и двенадцать раз слышал в ответ: "Курск". Но постов-то было тринадцать: на одном из них, как выяснилось, дрыхли. Когда Данилкин и автоматчик, похрустывая валежником, приблизились, узрели: часовые сползли на дно овражка и, сидя на корточках, уронив головы, мирно похрапывали, — винтовки были прислонены к овражному скосу.

Данилкин с удивлением и негодованием рассматривал это безобразие ("безарбузие" — как сострил автоматчик), видимое и в темноте, потом дал знать автоматчику. Они подкрались к караульным, схватили по винтовке. Тут-то часовой с подчаском и хватились, вскочили, засуетились.

— Сон на посту? — прошипел Данилкин. — Ах вы, мать вашу...

— Да мы что... Да мы ничего, — заскулил часовой. — Да мы... да вы... Товарищ старший лейтенант...

— Мы... это... на минутку заснули, ей-бо! На минутку... товарищ старший лейтенант...

— Я уже год старший лейтенант! — гаркнул Данилкин. — Не оправдываться, суки! Морду бы вам набить, паскуды!

— Набейте, — сказал часовой, хлюпая носом, будто его уже расквасили. — Токо ротному не докладайте.

— Вы из третьей роты? Младшему лейтенанту Заварскому сообщу как есть. Пускай накажет своей властью, — сказал Данилкин и подумал: так будет по уставу, а что матерился и грозил набить морды — не по уставу, это самоуправство, недостойное офицера, тем паче политработника, но сон на посту — это достойно советского бойца?

— Мы больш не будем, — сказал часовой.

— Не будете, поскольку Заварский врежет вам на всю катушку, — сказал Данилкин, понемногу остывая. — Да вы соображаете, черти полосатые, что могло б приключиться? Что вас, сонных, диверсанты или беглые полицаи схарчили бы? Пулей, холодным оружием... Спящий же беззащитен, дьявол вас забодай. А после враг мог бы подобраться и к спящей роте!

— Понимаем, — промямлил подчасок. — Пущай нас накажут. Только оружие возверните.

— Винтовки вернем. И чтоб службу несли, как устав велит. Что гласит солдатская мудрость? Пословица: "Служи по уставу — завоюешь честь и славу". Вот как! А вас, соколята, я еще проверю, не сомневайтесь, дрыхнуть не позволю.

— Не будем больш, — повторил часовой.

5

После первого обхода постов Данилкин сказал:

— Перекурим это дело, передохнем. Где местечко посуше — поваляться не возбраняется.

— С удовольствием, — сказал сопровождающий. — Во-он как раз полянка подходящая, повыше, стал-быть, посуше.
— Двинем туда...
На разнотравье, и впрямь не очень мокром, они полежали каждый на своей плащ-накидке, покурили, поплевали. Шинелька бы не помешала. Ежели валяешься на земле. А ежели ты в ходу, шинелька будет в тягость да и жарковато в ней топать-то.
Автоматчик вздыхал, вздыхал и, наконец, спросил:
— Товарищ старший лейтенант, как считаете, когда война кончится, га?
— Лично мое мнение? Через годик.
— Еще цельный год смертоубийства? За год можно сто разов проглотить пулю альбо осколок.
— Вполне логично, — согласился Данилкин. — На то и война.
— Надоела она, опостылела, сидит в печенках...
— И мне надоела. Да куда ж от нее денешься.
— Никуда, — сказал автоматчик и умолк.
Данилкин приоткрыл запястье, глянул на светящийся циферблат трофейных часов, потянулся и сказал:
— Закругляем привальчик. Пошагали по второму кругу...
Но едва пошагали в темноте, в кустарнике, в чащобе, как потеряли тропку и некоторое время продвигались наугад. Куда? Хрен разберет. Ведь так немудрено и уклониться черт знает куда, немудрено и в трясину угодить. Автоматчик пробурчал:
— Блудим.
— Не блудим, а блуждаем, — поправил Данилкин.
— А кака разница?
— А така, — в тон ему ответил Данилкин. — Блудить — значит по бабам шастать, блуждать — значит плутать.
— А плутать — это плутни, так значит — расплутство?
— Нет! Плутни — это мошеннические проделки.
— Да кака разница? Тропинку надоть надыбать.
— Надыбаем. Гляди в оба, наклоняйся ниже, зыркай, ты ж востроглазый. И я буду искать, фонариком подсвечу...
Конечно, это было некоторое нарушение светомаскировки, но Данилкин включал и почти сразу выключал ручной фонарик с длинной рукояткой (тоже немецкий) — так пучков света поменьше. Однако смахивало на сигналы, опять же нехорошо... И все-таки тропку надо найти! С полчаса бились, вспотели, взмылились, изматерились вслух и про себя, покуда автоматчик не воскликнул:
— Надыбал! От она, стервозная баба! Щас мы тебя потопчем, как петух куру!
— Ладно тебе, не ори. Молодец, что сыскал. Впредь постараемся не терять.
— Как пить дать постараемся.
— Только не отвлекаться. — И тут же сам отвлекся, поднял глаза к небу и подумал, что подобные звезды мерцают в эту летнюю ночь на всем, от Баренцева до Черного моря, советско-германском фронте и, возможно, даже на Урале, над милым городком Североуральском, над засыпным домиком Данилкина, где жена и сын и где нет хозяина.
Некстати всплыли в памяти строки: "Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей", кажется, из кинофильма "Цирк" или "Волга-Волга". Что-что, а уж страна необъятна, это точно, а уж актриса Любовь Орлова очаровательна, а уж актер Игорь Ильинский комик — будь здоров, обхохочешься, да только веселье не для сегодняшней житухи. Впрочем, не было его в избытке и в житухе довоенной. Будем ли веселиться после войны? Наверное. Но не до упаду. В меру. Порядки у нас строгие, наши руководители лишний раз не улыбнутся, а маршал Жуков на фотках и в кинохронике — суровый, угрюмый, с выдвинутым непреклонным подбородком. Хотя, разумеется, понятно: кому-кому, а маршалу Жукову не до улыбок.
— Правильно идем? — спросил Данилкин.
— Так точно! Тропка — под ногами.
— Устал?
— Есть маленько.
— Вторично обойдем и устроим передышку.
— С удовольствием...
Они проверяли караул за караулом, и везде службу несли бдительно. В том

числе и там, где допустили сон на посту. Этих, нерадивых, Данилкин опять пожурил:

— Как же вы могли нарушить устав караульной службы! Ай-я-яй! Не стыдно? Разве вас не учили, как вести себя на посту? Тебя, часовой, тебя, подчасок, разве не инструктировали перед заступлением?

Оба, потупившись, молчали виновато.

— Впредь несите службу, как в данный момент. Чтоб все было, как штык!

— Будет, товарищ старший лейтенант! Будет, как штык! — сказал часовой.

— Будет! — пискнул подчасок.

"Подпасок" — мелькнуло у Данилкина, и он рубанул:

— Глядите у меня! Могу сызнова придти да и комбат будет проверять. Не приведи господь, застукает вас дрыхнущих. И ротный будет проверять.

— Не застукают. — Часовой осмелел. — Потому как, поскольку и постольку, мы не допустим больш.

— Глядите у меня!

Данилкин обходил посты, но у него не возникало ни малейшего желания п р о щ у п ы в а т ь кого-либо на предмет вступления в большевистскую партию. Прощупаешь какого, вроде бы — подходит, сагитируешь, а он возьми да и засни на посту, либо чего похуже. Коммунист должен показывать пример. А какой пример подает тот, кто спит на посту? Нет уж, затра, без спешки, если позволит обстановка, он развернет эту работу. При содействии командиров рот и взводов и, конечно же, ротных парторгов. Позволит ли обстановка — вопрос. С утречка может продолжиться марш к передовой. До нее рукой подать. Стрельба-то слышна, хоть и глухо.

А вообще, ежели принципиально, почему надо агитировать за вступление в партию? Люди обязаны сами стремиться туда, в ряды лучших представителей армии и народа, в ряды, которые возглавляет товарищ Сталин, Генеральный секретарь. Ведь как сказано? Сказано: партия большевиков — руководящая и направляющая сила в обществе. Так-то!

Да, агитировать с излишним напором не надо, и люди в принципе хотят вступить в партию, но зачастую не решаются подать заявление, считают, что еще не доросли, не заслужили этой чести. Здесь-то и нужен совсем маленький толчок, деликатный совет политработника: дескать, Иванов-Петров-Сидоров, ты уже мог бы написать заявление-просьбу, поскольку ты передовой воин (в тылу соответственно — передовой труженик). Ведь как было у самого Данилкина? Политрук роты легонько подтолкнул, сказавши: "Денис, а ты не задумывался: не пора ли тебе в партию?" Свекольно покраснев от смущения, Данилкин ответил: "Задумывался, товарищ политрук". — "И чего же медлишь, не оформляешься?" — "Достоин ли?" — "Думаю: да. Ты же отличник боевой и политической подготовки. И давай будем оформлять. Я дам тебе рекомендацию, ротный — тоже, а третью получишь от комсомольской организации". — "Спасибо, товарищ политрук, я так мечтал об этом!" Вот таким макаром сержант Данилкин и стал кандидатом в члены ВКП(б). Ну а после годичного испытательного срока и членом стал. Теперь сам дает рекомендации.

Правда, на войне все убыстрилось и, пожалуй, огрубилось. Нет времени на выжидания, на разные там подходы индивидуальные. Война торопит. Замешкаешься с оформлением — и нате вам: человека уже убило. На войне темпы нужны во всем, это уж точно. Воюет храбро — в партию его!

И опять мысль вернулась к сомнению: дашь рекомендацию, а он, сукин сын, подведет под монастырь, совершит что-либо непотребное. Сон на посту — это что, есть делишки, за которые трибунал судит. И еще соображение: в партию, к сожалению, лезут и карьеристы. Поскольку она руководящая и направляющая сила, вот и охотятся приобщить себя к руководству, сигануть повыше. Ну, это касается больше "гражданки" и больше всяких-прочих чинодралов. Какую карьеру может сделать на фронте солдат? Разве что ефрейтором стать. У солдата-коммуниста одно право — первым подняться в атаку. И это право используется вовсю...

И снова пришло успокоительное решение: завтра, завтра, без спешки, без суеты начну проворачивать. Хоть маленько, но надо приглядеться к людям, которых собираешься приобщить к партии (с комсомолом попроще). Если б еще не давило сверху полковое и дивизионное начальство: форсируй рост рядов партии и комсомола! Он форсирует, однако постарается делать это с умом. Главное — чтоб ума хватало.

Данилкин посмотрел на стрелки часов и усмехнулся: час ночи, завтра уже наступило, оно превратилось в сегодня. Еще немного, и короткая июньская ночь начнет истаивать, как мартовский ледок, — стремительно и неумолимо. Пусть он вечером и выдрыхся, а поспать в данный момент не вредно. Обход постов закончил, можно и на боковую, хотя бы на пару часиков. Ведь пока доберется до лейтенанта Таги-заде, то да се, пока уляжется, более пары-то и не наскребется.

Но лейтенанта Таги-заде на месте не оказалось. Данилкин тыркался туда-сюда, кругом вповал тела, храп, бормотание, сотрясание воздуха, что по-солдатски называется "шрапнелью". Выручил сопровождающий автоматчик:

— Та вон, товарищ старший лейтенант, под ракиточкой. Лапник застелен плащ-палаткой, шинелька сверху, вас дожидается.

— Не путаешь?

— Не можно спутать! Лягайте, я коло вас...

Когда они умащивались, вскинулась массивная голова, как выяснилось, принадлежащая старшине роты. От головы будто чугунно отскочило:

— Ротный поверяет часовых с тылу. Отбыл с ординарцем.

— И давно, старшина?

— Минут двадцать. Вскорости возвернется. А вы покаместь ложитесь. Да и автоматик вместится.

— А где ж лейтенанту спать?

— Ротный найдет. На то он и ротный!

— Обустраиваемся здесь, — сказал Данилкин автоматчику. — Ляжем теснее, теплей будет.

— С удовольствием...

Данилкин угрелся и задремал, но тотчас пробудился, словно встряхнули за шиворот. Сквозь переплетения верхушек деревьев просматривалось высокое черное небо с мелкоячеистой россыпью блеклых звезд, среди которых мохнатилась крупная оранжевая звезда. Сбоку уже спустившаяся за лес луна слабо, отраженно посвечивала меж стволами. Данилкин смотрел на мохнатую оранжевую звезду, незнакомую, и пытался вспомнить-угадать ее название. Увы, в астрономии не был силен, поэтому и вспомнить ничего не мог. Усмехнулся: переживем, главное — отдыхаешь душой и телом. Война как бы угомонилась накоротке, не надо надрываться на марше, тем более не надо подставлять башку под пули и осколки. Хотя до них, до пуль и осколков, рукой подать.

А встряхнула его прострелившая плечо боль — последнее по счету ранение. Схлопотал пулю в траншейном бою, а мог и очередь, спасибо, лишь краем задела, лишь одной пулей. Но той хватило: просверлила, подлая, плечо. Залечить бы как следует, не рваться бы в строй. Ничего, долечится в строю, грядущие победы поспособствуют. А после войны — окончательно залечит все свои раны где-нибудь на курортах Кавказа и Крыма. Слыхал, там сейчас развернуты госпитали. На базе санаториев и домов отдыха. После Победы госпитали — побоку, а в санаториях и домах отдыха будут восстанавливать драгоценное здоровье вчерашние фронтовики. Денис Степанович Данилкин — в их числе. Эх, и жизнь настанет, когда отгремят пушки! Распрекрасная, помирать не надо!

Он поворочался, устраиваясь так, чтобы щадить больное плечо. Снова задремал и дремал, пока не услышал чисто русский говорок азербайджанца Таги-заде:

— Ну как тут наш комиссар? А-а, вот он. Спит. Хорошо! А мы заляжем неподалеку, под сосенкой...

Данилкин хотел привстать, что-то сказать лейтенанту, но передумал. Зачем в неурочный час булгачиться? Дрыхнуть положено. Закрыл глаза, чтобы не видеть оранжевой звезды, почему-то будоражившей его, тревожившей. А чего так будоражиться и тревожиться? Жизнь на войне идет своим чередом, день прошел — и слава Богу, ночь пройдет — тоже слава Богу. Жив, ноги тебя носят — что еще надо? Остальное приложится. Засереет рассвет — и здравствуй, новый день. Порядок в танковых войсках. А поскольку старшой Данилкин в стрелковой дивизии, то можно сказать: порядок в пехотных частях. Правда, тот же фронтовой фольклор о пехоте отзывается так: "Прощай, Родина". Иначе говоря, в пехоте выбивают шибче, чем в любом другом роде войск.

С этой вряд ли успокоительной мыслью Данилкин и заснул окончательно, а пробудился от утреннего холодка и старшинского зычноголосия:

— Р-рота, па-адъем!

Дьявольски не хотелось вставать и впрягаться в суточную круговерть. И что за противный бас у старшины? Прокуренный, бесцеремонный, нахальный. От

него и мертвый поднимется. Данилкин протер глаза и нехотя, неторопливо утвердился на ногах. Как и все в роте лейтенанта Таги-заде. Покряхтывали, покашливали, разминались, перебрасывались репликами и, естественно, матерились, хотя и с ленцой, спросонья. И Данилкин, батальонный замполит, вместе с солдатами покряхтел, покашлял, сказал автоматчику: "Завтрак не прозевай", разве что не пустил матерка. Подумал: начинается день, каких было уже до этого немало и каких после будет, наверное, тоже немало.

А этот конкретно день он обязан начать с прямого выполнения служебных обязанностей, именно — с привлечения в партию новых кадров, начальство и время торопят, действовать требуется энергично, напористо. Работу следует начинать уже до завтрака. Беседовать с солдатом натощак — занятие неблагодарное, с накормленным — иной номер, да нету выбора. Побыстрей, побыстрей оформить наиболее смелых, храбрых и мужественных. Эти качества определяющи, остальное — второстепенно, даже некоторые грешки: напился, подрался, нагрубил командиру, прижал деваху без ее согласия. Да и кто без греха? Есть ли такие на белом свете?

— Доброе утро, комиссар! — Подошедший Таги-заде улыбался, подмаргивал.

— Здоров, Гусейн, — улыбнулся и Данилкин. — Давно проснулся?

— За полчаса до подъема. Как и положено ротному.

— А я только что.

— Как и положено комиссару, — сказал Таги-заде и рассмеялся.

— Все шутишь?

— Такой уж я развеселый человек.

— Веселость — признак духовного здоровья, — с наставительными нотками сказал Данилкин.

— Да ты не замполит, а профессор! — еще громче засмеялся Таги-заде. — Академик! Как наш комдив!

— Ладно тебе, шутник. Как-никак я замполит батальона...

— Начальство? Понимаю. И кончаю с панибратскими шуточками. Начальству — мое почтение и уважение.

— Давай о деле.

— О каком? У меня своих дел полно.

— Давеча я толковал... Прием в партию, в комсомол...

— К тем, кого я назвал вчера, можно добавить ефрейтора Ященкова, я вспомнил... А вообще у тебя же полная свобода действий. Беседуй со взводными, с парторгом, с комсоргом. Целым днем располагаешь.

— Как?! Целый день?

— Почти. Готовил тебе сюрприз... Комбат звонил: марш откладывается. До шестнадцати ноль-ноль. Засек?

— Здорово! Времени навалом!

— Точняк! И я, и ты свои делишки провернем...

"А Модест провернул свои ночные, с Шуркой, делишки? — подумал Данилкин совершенно некстати и некстати же испытал нечто вроде зависти к комбату. — Что ни говори, а обладать женщиной — прекрасно. Поскольку что может быть прекраснее женского тела? Ему — мое преклонение, нежность и грубые ласки. Но всех женщин для меня олицетворяет жена. Наивно? По нынешним меркам, наверное, наивно. И вообще супружескую верность высмеивают кому не лень. Но себя не переделаешь".

— С добрым утречком, товарищ старший лейтенант!

А-а, парторг, он-то и потребен. Данилкин сказал:

— С добрым, Аникеев. Не забыл?

— Об чем?

— О вступлениях в партию... Где твой Дьяконов, между прочим?

— Вот он...

— Вот он я, — сказал Дьяконов.

— Насчет партии думал? Заявление написал?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант. Ночью я спал.

— Не ночью, а вообще. В принципе. Чтоб вступить.

— Сейчас думаю.

— Ладно! Быстренько оформим. Держи чистый листок. Положи на мой планшет и строчи. Нá карандаш. Послюнявь и строчи.

— Что строчить?

— Продиктую...

— Мне бы умыться, — робко сказал Дьяконов. — А то не уложусь вовремя, построение будет...

— Утренний осмотр будет. А там и завтрак, — с робостью сказал и Аникеев. — Может, погодя оформим?

— Дьяконова оформим немедля. Успеем! Я напишу рекомендацию, ты, парторг, напишешь. Диктую! Записывай, Николай!

Он не торопясь, делая паузы, называл Дьяконову слова, которые тот выводил затем на блокнотном листе, маленько вспотев от напряжения. А Данилкин диктовал и думал, что отсрочка сегодняшнего марша ему на руку: многих оформит. А начало — всему голова, с Колей Дьяконовым идет споро. Хотя, с другого боку, непонятно: то гнали к передовой марш-броском, то — роздых почти что в целый день. Черт их разберет, штабистов. Впрочем, на войне не шибко напланируешь, ей запросто спутать все карты. И не так еще путала!

Затем Данилкин, довольный тем, что почин сделан, вместе с лейтенантом Таги-заде и его ротой умывался по пояс, чистил зубы у журчливого ручейка, кристально-прозрачного и ледяного, аж челюсти ломило. Но освежиться, омыть даже стопы — благодать!

Едва прошелся расческой по жидковатым, хотя и вьющимся волосам, как позвали к полевому аппарату: телефонисты сноровисто проложили линию, и теперь вот не скроешься от начальства, из-под земли достанет. Но начальство оказалось своим, батальонным, — капитан Тенюков. Поздоровался, сказав, что после завтрака, в девять ноль-ноль, созывает командиров рот, замполиту тоже надо прибыть обязательно.

— Понял, — сказал Данилкин. — Надолго совещание?

— На полчаса.

— Текущие задачи?

— Да.

— Понял. Буду.

— Пока. И дай-ка мне Таги-заде.

Лейтенант выслушал комбата, обронил одну фразу: "Исполню как положено", — и отдал трубку телефонисту. А Данилкин сказал:

— К комбату на пару пойдем? Проведем утренний осмотр — и двинем.

— Завтрак в восемь?

— Если кухня не подведет...

На утреннем осмотре (в основном на в ш и в о с т ь, к счастью, зловредных насекомых не нашлось), стуча потом ложкой в котелке с перловой кашей, Данилкин думал о том, как бы исхитриться и оформить еще одного кандидата. Попросил ротного:

— Гусейн, пошли ко мне Вербникова или Маркосяна... или... кого там третьего...

— Я рекомендовал также Джумагельдиева.

— Во-во! Подошли ко мне кого-нибудь из них. И Аникеева, парторга, в придачу.

— Некогда. Запьем чайком — и ходу к комбату.

— А, черт! — сказал Данилкин, досадуя. — Я предполагал оформить еще одного...

— Всех оформим, комиссар! Впереди — световой день...

— Пусть так, да крутиться-то надо. Поспешать!

— Поспешать надо медленно, комиссар. — И Таги-заде рассыпчато засмеялся.

— Вербникову, Маркосяну и Джумагельдиеву дашь рекомендации?

— Как прикажешь, комиссар. Конечно, дам.

— Выступления на партсобраниях в роте, в батальоне продумал?

— Всю ночь не сомкнул глаз, готовился.

Осушив алюминиевые кружки с желтым безвкусным чаем, в сопровождении давешнего автоматчика Данилкин и Таги-заде потопали к комбатовской палатке. По пути прихватили и комроты-три Сашу Заварского, матерого, с загривком, мужика из бывших старшин, окончившего фронтовые курсы младших лейтенантов.

6

Комроты-два был уже на месте: сидел на пеньке, закинув ногу на ногу, покуривал, сбивал пепел на щегольские брезентовые сапожки, тонкокостный,

изящный, как балерина. Капитан Тенюков разговаривал по телефону, обернувшись — кивнул подошедшим. И Данилкин сразу увидел: губы у Модеста распухшие, на шее и щеке — следы засосов, видать, Шурка из санроты умеет целоваться, мастак в данном занятии, зверь-баба. Впрочем, хрен с ними, не моя это забота, в конце концов. И зри в корень: капитан Тенюков — смелый и умелый командир, боевой и заслуженный, а Шуркины засосы — это его, Модеста, личное.

— Леонид, — сказал комбат ординарцу, — переставь столик и стульчики в тень.

— Есть у тенечек, товарыш капитан! Цэ мы мигом, мигом!

— Присаживайтесь, товарищи офицеры, — сказал комбат, первым устало опускаясь на стульчик.

Да как не устать, как не притомиться, бедненькому, ежели пару часов провел с медсестрой Шуркой, со зверь-бабой. Ишь, осунулся, в подглазьях фиолетовые полукружья. Ничего, выдюжит, боевой и заслуженный. Данилкин спросил:

— Командир, замполит полка меня не искал?

— Искал. Велел тебе явиться к нему на совещание. К двенадцати ноль-ноль.

— Ох уж эти совещания! Мне же еще партсобрания проводить, оформлять прием в партию и комсомол, инструктаж и беседы организовать...

— Претензии выскажи майору, — сказал Тенюков с ленцой и, похоже, с легкой усмешкой.

Усмехаешься, Модест? И правильно! Поскольку у полкового замполита не разгуляешься, к демократии майор относится сурово: так рявкнет на тебя, что враз расхочется высказывать претензии и вообще свои соображения. Похож на строевика, а не на политработника. Но опять же определяющее: в боевой обстановке стоек и храбр, не единожды лично водил бойцов в атаку. Представлялся к званию Героя, однако не получил, орденов же — хватает.

Совещания любит. Да какое начальство не любит совещаний? Хотя польза от них иногда бывает. А в принципе надо идти в гущу масс, работать индивидуально, доходить до каждого бойца. Между тем комбат сказал:

— Собрал вас, чтобы поставить задачи на день. Насчет распорядка. До обеда — чистка оружия, изучение уставов и матчасти. Личный состав приводит в порядок обмундирование. Почистить обувь, побриться, подшить свежие подворотнички. Да! Проверить, у кого потертости. Батальонный фельдшер с ротными санинструкторами окажет помощь. После обеда отдых, подготовка к маршу. Вопросы есть, товарищи офицеры?

— Время на партийные, комсомольские собрания выделено?

— Организуй это сразу после обеда. А беседы всякие, оформление в партию проводи когда угодно.

— Благодарю за разрешение.

— Не стоит благодарности...

Ротные задали несколько вопросов, сугубо хозяйственных: когда махорку и сахар подвезут, как по акту списать изношенное обмундирование, потерянные противогазы, как быть с ремонтом обуви? Комбат ответил и распустил их. Оставшись вдвоем, Данилкин спросил:

— Командир, к докладу на батальонном партийно-комсомольском собрании готов?

— Да. Выступлю. Если оно состоится. Времени после обеда в обрез.

— Но ты же выделил в распорядке дня...

— Выделил. Однако ж ты знаешь: изменения возникают непредвиденные, действительность ломает планы.

— Ладно. Собрание будем планировать, чтоб — покороче. И хорошо, что ты готов к докладу.

— Целиком и полностью готов, Денюша.

Если Тенюкова вроде бы коробит, когда Данилкин называет его по имени, то Данилкина коробит, когда Тенюков называет его эдак уменьшительно. Правда, оба стараются не подавать виду: дескать, ерунда. А и впрямь ерунда. Мелочи жизни. Ну а то, что делает сегодня Денис Данилкин и что делают окружающие, — будни, фронтовые будни. А вот фронтовые праздники — это когда идет бой, и ты поднимаешься в атаку или отбиваешь контратаку: кровавые, страшные, смертные праздники. Но, как говорится, трус умирает сто раз, смелый — один...

Он посмотрел на комбата. Да, командир устал. Но не от Шурки — от войны. Он вспомнил ушедших ротных и всех тех, кто прошел перед его взглядом сегод-

няшним утром — лица тоже были утомленные до предела. Войной, трехлетней войной. Которая продлится еще как минимум год. А может, и больше.

Когда оформлял вступающих в партию, случились три прокола, вызвавшие у Данилкина тягостные ощущения.

Два из трех — в роте младшего лейтенанта Заварского. И ротный, и парторг рекомендовали рядового Хворостухина Никиту, с Алтая, из крестьян, двадцати лет, но в комсомоле не состоит. Данилкину поинтересоваться бы, почему не состоит, а он сразу завел о вступлении в партию: медали "За отвагу" и "За боевые заслуги" ослепили. Солдатик, востроносый, востроглазый, с ребяческими цыпками на руках, с фурункулом на шее, осторожно поворочал головой и осторожно ответил:

— Вступить в Ве-ка-пе оно, конечно, можно бы. Да нельзя!

— Как тебя понять, Хворостухин? Можно да нельзя — загадки задаешь. Объясни!

— Попытаю, товарищ старший лейтенант. Можно — в принципе. Нельзя — в частности... Потому как я из раскулаченных. Кулаку разве можно в Ве-ка-пе?

— Постой, постой, — ошарашенно произнес Данилкин. — Ты из кулаков?

— Да вроде бы, товарищ старший лейтенант. Из бывших кулаков.

— Так ты родом с Алтая? — зачем-то спросил Данилкин.

— Родом я с Рязанщины. А на Алтай нас выслали, всю семью.

— Так, так... И что, семья жива? Отец живой?

— Отец помер. В дороге, когда нас везли по этапу. А мать и сестрята живые. Колхозничают возле Шипунова, колхоз "Путь к коммунизму".

— Выходит, ты из раскулаченных стал колхозником? Это же меняет ситуацию!

— Меняет ли, товарищ старший лейтенант?

— Погоди, Никита, а что же ты писал в анкетах? Графа есть: "Социальное происхождение"...

— Писал: "Из крестьян". Умалчивал про кулаков. Нехорошо, конечно. А вообще-то хозяйство у отца было середняцкое. Под горячую руку попали...

— Так, так... Воюешь ты отменно, а вот с соцпроисхождением действительно закавыка. Речь-то о вступлении в партию!

— Потому я не имел права скрывать свое происхождение, про раскулачивание скрывать. Где-то можно умолчать, не выставляться, но как Ве-ка-пе — должон выложить. Я считаю, должон.

— Правильно считаешь, Хворостухин Никита. Правильно! — сказал Данилкин, прикидывая: на дивизионной парткомиссии, при утверждении приема, может всплыть, что Хворостухин из кулацкой семьи, то есть из враждебного советской власти класса. Правда, товарищ Сталин учил: дети за родителей не отвечают. Так ведь то в теории, а на практике — еще как отвечают, клеймо у них на лбу: сын кулака, сын белогвардейца, сын врага народа... мда! Вскроется на парткомиссии — скандал будет грандиозный на всю дивизию, Данилкину не сдобровать, шутки шутить не станут. Воюет Хворостухин отменно? Ну пусть и впредь так же воюет за Родину и Сталина. Не вступая в партию. Да и в комсомол не вступая. Наградами же его не обходят, хотя из раскулаченных. Данилкин сказал:

— Давай, Никита, отложим разговор о вступлении. До лучших времен. Может, какие указания будут. Из центра.

— Отложим, товарищ старший лейтенант.

— Ну и добро!

Второй прокол, смахивающий на первый, — с бойцом Воскобойниковым Петром, с Тамбовщины. Взводному, ротному и парторгу ведомо, откуда парень родом, а что в армию попал из тюрьмы — неведомо чертям полосатым. Скверно, поверхностно знают личный состав, не работают с подчиненными индивидуально, доходя до каждого. Сам Данилкин случайно узнал о тюремном прошлом Воскобойникова.

Исходные данные были отличные: представлен аж к ордену Красной Звезды. "В бою дерется, как черт, крушит налево и направо", — сказал о Воскобойникове младший лейтенант Заварский. Что еще надо? Знакомясь с бойцом, Данилкин спросил:

— В комсомоле состоишь?

— Не.

— Почему.

— Убыл. По возрасту вроде бы...

— Не похож на мужика, на хлопца похож. Моложавый больно.
— Я таковский. — И Воскобойников сверкнул золотой "фиксой" на переднем зубе.
Тут-то Данилкин заметил и еще кое-что: кисти Воскобойникова истыканы татуировкой: якоря, звездочки, перстни, кресты, имена — руки аж синие. Спросил:
— Давно накололся?
— Ага. В тюряге.
— Ты сидел? — ахнул Данилкин.
— Ага, — нехотя сказал Воскобойников, и было понятно: жалеет, что проговорился.
— За что посадили?
— Грабанул с дружками продмаг. По молодости, по дурости.
— Сколь дали?
— Пять годков.
— В лагере лесоповалил?
— Точно.
— Срок полностью отбарабанил?
— Не. Выпустили досрочно — и на фронт.
— Та-ак... та-ак, братец Петя... Ну, у нас с тобой еще будет возможность потолковать о том, о сем...
— Не угробят в наступательных боях — потолкуем, товарищ замполит.
"Какая-то дикость — блатняка в партию тащил", — подумал Данилкин и сказал:
— Что за мрачность? Держи хвост пистолетом.
— Бу сделано, товарищ замполит...
А кто подсунул этого блатного, хоть и представленного к "звездочке"? Сашка Заварский, ротный командир. Сотворить ему втык!
Данилкин сотворил этот втык, пристыдив и поругав младшего лейтенанта, на что бывший старшина, сверхсрочный боевой конь, рубанул:
— Ты меня не сволочи, старшой! Партполитработа — твой огород. И ты отвечаешь за него. Я тебе помогать не обязан. Вот помог по доброте душевной, так ты в благодарность лаешься?
Данилкин малость опешил от такого оборота, сказал примирительно:
— Я не лаюсь и не сволочу. Но ты мне подсунул дохлую курицу. Разве Воскобойников — это фигура для вступления в Коммунистическую партию?
— Разбирайся сам, старшой, — сказал Заварский и махнул рукой.
И третий прокол — в роте разлюбезного Таги-заде. Те, кого Гусейн и парторг Аникеев рекомендовали давеча, — те прошли без сучка, без задоринки. А тут как засвербило, как смазали задницу скипидаром — Данилкин заерзал, задергался, проявил инициативу: спросил у ротного комсорга, кто из комсомольцев у него на хорошем счету. Не раздумывая, тот прошепелявил:
— Женя Жубицын. Мировой паренек!
— А конкретней?
— Скромняга. Уважительный. О товарищах заботится. Не жадный, готов последним поделиться. Честняга. Оружие бережет. В службе прилежный...
— Во, во, об этом подробней!
— Что подробней? Безотказный — и весь сказ!
— А в бою он как?
— В боях покуда не участвовал, из новеньких. Да я считаю: и в бою не подкачает. Верю в него, товарищ старший лейтенант.
— Как думаешь, в кандидаты партии можно двигать?
— По-моему, можно. Характер чистый — это заглавное. — Комсорг, усатенький, прыщавый, крепко шепелявящий ефрейтор, сам недавно ставший кандидатом ВКП(б), был настойчив, даже настырен. — Не промахнемся, товарищ старший лейтенант. Комсомольская организация ручается за него!
А затем состоялась беседа Данилкина с Женей Жубицыным с глазу на глаз. Парень понравился: грамотный и впрямь деликатный, скромный, даже застенчивый, с простодушной и мечтательной улыбкой. Ну и что? Резон ли спешить с партией? Но Данилкина будто черт подталкивал, Денис, стало быть, Степанович заспешил, засуетился:
— Призывался откуда? А-а, Шадринск, слыхал про такой городок. Образование? Среднее? Десятилетку окончил — молодец. Соцпроисхождение? Из рабо-

чих — очень хорошо. Репрессированных родственников не имеешь? Очень, очень хорошо. За границей родственников нет? Прекрасно... А что ты, Евгений, думаешь насчет ВКП(б)?

— Это наш коллективный вождь, — ответил Жубицын. — А единоличный вождь наш — любимый товарищ Сталин Иосиф Виссарионович.

— Замечательно! А что ты думаешь насчет твоего вступления в партию?

— Вопрос неожиданный, товарищ лейтенант, — смутился Жубицын. — Я как-то не задумывался...

— А все-таки?

— Не знаю, что сказать... Наверное, не по зубам мне это. Не по заслугам. Кто я? Рядовой человек, ничем себя не проявил...

— Проявишь в первом же бою!

Жубицын вдруг густо покраснел и, хоть они разговаривали на отшибе, оглянулся по сторонам, прошептал:

— Мне в партию воспрещено, товарищ старший лейтенант. Я признаюсь вам, только вы никому...

— Ну!

— Я крещеный, верующий...

— Что? Верующий? — Щуплый Данилкин от изумления стал как бы еще мельче.

— В Бога, значит...

— Ну, ты даешь! — Щуплый Данилкин от возмущения стал как бы выше ростом, шире в плечах. — Ты же комсомолец, ты же образованный! Десятилетка за плечами! Позор! Не ожидал от тебя...

— Я и сам не ожидал от себя. Верить-то по-настоящему начал только на фронте, здесь то есть. И чем дальше, тем сильней. Как наваждение какое-то.

— Оставь красивые слова. Баловство это. Суеверие. Темнота, пускай ты и с десятиклассным образованием... Ладно, иди к своим!

Сверля прищуром светло-серых блеклых глаз ссутуленную спину Жубицына, Данилкин думал: "Эх, Евгений, Евгений, подвел ты меня. Или я сам себя подвел? Впрочем, ничего страшного не случилось, поскольку верящий в Бога не проник в партию атеистов. Спасибо ему, что признался. А то бы вывел в заявлении: "Прошу считать коммунистом". Или что-нибудь в подобном ракурсе. Хорош был бы коммунист! А комсомолил — в Бога не верил?"

Но прокол произошел и у комбата, не одному замполиту платочком утираться. Уже с окончанием батальонного партийно-комсомольского собрания и перед началом марша к передовой капитан Тенюков сказал Данилкину:

— Как, Денис, выполнил программу по вовлечению в партию и комсомол? Времени, вижу, не терял...

— Ее не худо бы и перевыполнить. Да вот начинается марш, кандидатуры вроде все названы. Имею в виду: для вступления в партию...

— Предлагаю тебе в дополнение кандидатуру Леонида Кравца.

— Нашего ординарца? В партию?

— Да.

— Чем же он себя проявил?

— Обязанности свои исполняет образцово, нас с тобой обихаживает на совесть.

— Хм! Это еще не аргумент. Да и есть непреодолимое препятствие...

— Непреодолимое?

— Так точно, дорогой Модест! Ты, кажется, запамятовал, что Ленька был в оккупации.

— А-а...

— Находившихся на оккупированной территории принимать в партию и даже в комсомол не рекомендовано. Указание Главпура.

— Понял. Снимаю свою кандидатуру.

А Данилкин подумал, что зрелому в боевом отношении Тенюкову недостает идейной, политической зрелости. Работу же по привлечению в ряды ВКП(б) и ВЛКСМ можно и нужно продолжить в ходе первых и последующих наступательных боев, когда появятся отличившиеся на поле брани — лучшая аттестация для кандидата в партию или комсомол. И скорей бы уж заваривалось это летнее наступление, обыденность и, пожалуй, скучность того, чем занят сейчас Данилкин, надоели, обрыдли, можно сказать. Хотя это его непосредственные обязанности, коими он никогда не пренебрегал. Упаси Боже! Приятно ли, неприятно, в

радость либо в тягость, но коль положено — исполняй. Солдат партии Денис Степанович Данилкин стоял и на том стоять будет.

В четыре дня батальон построился в походную колонну, но с места сдвинулся не сразу. Минут двадцать стояли, переминались, втихомолку поругивая начальство, которое опять чего-то там напутало. Но и как на войне не напутать? Данилкин, шедший со второй ротой, успокаивал бойцов и сержантов: ничего, ребята, в полку разберутся, дадут команду, и мы двинем, напоминал: идем, чай, не к теще на блины, стало быть, соблюдать звуковую и световую маскировку, беречь оружие, не растягиваться, не отставать, не сбавлять темпа.

Наконец, стронулись, затопали, постепенно втягиваясь в ритм, однако через километра полтора опять остановились: в голове колонны уточняли маршрут движения. Это слабинка полковых штабистов — ориентироваться на местности с помощью карты, отсюда кавардак с маршрутами. Но оттого наматывать лишние километры не слаще, пока выберешься на правильную дорогу — изойдешь пóтом и матюком.

И нынче петляли по всем правилам: то возвращались вспять, то удалялись от передовой, черт нес куда-то в тыл. Но везде натыкались на стянутую в ближние леса технику: замаскированные срубленными ветками и камуфляжными сетями громоздились осадные орудия, тяжелые минометы, танки, самоходные установки, бронетранспортеры. Это было приятное, успокаивающее зрелище: мощная техника предназначалась для поддержки матушки-пехоты, приплюсуйте сюда и предстоящие удары с воздуха бомбардировщиков и штурмовиков. Так что смешки в адрес пехоты вроде "Прощай, Родина" справедливы лишь отчасти, ибо прочие роды войск стараются облегчить ее участь. Жаль, на нашем участке нету моря или солидной реки, — не то бы корабельная артиллерия поддержала. Пехота — царица полей (есть такое изречение), и ей должны верно служить все.

Данилкин шел обочь строя, едва прихрамывая, — старался вообще скрыть хромоту, да не получалось. Как ни прискорбно, но батальонный замполит растер ступню, как зеленый, необученный солдатик. А вообще — пустяк, подчас о своей потертости и не вспоминаешь. Конечно, портянки надлежит наматывать тщательней, аккуратней. Что впредь и будет соблюдать.

Покружив по проселкам и просекам, батальон уже в сумеречи вышел ко второй линии траншей. Она ветвилась по еловой, в кустах и подросте, опушке. Здесь снова надолго остановились, а затем по взмаху руки капитана Тенюкова боец за бойцом, отделение за отделением, взвод за взводом, рота за ротой спрыгивали в мелкий, порушенный ход сообщения, из него — во вторую траншею, опять в ход сообщения и, наконец, — в первую траншею. Шли быстро, пригнувшись, без шума. Не дай Господь, высунешься, фриц засечет движение на "передке" и начнет кидать мины, а то и снарядами накроет. Стоявший рядом с комбатом у стыка хода сообщения и траншеи Данилкин не уставал повторять:

— Робя, башку держи ниже, винтовку не высовывай! Ползи по дну траншеи на брюхе!

Ползти на брюхе — сильно сказано, но бойцы понимали, чтó имеет в виду замполит, и жались к траншейным стенкам, голову втягивали в плечи. Капитан Тенюков ничего не говорил, лишь нетерпеливо помахивал рукой: шустрей, мол, шустрей, пока немцы не засекли передвижения.

Справа от первого батальона расположился второй батальон четыреста девяносто первого полка, а слева — батальон хозяев, гвардейцев, его-то и потеснили орлы капитана Тенюкова еще левее, а сами заняли этот рубеж. Теснотища была неимоверная: сельди в бочке. Часть личного состава Тенюков приказал увести в освободившиеся землянки, остальные остались в траншее, в стрелковых ячейках, на пулеметных площадках.

Немцы все-таки учуяли движение на передовой, выпустили с десяток длинных веерных пулеметных очередей, побросали с десяток мин. Но всерьез нашу оборону не обработали. И слава Богу, ибо при большом скоплении в первой траншее и потери могли быть большие. А так — ни одна мина не угодила в траншею, пулеметные же очереди шли поверх бруствера.

7

— Товарыш капитан! Товарыш капитан!
— Леня, чего орешь?

— В траншее, Кравец, положено говорить тихо, чтоб противник не засек.

Танюков и Данилкин стояли в траншее, где в нее врубался ход сообщения, ведший в лесок, к самодельным неогороженным сортирам. Именно оттуда и прискипидарил ординарец Кравец, встрепанный, с незастегнутой ширинкой, с приметной даже в сумеречи бледностью на физии, талдычивший:

— Товарыш капитан! Товарыш капитан!

— Да говори же, черт тебя подери! — прошипел потерявший терпение комбат.

— Тама... это... значится... самое... Очи б нэ бачилы... Висить... На дереву...

— Что висит? Что на дереве?

— Боец Жубицын. Шо з першей роты.

Капитан взял ординарца за грудки и встряхнул без деликатности:

— Рассказывай толком!

Кравец сглотнул слюну, вздохнул, промямлил:

— Отправился я до витру... Пидхожу к сосне, подымаю голову... и Боже праведный: пидля мени качается у петле, на суку. Боец Жубицын, очи бы мои нэ бачилы, товарыш капитан!

Все трое, расталкивая встречных-поперечных, бросились по ходу сообщения в лесок, к сортиру. Данилкин топотал сапожищами, напрочь забыв о потертости ступни и больном плече, и думал: "Не может быть! Не может быть! Не может быть!" Эта мысль больно отдавалась в висках, пульсировала, как кровь в открытой ране.

Кравец бежал шустро, но капитан наступал ему на пятки, Данилкин еле поспевал за ними. Обогнули пахучее сооружение — яма, над которой провисали доски с вырезанными дырами-"очками", — и сбоку, на сосновой ветке, увидели висящее, как бы обмякшее, без костей, тело: шею сдавливала петля из брючного ремня, простоволосая голова свешена на грудь, изо рта вывален язык, глаза вылезли из орбит и в упор глядели на пришедших. Данилкина привел в чувство сдавленный вскрик комбата:

— Леня, лезь на дерево! Режь петлю! Мы с замполитом поддержим тело!

— Чтоб не стукнулось об землю? — Данилкин только потом, задним числом, понял: глупый вопрос.

— Да! Может, еще живой.

— Эх, если бы! — прошептал Данилкин, отирая тыльной стороной ладони холодный пот со лба.

Вверху чиркнул финкой Кравец, тело подхватили комбат и Данилкин, бережно положили наземь. Тенюков опустился на колени, приник ухом к груди Жубицына, поддержал запястье. Произнес глухо:

— Все.

— Не подает признаков жизни? — спросил Данилкин.

— Не подает.

— Надо сделать искусственное дыхание. Я попробую.

— Попробуй.

Данилкин сводил Жубицыну безответные, безжизненные руки туда и сюда — сводил, пока силы не оставили его. Поискал пульс — не нашел. Приложился ухом к груди — сердце не билось. И он повторил то, что уже сказал Тенюков:

— Все.

— Покончил с собой... Непостижимо! — сказал комбат.

— Ты считаешь?

— Ну, не повесил же его кто-либо!

— С этим разберутся.

— Особисты?

— Увы, и они тоже, — сказал Данилкин и подумал: вот прокол, так прокол, и для комбата, и для замполита, но с последнего взыскивают круче, так всегда бывает при ЧП. И с чего Жубицын выкинул фортель, от которого у Данилкина поджилки трясутся? И кто мог это предположить? Совсем ведь недавно толковали с ним о вступлении в партию накануне наступления. О, черт, ну и история!

— Товарышы охвицера! — сказал Кравец. — Бачьте, у його с кармана якась бумажка выглядает...

Тенюков наклонился и вытащил из брючного кармана мятый тетрадный лист, расправил и, подсвечивая себе фонариком, стал читать, шевеля губами, как школьник. Прочитал, сунул Данилкину:

— Ознакомься.

Он посвечивал фонариком, а Данилкин, спотыкаясь на корявых, поспешно написанных словах, читал-перечитывал: "В моей смерти прошу не винить никого. Пошел на это добровольно. Потому как боюсь увечья, уродства больше, чем смерти. Да и христианская вера не позволяет убивать человека. Не убий! Как бы я мог вести себя в бою, в рукопашной? Ухожу из жизни и прошу считать меня коммунистом. К сему Е. Жубицын". И подпись-закорючка.

— Что будем делать, Денис?

— Что положено, командир. Ты доложишь о чрезвычайном происшествии командиру полка, я — замполиту. А в Особый отдел донесут кому следует...

— Готовься к головомойке.

— И ты готовься, командир. Предсмертную записку положи обратно.

— Да...

Тенюков приказал ординарцу прикрыть труп плащ-палаткой, и они вернулись в первую траншею на НП. Начали дозваниваться до полка. Дозвонились. Подполковник Коноплев отматерил комбата, посулил суровое наказание и сказал, что оправдаться тот может одним — успешно провести бои. Полковой замполит отматерил батальонного, пригрозил "строгачом" по партийной линии и сказал, что оправдаться Данилкин сможет, лишь проявив себя в наступлении. После этих разносов капитан блеснул холодноватым взглядом и произнес не без издевочки:

— А в Особый отдел и звонить не надо. Оттуда сами прискачут.

— Не успеешь чихнуть — будут здесь, — сказал Данилкин, и обоим стало очевидно: особистов опасаются больше всего.

— Как не вовремя все это, накануне наступления, — сказал Тенюков.

— Да уж ЧП никогда не бывают своевременными, — сказал Данилкин.

— Твоя правда...

— Как говорится, все под Богом ходим.

— ЧП, не ЧП, а будем заниматься делом.

— Что ж остается? — сказал Данилкнин, подумав: наскучила обыденность, опостылела повседневность, захотелось остренького, вот и заполучил остренькое — боец Жубицын наложил на себя руки, впрочем, самое остренькое впереди — наступательные бои.

Они начали заниматься д е л о м. Тенюков попытался в бинокль разглядеть вражескую оборону, в сумерках мало что виделось, а при свете ракет местность возникала накоротке и пропадала в еще более плотной темени. Потом он проверил, как несут службу дежурные пулеметчики, прошел на левый фланг, к соседу, договориться, чтоб при атаке на стыке батальонов не образовался разрыв, хотел пройти за тем же на первый фланг, однако тут его вызвали на КП. А Данилкин тоже проверял траншейную службу, потом стал заходить в землянки, проверять, как разместились взводы, беседовал с бойцами и сержантами на перекурах, однако до середины обороны не добрался: и его вызвали на батальонный командный пункт.

Там их уже поджидали комроты-один Таги-заде и грозные чины — два майора-особиста, худосочные и желчные, а также следователь из военной прокуратуры — полноватый седовласый подполковник с пустой кобурой на заднице. Важная троица была неприступной и нетерпеливой, едва ли не приказным хором потребовала от комбата, замполита, комроты-один и ординарца Кравца доложить, что им известно о ЧП. Лейтенант Таги-заде мало что мог сказать о происшедшем, побольше сказали Тенюков и Данилкин, а более прочих — Ленька Кравец, так сказать, первоисточник.

Прибывшие чины выслушали каждого, то и дело перебивая вопросами, затем велели вести к трупу. Осмотрели тело, брючный ремень, сосновую ветку, поочередно прочитали предсмертную записку Жубицына, — ординарец Кравец подсвечивал ручным фонарем, переминаясь, похрустывая валежником по-медвежьи. Посовещавшись, приказали всем писать объяснительные записки о случившемся. Комбат сказал:

— А когда же готовиться к наступлению?

— Когда напишешь объяснительную, — ответил следователь из дивизионной прокуратуры.

— Мне, да и остальным, недосуг разводить писанину. Прошу как-то отсрочить.

— Ни в коем разе! — отрезал один особист.

— Нам надо проводить дознание немедля, — сказал другой особист.
— Капитан, выполняй что приказано, — повысил голос седовласый следователь.
Пришли в землянку, на КП. Тенюков, Данилкин, Таги-заде получили по листу писчей бумаги, начали задумчиво покусывать кончики: комбат и замполит — трофейных авторучек, комроты-один и ординарец — карандашей.
— Пишите, пишите, чего выжидаете, — поторапливал их следователь. — Что нам рассказывали, то и пишите. Да поподробней, поподробней. Не забудьте указать причину, по вашему мнению, толкнувшую Жубицына на самоубийство.
— А тебе, замполит, и еще задачка, — сказал один из особистов. — Объясни, почему Жубицын написал: "Прошу считать коммунистом". Для самоубийцы странная фраза!
— Странная, — сказал Данилкин. — Но ума не приложу, зачем он это написал.
— Думай, старшой, думай, может, и объяснишь появление этой фразы, — сказал второй особист.
Сочинители объяснений горбатились за сколоченным из березы столом, вздыхали, крякали, закатывали глаза, кто что-то корябал, кто нет, а за их спинами возвышались неподвижно, как статуи, два худосочных майора и полноватый подполковник. Зазуммерил полевой аппарат, телефонист из закутка позвал:
— Товарищ, капитан! Вас!
— Разрешите? — спросил Тенюков сразу у всех — особистов и прокурорского.
Особисты переглянулись, а подполковник спросил:
— Кто звонит?
— Командир полка, — ответил телефонист.
— Подойди, капитан, — недовольно сказал подполковник. — Но чтоб по-быстрому!
Тенюков взял телефонную трубку и услыхал властный напористый бас Коноплева:
— Почему не докладываешь? Чем занимаешься, дьявол тебя раздери!
— Да вот, товарищ Пятый... пишу объяснения...
— Какие? Кому?
— По случаю с Жубицыным... Товарищам из "Смерша", военному следователю...
— Гони их к бениной маме! Занимайся своим!
— Товарищ Пятый, как же я их погоню...
— А так! Передай-ка трубку кому из них, дьявол их раздери, бездельников!
Ни майоры, ни подполковник не торопились брать трубку. Наконец, военный следователь подошел к аппарату, поднес трубку к уху, назвался. И услышал, видимо, такое, что и в тусклом, желтушном свете коптилки стало заметно, как он бурачно покраснел. Затем сказал зло:
— Это самоуправство, да, да... Вы ответите... Мы доложим прокурору дивизии... начальнику особого отдела... После наступления, когда будет передышка? Мы работаем по горячим следам... Хорошо, хорошо, но мы будем жаловаться...
Следователь швырнул трубку связисту, с гневной одышливостью сказал особистам:
— Видите ли, предложил нам уматывать отсюда, не мешать комбату... Каково? Буду жаловаться прокурору!
— Будем жаловаться начальнику "Смерша"!
— Со "смершевцами" никому не стоило бы портить отношений!
— Да и с нами, с военной прокуратурой, не надо обострять... Между прочим, Коноплев сулил пожаловаться комдиву! Дескать, отвлекаем батальонное командование от боевой задачи. Ладно, я предлагаю нашу работу временно свернуть. После наступательных боев возобновим. Но тебе, комбат, еще больше не поздоровится!
— И тебе, замполит! — сказал один особист.
— Обоим еще больше не поздоровится! — сказал второй.
— Вас понял, товарищи офицеры, — сказал Тенюков. — Разрешите вопрос? Как быть с трупом? Можно захоронить?
— Не возить же с собой в летнюю жару по вашим наступлениям, — хмыкнул следователь. — Закапывай!
Не попрощавшись, раздраженные и надменные, посетители вышли из зем-

лянки, хлопнув дверцей так, что язычок "светильника" затрепыхался, заметался и едва не погас. Тенюков расправил плечи:

— Фитиль не потух, добрая примета. Будем исполнять свое, а там посмотрим.

— Командир полка, я надеюсь, не даст нас сожрать, — сказал Данилкин.

— Выразимся иначе: не даст в обиду. Хотя своими правами взыщет. — И комбат льдисто блеснул голубыми глазами. — Я с Кравцом пройду к соседу, на правый фланг, договоримся об огневом взаимодействии. Ты, Денис Степаныч, перво-наперво озаботься похоронить Жубицына. Бери автоматчика из охраны и дуй. Не забудь прихватить лопату. Захоронишь — работай дальше по своему плану.

— Ясно.

— Встретимся после на НП. Перекусим чем-ничем.

— Ясно. Пока...

Автоматчик охраны, сбросив пилотку и гимнастерку, светясь нательной рубахой, вгрызался в грунт, отворачивал пласт и вновь вгрызался, — иногда лезвие большой саперной лопаты жалобно звенькало о камни. И это звеньканье как будто напоминало сосущему на пне самокрутку Данилкину о боли в простреленном плече и растертой ступне. А еще острей боль возникала в душе, когда Данилкин смотрел на мертвого Женю Жубицына, — какой-нибудь час-другой он был живым. Как же так? Боялся убить кого-то, даже немца, врага, и убил себя? А ведь верующий, а ведь христианская заповедь учит: не убий! Умом тронулся, фанатизм, что ли, одолел? Ничего нельзя понять. Ничего нельзя объяснить. И откуда в предсмертной записке эти слова: "Прошу считать коммунистом", — слова, будто залетевшие в бумажный клочок совсем из иного, понятного и доступного Данилкину мира. Неприятности из-за самоубийства Жубицына будут, конечно, крупные, да не в них, в конце концов, суть. Она, суть, в невозможности разобраться: отчего загублен молодой, полный сил хлопец? Собой загублен? А может, не только собой?

Автоматчик закончил копать яму, вытер пот со лба, вопросительно глянул на Данилкина. Тот кряхтя встал, подошел к яме:

— Поместится? Руки-ноги не будут высовываться?

— Да вроде не должны, товарищ старший лейтенант. Ежели что — подогнем маненько.

— Подгибать негоже. Человеку надобно лежать без неудобств. Вечный все-таки покой. Дай-ка лопату, подкопаю по углам...

— Там, слевака, камень, осторожней ройте...

Углубив и расширив могилу, Данилкин сказал:

— Теперь порядок.

— Плащ-палатку сымем?

— Нет. По-людски похороним.

Он подхватил вытянутого, какого-то плоского Жубицына под мышки, автоматчик — за ноги, и они понесли тело к черной зияющей яме. Открылся край плащ-палатки, на миг увиделись подбородок с ямкой, втянутые щеки, заостривщийся нос, остекленевшие зрачки и вывалившийся распухший язык. Данилкин сказал:

— Опускаем. Аккуратней!

Потом они с недовольно сопящим автоматчиком зарыли Жубицына и прикопали к могиле мшистый валун, поставили в изголовье.

— Теперь все, — сказал Данилкин, чувствуя: валун словно придавил и его сердце. Чувствовал и знал: эту тяжесть с сердца снимет после того, как начнут хоронить в братских могилах тех, кто падет в первых же наступательных боях. Другая тяжесть ляжет, куда более мучительная и долговременная. Об этих, погибших в атаке от пуль и осколков, строевой отдел сообщит домой: "Погиб смертью храбрых". А как и кто напишет родным Жени Жубицына о его смерти? Какое извещение подпишет командир полка? Или отпечатают на пишущей машинке: "Пропал без вести"? Но это же неправда! А как написать родителям Жени Жубицына правду? Кто это сделает? Замполит Данилкин? Рука у него не поднимется...

Придя в первую траншею, Данилкин напился родниковой воды из ковшика, услужливо поднесенного ординарцем Кравцом, спросил, не вернулся ли комбат. Ленька ответил:

— Ни, товарыш старший лейтенант.

— Из полка мне не звонили?
— Ни. Звоныли товарышу комбату.
— Придет капитан Тенюков — скажешь: я поверяю посты.
— Слухаюсь!
Поскольку комбат шастал по обороне без провожатых — при таком скопище вполне допустимо, — то и Данилкин шастал бы один, без автоматчика охраны или без ординарца. Вообще-то персональный ординарец был законно положен ему, однако капитан Тенюков сказал: "Содержать двух холуев — накладно, второй пускай воюет в строю, одним управимся, идет?" "Идет", — сказал Данилкин, понимая: при остром некомплекте личного состава обслуги у начальства должно быть как можно меньше. Пусть больше будет тех, кто в передовых цепях поднимается в атаку.
Народу в траншее было пожиже, чем раньше, кто-то сумел добавочно втиснуться в землянку, кто-то прикорнул в кустиках, в ложбинке между траншеями и ходами сообщения, кто-то скрючился в брошенном, недорытом окопе. В траншее были в основном те, кто нес ночную службу: часовые с подчасками, станковые и ручные пулеметчики, дежурные ракетчики, ну и, разумеется, суетились командиры разных степеней — от взводных до полковых. Суетился и замполит Данилкин: переходил от поста к посту, проверял, не кемарят ли, давал закурить или сам брал закурку, беседовал о том о сем и, конечно же, о главном — переходим в наступление, чтоб освободить многострадальную Беларусь. Средь бойцов было немало белорусов, и его беседы находили отзвук, и это радовало Данилкина.
Огорчало иное: среди стрелков, дежуривших в траншее, попадались и те, кто сегодня не подошел для вступления в партию. По тем или иным причинам. Да скажите, много ли радости в том, что в стрелковой ячейке дежурит какой-нибудь верующий вроде Жубицына, побывавший под оккупацией вроде Кравца, блатняк вроде Воскобойникова или раскулаченный вроде Хворостухина? Каждый такой практически предоставлен себе, никакие командиры не углядят, захочет рвануть в плен — рванет: каких-нибудь сто двадцать метров "нейтралки", правда, нашпигованы минами, окутаны колючей проволокой и пристреляны, и дежурные — наши ли, немцы ли, заметив движение на ничейном поле, осветят ракетами, накроют из пулеметов, из минометов. И все же: за таких беспокоишься, малость не доверяешь, если честно. Такие как раз и попались замполиту: отсидевший свое блатарь Воскобойников, происходящий из раскулаченной семьи Хворостухин. Других, что ли, не нашлось, чтобы поставить на пост в ночь перед наступлением? Понадежней кого надо бы! Ну, Кравец из оккупированного и ныне освобожденного Харькова под приглядом: ординарец, а Евгений Жубицын и вовсе безопасен: ни сдачи в плен, ни дезертирства, ни самострела уже не преподнесет. Другое преподнес. Ах, жалко хлопца, черт бы его побрал.
По обороне шастали и превысокие чины — сам командир дивизии, бывший преподаватель Военной академии и за то прозванный "академиком", офицеры его штаба, командир полка, командующий дивизионной артиллерией, еще кто-то, кого Данилкин не знал, в конце свиты обретался уже и комбат-один капитан Тенюков; генеральские, полковничьи и майорские погоны скрывали плащ-накидки, а вместо форсистых фуражек — обычные пилотки. Маскировка. Дабы вражеский снайпер не выследил и не влепил беспромашную пулю в фуражечку. И — чтоб вражеская разведка не засекла значительных чинов на передовой. Впрочем, и то, и другое в устоявшейся, уплотненной темноте вряд ли было возможно.
Данилкин, вжавшись в мазкую траншейную стенку, взволнованно представился генералу, тот небрежно кивнул и двинул дальше, сопровождаемый свитой. Проходя мимо Данилкина, комбат шепнул ему:
— Доведу Батю до стыка — и ворочусь на КП. Дуй туда и ты...
— Понял.
Отклеившись от траншейной стенки, Данилкин с облегчением вздохнул: не каждый день встречаешься с Батей, поволнуешься, коль комдив собственной персоной. Постукивали тяжелые немецкие пулеметы, огрызались "максимы", взмывали осветительные ракеты. Где-то далеко на юге не утихала канонада, — там, по-видимому, наступление уже развернулось. В беспросветном небе рокотали моторы: советские бомбардировщики эскадрилья за эскадрильей шли на бомбежку Орши, Витебска, Могилева, Бобруйска, Борисова и, вероятно, Минска. В ближнем и дальнем немецком тылу ухали взрывы, полыхали зарева, на небосклон ложились багровые полосы. К сожалению, и в нашем недальнем тылу ухали разрывы бомб и занимались пожары: немецкая авиация отнюдь не бездействовала...

В закутке у связистов ординарец Кравец соорудил для батальонного начальства поздний, на скорую руку, ужин: банка мясных консервов, полбуханки серого хлеба, головка репчатого лука и — по сто граммов беленькой. Ленька знал, как и замполит знал: перед боем комбат позволяет себе и другим выпить чуть-чуть для аппетита, так сказать, помочить губы, не более. Бой требует трезвой головы, а расслабиться, бледнея, капитан Тенюков может в иной, спокойный час, не требующий предельного напряжения сил и нервов. Ужин всухомятку, потому как все так ужинали: накануне бойцам выдали сухой паек на сутки, а горячий завтрак готовился на утро, часов на десять-одиннадцать, когда планировалось завершить прорыв вражеских укреплений, выход к третьей линии траншей, в ближние тылы, на огневые позиции артиллерии, а затем вывод полка и, следовательно, первого батальона во второй эшелон наступающих (или же закрепление на занятых рубежах, в зависимости от обстановки, которая сложится к тому времени). Словом, и бойцы ужинали всухомятку, разве что без водочки: финками вскрывали банки тушенки, грызли сухари, сосали рафинад, запивали родниковой водичкой.

Тенюков, усталый и, как всегда, холодноватый, поднял алюминиевую кружку, на донышке — на донышке! — плескалось:

— Выпьем, Денис!

— Подчиняюсь начальству...

— И знаешь, за что выпьем? Помянем душу Жени Жубицына. Пусть будет пухом ему земелька...

— Понял, — сказал Данилкин, хотя ему, в сущности, ни хрена не было понятно: по обыкновению, пили за товарища Сталина, за всеобщую всеохватную Победу, но никогда не пили за частную победу в очередном бою — чтобы не сглазить. А тут такое! Пить, хотя бы и сто граммов, за самоубийцу, за того, кто, собственно, уклонился от выполнения воинского долга, нарушил военную присягу? Загвоздочка — будь здоров.

— Не осуждай меня, Денюшенька. Конечно, Женька достоин осуждения. Да и нас крепенько подвел. И тем не менее... Тебе ведомо, что православная церковь осуждает самоубийц, не разрешает их отпевать?

— Нет, не ведомо, — сказал Данилкин, несколько удивленный познаниями комбата.

— Это так! А вот воинов, сложивших голову за Отечество, допускает прямиком в рай...

— Значит, нам с тобой, командир, уготованы райские кущи?

— Надеюсь на это. Ну, давай выпьем...

8

Начало атаки назначалось на пять ноль-ноль. И это удивило Данилкина. Обычно атака начиналась часов в восемь-девять, после артподготовки и — что самое существенное для солдатского желудка — после горячего завтрака. Правило! Закон! Стереотип! Каковым, впрочем, страдали и гитлеровцы: артподготовка и атака только после завтрака и кофе, у них война раньше девяти утра и не планировалась, выспаться, плотно подрубать — тогда можно и в атаку. К тому же следует учесть: немцы — большие аккуратисты.

На сей раз наша артиллерийская подготовка должна была начаться в четыре тридцать, с рассветом, через полчаса орудия и минометы перенесут огонь в глубину вражеской обороны, по проходам в ничейном поле двинутся вперед пехота и танки — увы, без горячего завтрака. Что это значило? Возможно, нынче-то советское командование пустилось на хитрость, в попытке обмануть привыкшего к шаблонам противника? По крайней мере, Данилкин так подумал. И, великий стратег, он одобрил эту военную хитрость. Если она имеет место и нет иных причин для столь раннего наступления.

Заваливаться спать было бессмысленно, да и негде: нары в землянках забиты, вповалку дрыхнут и на полу. А знаменитая комбатовская палатка свернута и уложена на пароконку хозяйственного взвода. Она, заветная палатка, будет поставлена где-нибудь западнее, будем надеяться — значительно западнее здешних торфяников неподалеку от Орши. Может, западнее Орши, западнее Борисова, западнее Минска? А почему нет, ежели война раскручивается в том направлении? На восток она уже давно не раскручивается. Так-то, господа фашисты!

Сто граммов из ординарских запасов не ощутились, и Данилкин с трезвой,

ясной головой сидел на корточках в связистском закуточке, привалившись спиной к ошкуренному стояку. Он то прикрывал, то открывал глаза, иногда сдвигал манжет гимнастерки, взглядывал на светящийся циферблат швейцарских часиков. Было около трех, ночь скоро начнет ломаться, и скоро начнет дубасить артиллерия, то бишь бог войны. Дай, Боже, прикурить фрицам, от твоего огня, который должен расчистить нам путь, многое зависит.

В землянке было смрадно, хотя дверь приотворена, вход занавешен плащ-палаткой. Спавшие похрапывали, постанывали, бормотали, неспавшие перебирали, утрамбовывали вещмешки, проверяли оружие, снаряжали диски, подгоняли обмундирование, перематывали портянки, писали письма — подставив под листок приклад, колено, книгу, дощечку. Письма домой, накануне наступления, начиненные неизвестностью. Уцелеешь ли, ранит ли, убьет наповал? И перед роковым сроком хотят как бы пообщаться с близкими. Делал это и замполит Данилкин. Сделает и сейчас, пока дозволяет ситуация.

Он вздохнул, вынул из планшета блокнот, вырвал листок, пристроил на планшете, вывел начальную строку: "Здравствуйте, мои дорогие и любимые жена Варечка и сынок Гришенька!" Данилкин никогда не сообщал о предстоящем бое: зачем зря волновать да и судьбу зачем искушать? Писал кратко: жив, здоров, у него порядок, вместе с боевыми друзьями громит ненавистных немецко-фашистских агрессоров. Победа за нами, скоро увидимся, с фронтовым приветом, крепко обнимает их и целует. Примерно то же написал Данилкин и в эту ночь, сложил листок треугольником, написал уральский адрес и адрес своей полевой почты. При оказии отдаст кому-нибудь, кто двинет в тыл, к полевой почте. Пока же сунул в планшет. И успокоился. Вернее — стал настраивать себя на спокойствие, на хладнокровие, на уверенность, что худого с ним не случится.

Он знал, что многие бойцы сообщают домой о предстоящих боях, обещают не посрамить семейной чести. Против семейной чести Данилкин не возражал, а вот писать о близких боях — зачем? Чтоб домашние не смыкали после этого глаз? Одно время он пытался беседовать с бойцами, отговаривая их тревожить близких такими письмами. Кто-то внял его совету, большинство — проигнорировало. Потому Данилкин и перестал давать советы на сей счет. Пусть поступают, как считают нужным, тут он им не советчик, не судья.

Капитан Тенюков писем домой не писал: подремывал возле дежурного связиста, временами брал у телефониста трубку, спросонок вяло разговаривал с ротными, но когда позвонил подполковник Коноплев, комбат враз подобрался, голос зазвучал ясно и четко. Выслушав командира полка, Тенюков отчеканил:

— Понятно, товарищ Пятый... Это очень кстати, очень благодарю вас... А то я уже хотел держать его на НП, при себе, мало ли что может со мной произойти... Глупости говорю? Конечно, вы правы: со мной ничего не произойдет, но капитан Ветошников будет очень кстати... Еще раз спасибо... К выступлению готовы, товарищ Пятый... Не подкачаем... И вам ни пуха ни пера! Понял, понял... Свои хоромы уступлю вам охотно, хе-хе! После боя будем острить? Согласен, товарищ Пятый... До свидания... Ждать осталось недолго... До свидания, товарищ Пятый... Конечно, конечно...

Переговорив с командиром полка, Тенюков обернулся к Данилкину:

— Подполковник Коноплев информировал, что к нам прибывает капитан Ветошников, из полкового штаба. Можно сказать, отрывает от своего тела, хе-хе... Но если серьезно: крепкая подмога. Выйду из строя — Ветошников примет батальон. А ты волен идти в роты.

— Пойду с первой ротой. А Ветошников — толковый офицер. Дай только Бог, чтоб с тобой не случилось худого. Как и со всеми нами.

— Аминь!

— Доложусь замполиту...

— Давай.

Данилкин дозвонился до полка, доложил майору, что прибывает капитан Ветошников, и попросил разрешения идти с передовыми цепями. Майор милостиво разрешил, предупредив, однако: побывай не в одной любимой роте Таги-заде, но и в остальных ротах.

— Учту, товарищ майор!

— Под пули зря не лезь.

— Учту! Разрешите отбыть?

Отдав телефонисту трубку, Данилкин пожал комбату руку:

— До встречи в ближнем немецком тылу.

Тенюков похлопал его по плечу.

— До встречи после боя. Чем дальше на западе, тем лучше.

Лейтенант Таги-заде приветствовал с шумливой бесцеремонностью:

— Ура комиссару! Тянет к родственным душам? Я был уверен: личным примером в атаке будешь вдохновлять именно первую стрелковую роту! Как ты без нее?

— Без нее ни шагу, — суховато сказал Данилкин, которому шумливость и бесцеремонность ротного показались чрезмерными и неуместными, впрочем, шут с ним, с разухабистым Гусейном. В его землянке тоже кто спал, кто шебуршился. Пламя "коптильника", сработанного из сплющенного с краю артиллерийского стакана, полосами перебегало по потолку, стенам, нарам и лицам и сумеречно отражалось в глазах у тех, кто не спал.

— Как настроение, Гусейн? У тебя, у солдат?

— Спрашиваешь, комиссар! В первой стрелковой роте и лично у лейтенанта Таги-заде — исключительно боевое!

И опять эта шутливая шумливость. Ну да хрен с ним! Хорошо, если настроение и впрямь боевое. Значит, парторг, комсорг, агитаторы, редакторы "боевых листков", коммунисты и комсомольцы из актива поработали. А как те, новенькие, кого Данилкин сагитировал в партию? Где они?

Но чадный свет коптилки делал всех на одно лицо, стирая своеобразие и узнаваемость, — ни в ком Данилкин не опознал вновь принятых. А фамилии их? Новеньких партийцев в роте Таги-заде было четверо. Однако ни одну фамилию Данилкин, к стыду своему, почему-то вспомнить не смог. Непринятых, неоформленных, замазанных — помнил: Хворостухин, Воскобойников (это из третьей роты младшего лейтенанта Заварского) и, конечно, Жубицын Евгений, — тут уже подвели и лейтенант Таги-заде, и весь партийно-комсомольский актив роты во главе с парторгом Аникеевым, да, да, тем же Аникеевым. Да ладно, что теперь — после драки махать кулаками. Урок на будущее. Да много их еще будет, самых различных уроков...

Ему вдруг подумалось: свет коптилки отражается и в его собственных зрачках. Захотелось подойти к каждому — от командира роты до рядового красноармейца — и сказать им какие-то незнаемые, необыкновенные, сокровенные слова, которые по-настоящему поднимут их дух и поведут на подвиг. Перед боями он неизменно говорил личному составу такие же, похожие по форме слова, но по скрытой сути, как понял сейчас, казенные, равнодушные, стертые от частого употребления. Однако новых, незнакомых, заветных слов не находилось, и Данилкин не поднимался, тяжело, угрюмо молчал.

За десяток минут до артиллерийской подготовки комбат распорядился будить в подразделениях спящих, чтоб в конце артподготовки все были в первой траншее, готовые к броску. Как будто стучит некий метроном, и настают мгновения, которые отчеркнут твое нынешнее бытие от прошлого. Повезет — это нынешнее тоже станет твоим прошлым, а новое нынешнее предстанет уже в каком-то ином, неизведанном качестве. Ну а не повезет — не будет ни прошлого, ни нынешнего, ни будущего, в братской могиле никто из них не поместится, ибо в тесной яме положенное пространство займет только твое тело. Твое мертвое тело...

Данилкин сторожил этот момент и все-таки вздрогнул вместе со всеми, когда грянул первый залп, за ним, будто догоняя и перегоняя, — второй, затем третий, четвертый, покуда артиллерийская стрельба не слилась в сплошной гул и рев. Артиллерия вела огонь через нашу передовую с разных — открытых и закрытых позиций, но стрельба с одинаковой силой била по ушам, по голове, казалось, — по всему телу. Бывалые бойцы заткнули уши ватой, открыли рты — так адский шум меньше молотил по барабанным перепонкам. Ваты у Данилкина не было, однако рта не раскрыл, хватал губами воздух, как выброшенная на берег рыба.

Над землянкой просвистывали, просверливали воздух снаряды и мины, потолок и стены тряслись, сверху сыпалась труха, и стало трудно дышать от пороховой гари, полезшей в дверь и щели по углам. А по ушам, а по затылку било, било, било. Мучительно выносить звуки артиллерийских выстрелов, а каково же тем, которые испытывают близкие звуки разрывов? Да так им и надо, проклятым фрицам, посягнувшим на нашу землю. Кто вас звал сюда? Уходить по-доброму не желаете, так уж не взыщите за то, что творится сейчас на ваших передовых позициях и в ближнем тылу. Долг платежом красен, отливаются вам наши слезы

сорок первого, сорок второго да и сорок третьего. Пойдем вперед, только вперед!

И это были мысли привычные, банальные, возникавшие как бы автоматически. Где другие, более свежие и более глубокие мысли? А черт его знает! Может, их и не должно быть. А может, лучше и безо всяких мыслей во время артподготовки, перед атакой? Хорошо бы вообще не думать, а совершать все механически, как заведенному. Чушь? Конечно! Но насколько легче тогда существовалось бы на свете. Так не бывает? Не бывает, Денис Степанович.

Данилкин посматривал на часовые стрелки, словно поторапливал их. Да и то: чего медлить, неотвратимое—неотвратимо, никуда от него не деться. не терпится в пекло, где кровь, страдания и смерть? Не терпится, поскольку этого не избежать, и не надо тянуть волынку. Скорей бы определиться в своей судьбе — это желание охватывает, как нестерпимый зуд.

В землянке произошло какое-то движение, пружинисто встал лейтенант Таги-заде, поправил автомат на груди. Поднялся и Данилкин.

— Ну, что, комиссар? С нами? — гаркнул на выходе лейтенант Таги-заде.

Данилкин кивнул, ибо голос ором можно сорвать, а он еще пригодится, когда вылезать из траншеи, увлекать в атаку, раздирая рот воплем: "Вперед! За Родину, за Сталина! Коммунисты, вперед! За мной — ура!" А при заминках и матюком взорваться — опять же срывая голосовые связки, но смысл один: вперед, вперед, вперед!

В траншее толчея, суета, неразбериха, роты и взводы перемешались. Кто-то пнул Данилкина в бок, кого-то он поддел. Над головами продолжали шелестеть снаряды и мины, разрывы, пучась, сотрясали ничейную полосу, три линии немецких траншей, опоясывавших высоту, и ближний тыл за высотой, и подальше, в глубине обороны. Немцы огрызались, их снаряды тоже шуршали над головой, рвались в районе огневых позиций советской артиллерии; пореже, пожиже обстреливался и передний край нашей обороны. Немецкие огневые точки были подавлены далеко не все, но со световым днем фрицевскую оборону начнут обрабатывать "Илы", штурмовики, прозванные противником "летучей смертью", "черной смертью", "гибелью с неба". Тогда-то, может, и замолкнут чужие пушки и минометы. Еще "Ил" называют воздушным танком, Данилкин вычитал это в "Красной Звезде", что и говорить — мировой самолетик. И там же Данилкин вычитал: наша "тридцатьчетверка" — лучший в мире танк в классе средних танков. Да, с "тридцатьчетверками" воюется куда как веселей, сзади, в лесочках, на исходных позициях прогревают моторы. Порядок в танковых частях!

Познабливало: и утренний холодок, и холодок волнения. Посмолить бы цигарку, но не до курева. Ничего, вскоре согреется. Когда потопает в атаку. В рост потопает, хотя и втянет инстинктивно голову в плечи, ссутулится непроизвольно. Согреется, аж пот потечет в три ручья. Жарко будет!

На востоке, за лесной кромкой, розовело низкое небо, розовое переливалось в голубое, голубизна светлела, выцветала, еще чуток — и желтые солнечные лучи пробьются сквозь кроны берез, осин, сосен, елей. И воцарится день, день большого наступления. На юге оно гремит вовсю.

Понемногу неразбериха как бы рассосалась: люди прильнули к траншейным стенкам, группировались у приставных лесенок, по которым предстоит выкарабкаться на бруствер — и вперед, за Родину, за Сталина, в душу и мать! Данилкин наметанно определил тех, кто первым полезет по ступенькам: за пояс заткнуты красные флажки, их и должно воткнуть в бруствер уже вражеской траншеи как свидетельство победы, а флажки понесут прежде всего коммунисты. Коммунисты, вперед!

Артиллерийская подготовка закончилась залпом реактивных установок — "катюш". Словно железом проскребли по железу, от этого скрежета аж мурашки по спине. Огненные стрелы пропарывали небеса и вонзались во вражеские укрепления. По всей линии нашего переднего края пошли вверх серии красных и зеленых сигнальных ракет, и в обрушившейся оглушительной тишине Данилкин услыхал свой напряженный тенорок:

— Ребята, на лесенки! В атаке не задерживаться! От огневого вала не отрываться! Бегом к немецкой траншее! На бегу веди огонь! В траншею прыгай, но сперва швырни туда гранату! Рукопашной не бойся! Не давай фрицам опомниться, гони их ко второй траншее! Вперед, орлы!

Он выкрикивал команды, которые, в сущности, должны были давать строевые командиры—ротные, взводные, отделенные. Что они, впрочем, и делали. Крича-

ли, подталкивали, торопили подчиненных, а потом полезли по лесенкам и сами. Кое-кто перемахнул через бруствер и без лесенки.

Боковым зрением Данилкин увидел комбата: приник к биноклю, разглядывает, что творится на нейтральной полосе, бледный, будто выпил. Ему не положено идти с наступающей цепью. А замполиту — положено.

Данилкин растолкал солдат, поставил ногу на ступеньку и частым мелким шажком — вверх, вверх. И он уже на бруствере, уже призывно поднял автомат, уже побежал по изрытому воронками, в клубах дыма, бросовому льняному полю, ставшему ничейным полем. Врешь, теперь оно становилось нашим! Навсегда!

На бывшей "нейтралке" опять смешалось, перепуталось, цепи атакующих ломались, разрывались, грудились у одного выстриженного саперами ночью прохода в проволочном заграждении, тогда как рядом проход был свободен. По столпившимся лупили крупнокалиберные пулеметы из немецких дзотов, уклонившись от маршрута, бойцы наступали на противопехотные мины: взрыв — и человека нету.

— Бросай на "колючку" плащ-накидки, скатки и перекатывайся! — крикнул Данилкин и швырнул на проволоку плащ-накидку, обдираясь о колючки, перекатился через нее.

Услышали замполита или нет — неизвестно, но увидеть увидели, и некоторые последовали его примеру (некоторые повернули к свободному проходу), швырнули перед собой плащ-палатки и таким макаром преодолели проволочное заграждение, побежали дальше, к немецкой зигзагообразной траншее, к разрывам наших снарядов, расчищавшим путь атакующей цепи. Им, атакующим, нельзя было отставать от разрывов: артиллеристы перенесли огневой вал — и ты, пехота, шибче за ним, да не боись, свои осколки не должны задеть.

Рядом плюхнула мина немецкого шестиствольного миномета — знаменитого "ишака", стреляет — будто ишак орет. Данилкина швырнуло наземь, горячая воздушная волна прошлась сверху, опаляя. Успел подумать: "Волна покрутит, переживем, лишь бы осколки обошли". Ему повезло: упал в вымоину, это уберегло от сильного удара взрывной волны, горячий воздух ослабленно толкнул — и все. А осколки и вовсе помиловали. Везуч Денис Степанович!

Все-таки застонав, он встал на левое колено, на правое, поковылял и, не замечая, что заикается, крикнул:

— Вперед, славяне! Круши фашистских гадов! Ура! Победа за нами! Ура-а-а!

Забыв бросить гранату перед прыжком в траншею, скатился через бруствер, зашиб больное плечо, очумело огляделся: за траншейный выступ убегала скрюченная фигура немца — дал вдогонку длинную очередь, фриц рухнул, как будто споткнулся.

Дюжий автоматчик в рогатой каске и кургузом френчике, выскочив из подбрустверного блиндажа, выстрелил из "шмайссера" в Данилкина, но промахнулся и затрусил туда же, куда убегал первый. Данилкин нажал на спусковой крючок, однако очереди не последовало. А-а, хрен моржовый, патроны кончились. Пока он лихорадочно, обламывая ногти, менял магазин, долговязый фриц благополучно удрапал.

Данилкин затопал следом и тут увидел воткнутый в бруствер красный флажок с коротким древком. И подумал: "Теперь-то победа, точно, за нами. Раз флажок здесь. Главное — ворваться в первую траншею, а там уже нас не выкуришь, зацепимся, вгрыземся". По ходу траншеи, метрах в тридцати, слышалась густая автоматная стрельба, взрывались наши РГД, "лимонки" и немецкие ручные гранаты. "Заварушка? Ну и мне туда", — с хмельной злобой подумал Данилкин, поправляя ремень автомата и сумку с ручными гранатами.

На бегу споткнулся о труп обер-ефрейтора, дюжего, долговязого, того самого, которому всадил очередь в спину, — ноги в сапогах с подковками разведены, руки скрючены, как судорогой, голова в окровавленной пилотке, будто свернута назад. Данилкин удержался на ногах, ухватившись за выступ, переступил тело и почувствовал подступившую тошноту, — она словно бы утопила хмельную злобу: ни хмеля, ни злобы, только — усталость. С усилием передвигая отяжелевшие ступни, Данилкин попробовал побежать, но не смог, перешел на шаг. И опять споткнулся о труп, внезапно явившийся за уступом. Это был наш боец — с развороченным животом, с вывалившимися сизыми кишками, со снесенным черепом, однако часть лица сохранилась, — Данилкин враз признал: Арутюнов Вазген, из второй роты, вновь принятый в кандидаты ВКП(б). Прощай, солдат и коммунист, такие, как ты, и водружали алые флажки на вражеском бруствере. Прощай и прости,

Арутюнов Вазген, виноградарь из Араратской долины, мне надо дальше, тебя подберет и упокоит в братской могиле полковая похоронная команда. И снова тошнотно подкатило к горлу — показалось, вылезшие кишки шевелятся, — слабость родилась не только в ногах, но и во всем теле, да и испарина облепила, как мокрая прохладная простыня.

Закружилась голова. Кренясь, Данилкин прислонился к траншейной стенке: запах взрыхленной земли ударил в ноздри пресным запахом свежей крови. Шатаясь, Данилкин отошел от тела Арутюнова, и сильнейший приступ рвоты переломил его. Возле зияла пулеметная площадка, он поспешно шагнул туда, сотрясаемый спазмами.

9

Он уже вытирался рукавом, когда на площадку заглянул потный, запыхавшийся, со сбитой на ухо пилоткой комроты-один Таги-заде. Возбужденно спросил:

— Живой, комиссар?

— Да.

— А что с тобой? Контузило?

— Маленько.

— Оттого и вывернуло?

— Да, — сказал Данилкин, понимая: рвота вовсе не от контузии.

— Заикаешься. Помощь не нужна?

— П-пройдет.

— Тогда айда во вторую траншею! Во-он там ход сообщения. Где пальба.

— П-понял. П-пошли, Гусейн...

Таги-заде побежал впереди, Данилкин неуклюже, неуверенно закосолапил вслед, стараясь не отстать. Даже догнал. Отфыркиваясь, сказал:

— Почему каску не надел? А, Гусейн?

Таги-заде ощерился:

— Тяжелая. И жарко в ней.

— Башку поберег бы.

— Любишь читать нравоучения.

— Положено по должности.

— А заикаться стал вроде меньше. Подчас и вовсе нормально.

— Это пустяки, пройдет. А каску носи. Как я.

— После, после, комиссар.

Отдышавшись и освежившись необязательным разговором, они прибавили прыти, побежали по ходу сообщения. И дурацкая дурость: думай о том, что предстоит делать, а Данилкин вдруг подумал о том, что уже сделано — как всадил очередь в спину скрюченному немцу, окончательно его скрючив. Да, совершенно дурацкое: чем дальше разматывалась война и чем больше доводилось вгонять очереди в немцев, тем острей, болезненней переживал Данилкин: его свинец входил в живую плоть, из живого тела творил мертвое. Что враги — понятно, их положено уничтожать, иначе они уничтожат тебя и твоих товарищей. Непонятно вот что: обычно на войне переживают из-за первого убитого, потом пообвыкают и уже не так психуют. У Данилкина очередной выверт: первого срезал — ничего, второго — ничего, с третьим — поволновался, а с четвертым — начал переживать, мучиться, мандражировать: убил человека, а у него, у человека, мать, жена, дети и так далее. А сколько их всего убил? Старается не считать — это вот снайперы метят на прикладе: как уложил — так зарубка финкой.

И с выпивкой у Данилкина не как у людей: опрокинет чарку — хмелеет, вторую — вроде трезвеет, третью — будто вовсе тверезый, сколько ни дернет — никогда не упьется в дым. Только добро переводит. Эх, хлопнуть бы сейчас стакашок, расслабиться бы или, напротив, собраться — и вперед, без оглядки, будь что будет — это так, но окончательная победа все-таки за нами. Данилкин поправил ремень автомата, облизал спекшиеся губы, крякнул и словно бы почувствовал во рту водочный вкус.

Заварушка, к которой топали Данилкин и Таги-заде, рассосалась внезапно, — немцев, очевидно, перебили либо же отогнали во вторую линию траншей. Заварушка-то рассосалась, но кучи трупов — немецких и наших — загромоздили путь, пришлось вылезать через бруствер, бежать по открытой, простреле-

ваемой местности. Лейтенант Таги-заде взмахивал автоматом и кричал:

— Первая рота, вперед!

Батальонный замполит Данилкин взмахивал автоматом и кричал:

— Первый батальон, вперед!

А вокруг кипел и гудел бой. Гром боя. В этом гаме-громе старший лейтенант Данилкин невольно — многоопытным ухом — различал самые разные гамы-шумы: пролетело на штурмовку звено "Илов"; лязгал траками, пулял выхлопными газами засевший в болотнике тяжелый танк "ИС", рвались мины и снаряды, стучали ручные и станковые пулеметы. И, конечно, людская разноголосица: команды, вопли, стоны, брань, победные крики "ура" и "зиг хайль". Что касается победных кликов, то наши звучали весомей. И это успел отметить хромающий, плетущийся из остатних силенок старший лейтенант Данилкин, так сказать, старлей. По-пехотному: старшой.

С холмика, из осинника, траншею поливал разрывными пулями спаренный немецкий пулемет. Лейтенант Таги-заде, к счастью, наткнулся на наших станкачей, приказал подавить огневую точку на холме. А что еще командовать, как управлять боем? Да никак! "Вперед, во вторую траншею, ура!" — вот и все управление в ближнем бою.

Так же, в о о б щ е, руководил подопечными и замполит Данилкин. Даже когда прошмыгнувший сержант с воспаленными, красными, как у кролика, глазами доложил ему, что комроты-три Заварский ранен и эвакуировался в тыл.

— Беру командование третьей ротой на себя! — закричал Данилкин. — Третья рота, слушай сюда! Вперед, во вторую траншею, ура! За мной! Не отставай!

Суматоха, неразбериха, дым, смешанный с пылью, видимость хреновая, грохот разрывов, кто тут особенно прислушивается к командам и тем более выполняет их. Понятна одна команда: вперед, во вторую траншею, очистим ее — даешь третью! Вперед, вперед и вперед!

Данилкин давным-давно уяснил: скрупулезно, дотошно спланированные операции (в наступлении ли, в обороне ли) убедительны лишь на штабных картах. В Генеральном штабе, в штабах фронта, армии, корпуса и даже дивизии — все расписано, как по нотам, как у пруссаков: первая колонна марширует, вторая колонна марширует. Это кабинетное бумаготворчество уже на уровне полка не срабатывает. Успех решают люди ближнего боя, те, кто в батальонах, ротах, взводах, отделениях. Можно сказать и порезче: успех определяет Солдат. Оттого, заляжет ли он перед вражеской "колючкой" либо же, преодолев себя, шагнет к ней под пулеметным огнем — и зависит победа. Или поражение. Только дурак безмозглый не боится смерти, соль в том, чтобы естественный страх подавить, побороть и шагнуть навстречу смертельной опасности. Таким именно и видится замполиту Данилкину тот самый Солдат. Которому после войны поставят в Москве памятник на Красной площади. И с которым пока что, на войне, замполит Данилкин плечом к плечу рвется на запад...

Снова можно было спрыгнуть в траншею, лейтенант Таги-заде сделал это раньше. Потом и Данилкин перелез через бруствер, скатился на дно. Поправив каску, крикнул:

— Робя, прыгай в траншею — и за мной!

Траншея была широкая, и кое-кто обгонял Данилкина, иногда поддевая стволом или прикладом автомата, локтем, малой саперной лопаткой в чехле. Но замполит на это не серчал, наоборот, — радовался: бойцы рвутся во вторую траншею, а временно исполняющий обязанности комроты-три старшой Данилкин, как и дóлжно, движется сзади своих бойцов, чтобы руководить их действиями. По уставу так положено, но на практике почти не бывает, ротные и взводные варятся с подчиненными в одном котле, а вот уже батальонное и тем паче полковое начальство — те действуют по уставу, располагаются позади подразделений.

Пот выедал глаза, они слезились, руки-ноги как не свои, голова подрагивает (хотя контузия как бы и не замечается), кажется: стальная каска стучит по черепку, — да это вздор, поскольку имеется шерстяной подшлемник, уберегающий от прямого соприкосновения с каской. Автомат молотил по груди, пересчитывая ребра. А чего их пересчитывать, они у Данилкина в полном наличии, несмотря на ранения.

Из-за уступа выскочил офицер, свой, кого Данилкин меньше всего рассчитывал узреть тут, — капитан Ветошников, из полковых, посланный замом к Теню-

кову: подкопчен порохом, присыпан пылью, гимнастерка в разводах пота, ощеряется белозубо:

— Привет, Данилкин!

— П-ривет, Ветошников! Ты как здесь очутился?

— Проще простого. Комбат приказал в первой траншее оборудовать свой НП, вот-вот прибудет, связисты уже тянут сюда линию.

— Шустер комбат, — сказал Данилкин и увидел, как кривоногий, в линялых фиолетовых обмотках, телефонист с катушкой на горбе разматывает кабель вдоль хода сообщения.

— Так что, Данилкин, давай будем брать вторую и третью траншею!

— Не возражаю, милый друг! Немцы, правда, покамест возражают.

— Уговорим! Чтоб только наступательный порыв не выдохся.

— Наладим связь, попроси у комбата подбросить огоньку. Во-он по двугорбой высотке, дот там.

— Хорошо. Лишь бы провод не посекло осколками.

— Надо поднимать линию на шесты, на деревья.

— Уже делают.

— Добро!

— Ну, двигай. Ты растекайся по траншее вправо, Таги-заде — влево, вторая рота пойдет прямиком по ходу сообщения. Вышибем фрица из второй траншеи — сразу броском в третью!

— Добро!

Оказывается, и в бардаке траншейного боя можно командовать что-то осмысленное. Если б еще эти осмысленные команды удавалось выполнять. Вот именно! Ибо следом же появились незнакомые бойцы и сержанты со своими командирами, — быстренько прояснилось, что это люди из второго батальона, более того — также из батальона соседнего полка. Никто ничего не мог разобрать, но ямщицкий бас капитана Ветошникова покрыл прочие голоса:

— Всем во вторую траншею! Бегом! И потом — в третью! Бегом, бегом!

Где кучками, где толпой растекались по траншее, по ходам сообщения, кое-где выбирались на открытое пространство. И — худо ли, бедно — продвигались на запад.

А навстречу — и по укрытию, и по открытым лощинкам плелись раненые в окровавленных бинтах, хромая, опираясь на палку или винтовку. Тяжелораненых несли на брезентовых носилках, — эти раненые были похожи на мертвецов, и атакующие старались не смотреть ни на них, ни на дюжих сивоусых санитаров.

Стали попадаться и пленные — и раненые, и невредимые, испачканные торфяной грязью, с поднятыми руками, у кого они не перебиты осколками или пулей; пленные топотали вроде сами по себе, и лишь в хвосте толпы Данилкин увидел конвоиров: двух бойцов-казахов и сержанта Аникеева, ротного парторга.

— Ты что, Аникеев, в тыл навадился? — удивился Данилкин.

— Так надо ж кому-то отвести, — сказал Аникеев. — К тому приплюсуйте: у меня тут личный пленный, гауптман, вроде комбат. Хочу сам доставить: за гауптмана орденок отвалят. Важная птичка!

— Важная-то важная. Но место коммуниста, тем более парторга, не в тылу, а в передовой цепи. Гауптмана отведут казахи, они ребята надежные.

— Слушаюсь, — без подъема ответил Аникеев.

А гауптман, точно, тянет не меньше, чем на командира батальона. У немцев как? Командиров взводов нету, сразу идут ротные: лейтенанты и даже фельдфебели, а обер-лейтенант может уже заворачивать и батальоном. Тем паче — гауптман, капитан по-нашему.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Аникеев. — Просьба: при необходимости подтвердите, что гауптмана я пленил.

— Подтвержу.

— Он же не хрен собачий — командир батальона!

— Свой орден получишь, — сказал Данилкин и поглядел на гауптмана, и тот поглядел на него: безбоязненно, дерзко, раздувая крылья тонкого породистого носа, в петлице — железный крест, действительно персона, левая рука в крови, висит, правая, здоровая, поднята. Будто гитлеровец полусдается. Или голосует. За что? На допросе прояснится. А каска у него увита колосками пшеницы — маскировка. Фронтовой опыт Дениса Степаныча красноречит: каски немцы маскировали колосьями пшеницы, ячменя, ржи, овса, но никогда — травой или веточками. Почему? Хрен его знает.

— Ну что, Аникеич, поворачиваем оглобли? И так проканителились. Рвать когти надо!

— Рванем. Но предлагаю предварительно хлебнуть.

— Шнапс?

— Ромчик! Добыл у того гауптмана.

Данилкин знал, что немцы частенько отравляют фляги и бутылки со спиртным: русский Иван польстится — и откинет копыта. Потому и спросил:

— Уже дегустировал?

— Вкусил! Как видите, живой и бодрый! Желаете?

— Давай. — Он принял у Аникеева флягу в сером суконном чехле, отвинтил пробку, сделал пару затяжных глотков. — Нормальный продукт! На, держи. И — топаем...

Ром обжег, нутро будто занялось животворящим, взбадривающим огнем. Рыхлый, мучнистый Аникеев резво припустил по траншее, затем — где она была завалена глыбами от прямого попадания — вылез наружу, побежал пригнувшись по исполосованной, раздавленной колесами и гусеницами колосящейся пшеничке. Данилкин не отставал ни на шаг, испытывая взбудораженность и азарт. Вдруг подумалось: "Исполосовали пшеничный клин, а вокруг — очереди и разрывы. Говорят: жизнь прожить — не поле перейти. Смотря какое поле, такое вот попробуй перейди..."

На окраине пшенички, в ведьминых переплетениях лозы, возник немец-фаустник: спрыгнул в ровик, приспособил под мышкой фаустпатрон, прицелится — и вот-вот влепит нашему танку. До немца метров тридцать, и Аникеев одну за другой метнул в ведьмины переплетения лозы две "лимонки". Взрыв. Дым и торфяная пыль рассеялись. Немец уронил голову на фаустпатрон. Мертв.

— Сработал, сержант!

— Реакция есть, товарищ старший лейтенант!

А Данилкин подумал: "Ну а ежели бы действовали сугубо по уставу? Ежели бы я как старший по званию и должности ставил задачу Аникееву, а тот затем — кому-то из своего отделения, так фаустник сто раз поджег бы "тридцатьчетверку". Абсурдно подчиняться слепо букве инструкций, наставлений, уставов. И абсурдно также рассусоливать в бою, то есть философствовать и отвлекаться от дела". Тем не менее он отвлекся, сказал:

— Ты, Аникеич, действовал как истинный коммунист. Орден тебе вточнарь обеспечен. Как минимум — Красная Звезда.

— А "Отечественная"?

— Буду ходатайствовать о второй степени.

— Благодарствую!

— Все бы коммунисты сражались, как ты! Кстати, как сражаются члены партии и кандидаты первой роты?

— Нормально.

— Ну, это те, из старых. А вот те, которых оформили перед наступлением?

— Нормально.

— А комсомольцы, а беспартийные?

— Да поголовно по-нормальному дерутся. Труса никто не празднует. По крайней мере, мне не встречалось такое...

Западный скат высоты был более пологим, чем восточный, и когда батальон перевалил гребень, то спускаться было легко. Легко — если бы немцы не контратаковали и если бы траншеи не были завалены жидким торфом: низменность давала о себе знать, вонючая жидкость разливалась по дну траншей, ходов сообщения, окопов и пулеметных площадок, несмотря на дощатый настил. И взрывы здесь, на западном склоне, были грязно-черные, торфяные, превращавшие и живых, и мертвых в чертей. И уже мерещилось: воюют не люди, а черти.

Артиллерийско-минометная стрельба и стрельба ружейно-пулеметная то сникала, то набирала прежнюю и даже бо́льшую мощь. И под этот отнюдь не музыкальный аккомпанемент батальон шаг за шагом продирался на запад. Клубы дыма тоже то разреживались, то густели, и взошедшее солнце не вырывалось из сумеречи, — было ощущение: не утро, а вечер. А сколько же прошло времени с начала наступления, с той его минуты, когда вылезли из траншеи на нейтральную полосу?

Данилкин приоткрыл запястье, поднес к лицу часы. Пять сорок? Что за ересь? А, стоят, миленькие. Стукнуло, даже стекло в трещинках. Когда его контузи-

ло? Или в другой ситуации? Да разве в бою уследишь? Без часов остался. Скверно.

Данилкин держался сержанта Аникеева и его отделения, а может, наоборот, тот держался Данилкина. Как бы то ни было, они обретались недалеко друг от друга. И, конечно, ротный парторг Аникеев засек огорчения замполита по поводу наручных часов. Среагировал. Потому реакция — отменная.

— Часикам капут?

— Вроде того.

— Выручу. С того же гауптмана снял, облегчил. Швейцарские. Мой трофей — ваш трофей. Раздобудете себе — мои возвернете.

— Неловко как-то...

— Неловко правой рукой левое ухо чесать, хе-хе-хе! Держите! Как офицеру обойтись без часов? Немыслимо и невозможно!

— Ладно. Временно беру.

— Понятно, что временно, хе-хе.

— Развеселый ты партиец!

— На то я и партиец.

— Ладно, поддадим ходу.

Но едва они с группой бойцов покинули нижнюю, первую (на обратном склоне) траншею и начали перебегать изрезанный осушительными канавами торфяник к следующей высоте — то ли обогнуть ее, то ли захватить, обстановка подскажет, — как из-за нее покатил гул двигателей и сразу же выползло несколько танков и самоходных установок с черно-белыми крестами на камуфлированных башнях. За "ТУ", за "фердинандами" и "пантерами" лепились десанты автоматчиков. Вот так номер, чтоб я помер!

Командиры, и Данилкин в том числе, заорали на разные голоса:

— Назад! В траншею! В укрытия!

Разумеется, и без этих команд бойцы горохом ссыпались обратно в траншею, от которой, к счастью, не успели здорово удалиться.

— Приготовить связки ручных гранат! Противотанковые гранаты — к бою! Бронебойщикам, снайперам, пулеметчикам бить по смотровым щелям! Пехоте отсекать десанты от машин!

Эти и прочие правильные команды были не очень нужны, потому как бойцы знали, чего от них требуется. Лишь бы паники не возникло, при ней — пиши пропало. Но паники не было, хотя многие струхнули.

Струхнул и Данилкин. Еще с июньских боев сорок первого засел этот страх — может, и не страх, а острое ощущение повышенной, неминуемой опасности, — да так и осталось в душе: стальная громадина прет и прет, и никакие снаряды ее не остановят, и она расплющит тебя в кровавую лепешку.

В то памятное утро, солнечное и тихое, остатки разбитого полка, где служил замполитрука Данилкин, вырываясь из окружения, зашли в пшеничное поле, уже уставленное снопами. С шоссе свернули в надежде, что немецкие танкисты здесь их не заметят. Но танкисты заметили, въехали на поле и начали гоняться за красноармейцами, поджигая снопы, за которыми те прятались. Перебили, передавили и пожгли тогда нашего брата — будь здоров. Замполитрука Данилкин уцелел, и впоследствии были другие встречи с немецкими танками, уж что-что, а радости не вызывавшие...

Когда Данилкин скатился в траншею, по ней пробежал капитан Ветошников, подкопченный, но белозубый, за ним по-слоновьи топал в трофейных сапожищах мордастый ефрейтор с полевой рацией на горбе. Ветошников что-то крикнул Данилкину, тот ничего не разобрал. Затем замкомбата остановился, гаркнул радисту:

— Разворачиваем рацию!

Ефрейтор возился, копался, мешкал, и капитан Ветошников рявкнул:

— Не дашь связи с артиллерией — пристрелю, как собаку!

Наверное, подействовало: через пару минут Ветошников кричал в микрофон, называл координаты, требовал отсечного огня.

А танки и самоходки подошли едва ли не вплотную к траншее. Они стреляли прямой наводкой, в ответ — тоже в упор — били противотанковые пушки и ружья, летели противотанковые гранаты и связки ручных.

И тут, наконец, ударила дивизионная артиллерия, — стена разрывов встала между машинами и траншеей; стенка была настолько тонкая, что малейший недолет — и снаряд влепит не в танк, не в самоходку, а в траншею, куда отошел батальон.

Тем не менее крупнокалиберная артиллерия била точно: загорелись, задымились два "ТУ" и "фердинанд". И немецкие танки и самоходки попятились в кустарник, в подлесок, откуда, маневрируя, продолжали обстреливать траншею.

10

Маршала Василевского не впервой посещала мысль: два обстоятельства внешне между собой не схожи, даже противоречивы, на самом же деле угадывается подспудная неразрывная зависимость одного от другого. Первое обстоятельство: готовясь к летней кампании сорок второго года, советская разведка добыла из первоисточника сведения исключительной стратегической значимости: Гитлер планирует летом наступать не на Москву, а на юге, на Кавказ. Сталин не поверил этим донесениям и, как водилось у него, поверил в собственную интуицию и приказал основные силы войск держать на западе, на Московском направлении. Чем это окончилось — печально известно. Немцы ударили на юге и докатились до Сталинграда, до Кавказского хребта.

Все висело тогда на волоске, положение было, пожалуй, хуже, нежели в сорок первом. Но — выстояли, не надломились и нанесли гитлеровцам поражение, во многом изменившее дальнейший ход войны. Какою ценою это удалось — вопрос другой. Жертвы мы понесли колоссальные, но Сталин любил повторять: "Лишь бы выиграть сражение, за ценой мы не постоим". И не стояли, клали миллионы.

А вот второе обстоятельство, имеющее уже касательство к текущим событиям, к летней кампании сорок четвертого. Опять наша стратегическая разведка — честь ей и хвала — сумела раздобыть сведения, что Гитлер ожидает нашего наступления на юге. На сей раз Вождь поверил своим разведчикам — и завертелась гигантская машина дезинформации: на южных фронтах советское командование демонстративно "оставляло" большинство танковых армий, все светлое время суток на центральных фронтах велись лихорадочные "оборонительные" работы (на южном участке они велись ночью и всерьез). Была организована утечка сверхсекретных оперативных планов, по которым выходило — русские нанесут удар не в центре, не в Белоруссии, а на юге, что-что, а "дезу" мы фабриковать умели!

Александр Михайлович движением округлого плеча поправил наброшенный китель, поплотней утвердил локти на столике возле иллюминатора, в котором мокро проплывали рваные белые облака. Самолет ровно гудел, иногда покачивался, и в салоне где-то позвякивали чайные ложки в стаканах. Над столиком, напротив, — круглые настенные часы. Что ж, через полчаса будем на месте. Хорошо! Времени в обрез, и надо везде поспеть. Вот и летает, и ездит между Москвой и штабами фронтов, действия которых координирует по поручению Ставки.

Да, грандиозна была Сталинградская битва, в которой довелось участвовать. Но грандиозна и операция "Багратион", в которой доводится участвовать! Утверждая тридцатого мая план Белорусской стратегической операции, Верховный главнокомандующий предложил направить маршала Жукова и маршала Василевского представителями Ставки. Верховный спросил их, в какие бы фронты они хотели поехать.

— В любой, товарищ Сталин, — в своей строгой, суровой манере ответил Георгий Константинович.

— И я готов на любой, — тоже в своей, более мягкой, деликатной манере ответил Александр Михайлович.

— Вот какие у меня маршалы! — усмехнулся Верховный непонятно, загадочно, ибо никогда не угадаешь, что кроется за этой усмешкой — доброжелательность или недоброжелательность. — А почему бы и нет, товарищи? У Наполеона были свои маршалы, у Сталина — свои... Тогда решим так: товарищ Жуков отвечает за Первый и Второй Белорусские фронты, товарищ Василевский — за Первый Прибалтийский и Третий Белорусский. Нет возражений?

— Нет! — кинул, как отрубил, Жуков.

— Никак нет, товарищ Сталин, — негромко проговорил Василевский.

Самолет продолжало покачивать, облака плыли то белые, то сизые. Возник генерал-порученец:

— Товарищ маршал, взгляните, пожалуйста. Последняя оперсводка по Третьему Белорусскому.

— Благодарю. Ознакомлюсь без промедления, — ответил Василевский, с некоторым опозданием осознавший: воинское звание "маршал" относится к нему. Не привык еще (хотя пора бы) бывший прапорщик царской армии к погонам маршала Советского Союза. Ох и вознесло тебя, Александр Михайлович.

Нацепив очки, Василевский с тщанием дважды перечитывал оперативную сводку, подписанную командующим Третьим Белорусским фронтом генералом Черняховским, а чуть ранее — оперативную сводку командующего Первым Прибалтийским генералом Баграмяном. Сводки не содержали никаких осложнений, наступление развивалось довольно успешно, тревожиться причин не было. Но Ставка, но Верховный теребили, требовали оперативных докладов и от Василевского, и от Жукова. Так что приходилось мотаться с фронта и тому, и другому. Нет-нет да летали в Москву на короткие доклады лично Верховному.

В разрывах облаков возникала иногда ледяная синева, но и среди нее вспыхивали облачка — это разрывались зенитные снаряды, и самолет встряхивало, будто на воздушных ямах. Под косым солнечным лучом серебристо отсвечивало крыло, и снова небо затягивала плотная облачность. Конечно, лететь близ района боевых действий предпочтительней бы ночью, но необходимость диктует свои неотменимые сроки — ночь ли, день ли. Да Бог не выдаст, свинья не съест. Пронесет. Как до сих пор проносило.

Василевский отодвинул бумагу с оперативной сводкой и задумался. Мысль как бы раздваивалась: и о прочитанном размышлял, и о постороннем, однако имеющем или имевшем прямое отношение к его жизни и смерти, думалось. Да, да, разумеется, не только рядовые солдаты рискуют на войне, полководцы — тоже. На свой манер, конечно.

Ну вот хотя бы случай, также связанный с самолетом. Было это поздней осенью сорок второго под Сталинградом. Нужно было перелететь от генерала Ватутина, с Юго-Западного фронта, к генералу Голикову, на Воронежский фронт. Погода стояла нелетная, но Александр Михайлович настоял на вылете, ибо обещал Верховному двадцать четвертого ноября работать уже в войсках Голикова. А обещание Сталину — смертной клятве сродни. Попробуй не сдержи.

Взлетели. Сплошной туман, видимость нулевая. Самолеты потеряли зрительную связь, началось обледенение. Машина, на которой летел Василевский, совершила вынужденную посадку прямо в поле, километрах в тридцати юго-восточнее Калача (Воронежского) — на Подгорной. Как не сломали шею, до сих пор непонятно, но ушибов — хватило. Пришлось добираться по целине до ближайшего колхоза, затем на санях до шоссе, ведшего в Калач, наконец, на первом подвернувшемся военном грузовике — к районной телефонной станции.

Все, включая и Москву, были встревожены "судьбой Василевского", а он более всего тревожился о судьбе У-2, на котором летел состоявший при нем для поручений генерал Ручкин: у того находились секретные документы Ставки, предназначенные для командования Воронежского фронта. И надо же: из семи самолетов лишь один, на котором летел Ручкин, благополучно добрался до Бутурлиновки. Извинился Александр Михайлович перед летчиками за свой неосторожный приказ, да нужно было вылетать не задерживаясь, что попишешь...

Василевский выпрямился, откинулся в креслице. Спина заныла, но не от усталости, а от былых ушибов и переломов, — да не тех, сорок второго года, а свеженьких, весенних, образца сорок третьего.

Севастополь запомнится! Майский, в цветении и пожарищах. Очень хотелось посмотреть город в первый же день его освобождения. Переезжая через одну из немецких траншей в районе Мекензиевых гор, "эмка" наскочила на мину. Каким образом там уцелела мина, если за двое суток по этой дороге прошла не одна сотня машин? Мотор и передние колеса взрывной волной оторвало от кузова и отбросило на несколько метров, шоферу лейтенанту Смирнову поранило левую ногу. Александр Михайлович сидел рядом с ним в кабине и весьма ощутимо ушиб голову, а мелкие осколки стекла поранили лицо. Сопровождающие же — генерал Кинницкий и адъютанты Гриненко и Копылов, которые сидели сзади, не пострадали. После перевязки Василевского отправили в тыловой эшелон штаба армии, затем в штаб фронта. Оттуда он по настоянию медиков был эвакуирован самолетом в Москву. Некоторое время врачи удерживали в постели, и появилась возможность еще раз вникнуть в детали подготовляемой Генштабом на лето Белорусской операции под кодовым названием "Багратион". Простоев в работе Александра Михайловича, таким образом, не было...

Еще в апреле Верховный, поторапливая Василевского с освобождением Крыма от немцев, напомнил, что Александр Михайлович будет привлечен к планированию, подготовке и проведению операции "Багратион". Привлечен — среди крайне ограниченного круга лиц. Да это и понятно: чем меньше посвященных, тем меньше вероятность утечки информации. Вот уж где сверхсекретность отнюдь не помешает.

Василевский сделал на полях оперативного донесения кое-какие пометки, отдал бумагу генералу-порученцу:

— Ознакомьтесь и набросайте варианты поправок.

И опять задумался. Он летел вблизи живого, огнедышащего фронта и как бы видел внутренним зрением, что там внизу происходит, как разворачивается — где ускоряясь, где притормаживая — громадное наступление советских войск. Вот перешедшие одновременно в наступление пехота и танки, окутываясь пылью, огнем и дымом, движутся на лепельском, витебском, богушевском, оршанском, могилевском, свислочском и бобруйском направлениях — чтобы ударами с ходу раздробить стратегический фронт обороны противника, окружить и уничтожить его в районе Витебска и Бобруйска и затем, стремительно развивая наступление в глубину, окружить и разгромить 4-ю немецкую армию восточнее Минска: "минский котел" создал бы благоприятные условия для развития операций всех четырех фронтов.

Когда Александр Михайлович впервые узнал о плане "Багратион", он сразу же оценил и д е ю и со всей энергией приступил к ее реализации. "Багратион" предусматривал: мощными сходящимися ударами по флангам белорусского выступа (он так и стоял перед глазами) — с севера от Витебска через Борисов на Минск и с юга через Бобруйск также на Минск — разгромить главные силы группы армий "Центр", находившиеся в середине выступа, к востоку от Минска. О, этот вожделенный выступ, он и сейчас, в самолете, встал в воображении Василевского, будто перекочевав с карты и увеличившись до подлинных, неправдоподобных размеров.

Планом "Багратион" предполагалось, что выполнение замысла позволит полностью освободить всю Белоруссию, отбросить все еще нависавший над Москвой вражеский фронт западнее Смоленска, далее выходом на побережье Балтийского моря и к границам Восточной Пруссии рассечь стратегический фронт противника, поставив в опасное положение действовавшую в Прибалтике группу армий "Север", создать выгодные предпосылки для последующих ударов и в Прибалтике, и в западных районах Украины для развития новых, решающих операций на наиболее уязвимых для немцев восточно-прусском и варшавском направлениях. Далеко идущие перспективы!

В иллюминатор билась, жужжала зелено-золотистая муха. Залетела еще на стоянке, в "дугласе" тепло, и муха, очевидно, чувствовала себя в высокопоставленном самолете отнюдь неплохо. Вдруг Василевскому вспомнился эпизод за обедом у Верховного. Сталин нередко озадачивал внезапным поворотом мысли. Озадачил и в тот раз. Улыбаясь в усы, под хорошее настроение, сказал: "Товарищ Василевский, вы вот такой массой войск руководите, и у вас это недурно получается, а сами, наверно, и мухи никогда не обидели". Это была шутка. Но Александр Михайлович растерялся, молчал. Сталин сказал: "А между тем мухи — вредные насекомые. Их надо истреблять". И это уже не прозвучало шуткой.

Ладно, зелено-золотистая, летай, жужжи, черт с тобой, маршал Василевский дарует тебе жизнь, хоть ты и вредное существо. Он же известный добряк. Ну добряк или не добряк, а человеческие души и, следовательно, жизни старается беречь. Насколько это возможно на войне.

Когда готовилось проведение "Багратиона", Василевский посетил Первый Прибалтийский, где командующий фронтом генерал Баграмян ознакомил его с предварительными наметками наступления фронта. Тактично, но непреклонно Александр Михайлович высказал несогласие с характером наступательных боев в межозерных дефиле: заведомо допускались излишние, неоправданные потери. "Потери понесем, зато выиграем в темпе!" — возразил Иван Христофорович. "В темпе вряд ли выиграем, — сказал Василевский. — А вот людей положим зря!" О разногласиях с представителем Ставки Баграмян доложил по ВЧ Сталину. Но тот сразу же принял сторону Василевского: "Личный состав надобно беречь. В противном случае нам не с кем будет дойти до Берлина". Конечно, весьма по-своему поддержал Василевского, но — поддержал. И жесткий, неуступчивый Баграмян безропотно внес уточнения в операционные планы.

Подошел командир экипажа, доложил:

— Товарищ Маршал Советского Союза, до посадки двадцать минут. Разрешите начать снижение?

— Тут я вами не командую, товарищ майор. Действуйте, как считаете нужным, — ответил Василевский и раскрыл кожаную папку с бумагами: скрепками были подколоты различные справки, могущие пригодиться при докладе Верховному.

Он просматривал справки, запоминал цифры и проблемы, в них поднимаемые, обдумывал возможные ответы на возможные вопросы. Хотя Сталин спрашивал медленно и глухо, отвечать ему надлежало быстро и четко. Тягучих, уклончивых ответов Верховный не переваривал, и окружение это знало.

И снова, и снова Василевский думал: "Так ли уж остро необходимо отзывать с фронта хотя бы для кратковременного отчета? В разгар событий? Ведь существует ВЧ: сними трубку — и спрашивай-докладывай о чем угодно. Впрочем, Верховному видней, музыку он заказывает". До Александра Михайловича досочилась информация: Жукова также вызвали, но Георгий Константинович отбоярился, сославшись на необходимость быть в войсках. А Василевскому не хватило характера, сразу отчеканил: "Вылетаю, товарищ Сталин".

"Дуглас" приземлился на Центральном аэродроме, рядом с Ленинградским шоссе. "Эмка" уже поджидала, Василевский опустился на переднее сиденье, щелкнула дверца, вырулили на шоссе и покатили к улице Горького, а там Белорусский вокзал, а там Красная площадь: Кремль, Сталин. После вместительного "дугласа" "эмка" как бы стискивала своей теснотой. Александр Михайлович поворочался, утрамбовываясь. Машина ехала, не сбрасывая скорости, по правительственной оси, — столица лежала впереди и по бокам, знакомая, узнаваемая. Он частенько наведывался в нее с фронтов из-под Сталинграда, Курска, из Донбасса, с правобережной Украины, из Крыма, да мало ли еще откуда. И поэтому сейчас особых изменений в ее облике, в облике москвичей не замечал. Да и не старался заметить, ибо не всматривался в здания и лица, а скользил поверхностным, отсутствующим взглядом. Мыслями он был там, в Кремле, в сталинском кабинете, а еще там, в Белоруссии, на Третьем Белорусском и Первом Прибалтийском, у Черняховского и Баграмяна...

Василевского провели в приемную Сталина, к Поскребышеву. Прижав кожаную папку под мышкой, Василевский общим поклоном поздоровался с всесильным секретарем и с теми, кто был в приемной. Поскребышев слегка оторвался от кресла и тут же устало опустился, устало сказал:

— Товарищ Василевский, вам придется немного подождать. Товарищ Сталин еще не прибыл.

— Я вас понял, товарищ Поскребышев, — сказал Александр Михайлович, отходя к окну, и подумал: "На Верховного это не похоже — опаздывать. По режиму он уже позавтракал и давным-давно уехал с Кунцевской дачи. На часах пятнадцать ноль-ноль. В это время Верховный уже работает..."

В приемной никто не сидел, кроме Поскребышева, все переминались у стен, возле полукресел, — генералы, министры, дипломаты — знакомые и незнакомые Василевскому. От всеобщего внимания и почтительности к его маршальским звездам на погонах было неуютно, и Александр Михайлович старался ни на кого не смотреть, прохаживался у зашторенного окна.

Зазвонил телефон. Поскребышев взял трубку и пружинно, забыв об усталости, вскочил на ноги:

— Здравствуйте, товарищ Сталин! Так точно, собрались... И маршал Василевский приехал... Да, да, конечно... Слушаюсь, товарищ Сталин... Будет исполнено, товарищ Сталин... Я вас понял, товарищ Сталин... — Он бережно положил телефонную трубку на рычажки, прокашлялся и сказал: — Товарищи! Товарищ Сталин занят, работает за городом и сегодня принять вас не сможет. Когда сможет, я вам перезвоню. Вы свободны. Товарищ Василевский, вас прошу задержаться...

Приемная опустела стремительно, будто в ней только что не было скопления значительных особ. Василевский вопросительно поднял голову. Поскребышев сам подошел к нему и с неназойливой вежливостью сказал:

— Товарищ Сталин извиняется, что побеспокоил вас. Он простудился, работает в Кунцеве. Поправится — позвонит вам на фронт. Не исключено, завтра. Просит немедленно возвращаться к Черняховскому и Баграмяну.

— Когда отбывать?

— Сию минуту. "Дуглас" заправлен, готов ко взлету.
— В таком случае разрешите откланяться, товарищ Поскребышев.
— Мягкой посадки, товарищ Василевский.
— Благодарю, — сказал Александр Михайлович, поклонился и покуда шагал к дверям, успел подумать: серьезна ли простуда у Верховного? Или у него резко поднялось давление, о чем не положено распространяться? Подумал: потерял столько времени, а Жуков сумел отбиться, иначе бы и он слетал впустую. Подумал: "Заскочить домой, к жене, не сумеет, а позвонит с аэродрома. А в общем — все путем, обернется быстро, и фронтовые наступательные будни без него не остынут".

Втискиваясь в просторном кремлевском дворе в тесную "эмку", Василевский почувствовал: мысли уже не раздваиваются, потому что разговор с Верховным не состоялся, он отодвинулся, и теперь на уме одно — Белорусская наступательная операция. Когда ехал с аэродрома в Кремль, на московских улицах было светло и солнечно, когда из Кремля на аэродром — накрапывал дождь. Ну что же, уезжать в дождь — к удаче, есть такая примета. Может, положение на фронте складывается совсем нехудо? Будем надеяться. Пусть так, пусть войска развивают успех, тогда и доклад Верховному будет выглядеть солидней, весомей, убедительней.

От коменданта Центрального аэродрома Василевский позвонил жене. Екатерина Васильевна страшно обрадовалась, но подробные беседы вести было недосуг. Александр Михайлович справился о ее здоровье, сказал, что в Москве он на пару часов, заехать домой не сможет, целует крепко и — до встречи. Балую Катю, подумал он, выходя от коменданта, непременно звоню, если в Москве, регулярно пишу письма — если вне столицы, пишу своим аккуратным каллиграфическим почерком, которому мог бы позавидовать любой штабной писарь царской армии.

Уже в "дугласе" он опять подумал о Сталине. Неужто и впрямь простуда? Тогда будет лечиться коньячком. А если давление? Тут нужно иное — покой, постельный режим, медикаменты. Лекарств Сталин не употребляет, врачей не признает, даже боится, и лечится сам, в основном — армянским коньяком. Но ведь это может быть опасно. Не дай Бог, произойдет крупное кровоизлияние в головной мозг. Или разрыв сосудов сердца. Без Сталина армия и народ в данный момент не смогут. На переправе коней не меняют. А если это, наихудшее, случится? Лучше об этом не думать.

Не о себе, не о собственной судьбе и карьере печется Василевский. Хотя и не скрывает: Сталин к нему благоволит, как и вообще к представителям шапошниковской школы генштабистов. Да, именно усилиями бывшего начальника Генерального штаба маршала Бориса Михайловича Шапошникова Василевский и был выдвинут наверх, приближен к Сталину. И он стремится оправдать это доверие, как понимает доверие, долг и ответственность.

И вдруг вспомнилось еще то, довоенное. Весна сорокового года. После затянувшегося заседания Политбюро, на котором были и военные, Сталин пригласил его участников отобедать у него на квартире, находившейся этажом ниже сталинского кабинета в Кремле с портретами Суворова и Кутузова по стенам. На заседании по докладу начальника Генерального штаба был принят ряд оперативных и срочных решений. Борис Михайлович Шапошников дал Василевскому указание безотлагательно отправиться в Генштаб, отдать там распоряжения, связанные с этими решениями. Минут через сорок пять после того, как Александр Михайлович прибыл в Генштаб, ему позвонил Поскребышев и напомнил, что Василевского ждут в Кремле к обеду. Закончив дела, Александр Михайлович через несколько минут уже сидел рядом с Шапошниковым за обеденным столом. Один из очередных тостов Сталин предложил за здоровье товарища Василевского — представителя шапошниковской школы и вслед за этим задал Александру Михайловичу неожиданный вопрос: почему по окончании семинарии он не пошел в попы? Несколько смутившись, Василевский ответил, что он не имел такого желания, что ни один из четырех братьев не стал священником. Улыбка, как всегда, застряла в рыжеватых усах Сталина: "Вы не имели такого желания? Понятно. А вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему, не поймем до сих пор". Все засмеялись, громче всех — Анастас Иванович Микоян. Но беседа на этом не закончилась. "Скажите, пожалуйста, — продолжил Сталин, — почему вы, да и ваши братья, совершенно не помогаете материально отцу? Насколько мне известно, один ваш брат — врач, другой — агроном, третий — командир, летчик. Я думаю, что все вы могли бы помогать родителям, тогда бы старик не сейчас, а давным-давно бросил бы свою церковь. Она была нужна ему, чтобы как-то суще-

ствовать". Александр Михайлович ответил, что с тысяча девятьсот двадцать шестого года он порвал всякую связь с родителями. И если бы поступил иначе, то, по-видимому, не только бы не состоял в партии, но едва ли бы служил в рядах Рабоче-Крестьянской Армии и тем более в системе Генерального штаба. И сказал далее: "Несколько недель назад я впервые после многих лет получил письмо от отца. Во всех служебных анкетах, заполняемых мною, указывалось, что я связи с родителями не имею... Я доложил о письме секретарю своей партийной организации, который потребовал, чтоб впредь я сохранял во взаимоотношениях с родителями прежний порядок". "Вот как?" — Сталин удивленно вскинул брови, и все присутствующие тоже удивились. Растягивая слова, Сталин сказал, чтобы товарищ Василевский немедленно установил с родителями связь, оказывал бы им систематическую материальную помощь и сообщил бы об этом разрешении в парторганизацию Генштаба. "Слушаюсь, товарищ Сталин", — ответил Александр Михайлович, смятый разговором. Был ли тогда Сталин искренен или и г р а л ? Через пару лет он почему-то вновь вспомнил о стариках Василевского, спросил, где и как они живут. И опять растерянность овладела Александром Михайловичем. Он ответил: мать умерла, а восьмидесятилетний отец живет на родине, в Кинешме, у старшей дочери, бывшей учительницы, потерявшей на фронте мужа и сына. Сталин сказал: "А почему бы вам не взять отца, а может быть, и сестру к себе? Наверное, им здесь было бы не хуже..." Конечно, не хуже. Как не хуже было бы родителям, если б он не порвал с ними, самыми близкими ему людьми. Но иного выхода не было, так от него требовали, так поступало большинство.

"Дуглас" держал курс на Смоленск. Гудели моторы. Салон покачивало, убаюкивая. Борясь с сонливостью, Василевский старался думать, как там, у Черняховского и Баграмяна, как у соседей, на Первом и Втором Белорусском, а думалось невольно о Сталине, вспоминалось то, о чем можно было сейчас и не вспоминать. Да с чего всплыл в памяти хотя бы этот случай? Август сорок первого, положение на советско-германском фронте аховое, Сталин зол, угрюм и груб, а под дурное настроение ему лучше не попадать под руку. Василевский приступил тогда уже к исполнению обязанностей начальника Оперативного управления и заместителя начальника Генштаба. Ставка и Генштаб помещались на Кировской улице, откуда легко можно при бомбежке перебраться на станцию метро "Кировская", закрытую для пассажиров. От вагонной колеи ее зал отгородили, разделив на несколько частей, важнейшими из них являлись помещения для Сталина, для генштабистов и для связи. Как-то очередная воздушная тревога застала Василевского во время переговоров с Юго-Западным фронтом как раз возле подземного телеграфа: срочно потребовалось подняться наружу, чтобы захватить некоторые документы. Возле лифта Василевский встретил членов Государственного Комитета Обороны во главе во Сталиным. Поравнявшись, Сталин показал Молотову на Василевского и хмуро улыбнулся в усы: "А, вот он где, все неприятности — от него. — Поздоровался, спросил: — Где же вы изволили все это время прятаться от нас? И куда вы идете, ведь объявлена воздушная тревога?" Василевский ответил, что идет захватить необходимые материалы, после чего вернется. Верховный, уже без хмурой улыбки, кивнул, прошел дальше. Нет, это было не после, а до назначения начальником Оперативного управления и заместителем начальника Генштаба, память дала осечку. А тогда действительно многие неприятные известия с фронтов п р о х о д и л и и через Александра Михайловича. Зато впоследствии он докладывал Верховному вести куда более приятные — победные! Уже как начальник Генштаба и представитель Ставки Верховного Главнокомандования докладывал.

Вскоре доложит, как надеется, и об успехе "Багратиона", то же сделает и маршал Жуков. Пробиться к Минской автостраде — и вперед на запад! Еще немного — и он будет на КП Черняховского. За дела, за дела! Гнать немцев от Москвы, гнать немцев к Берлину! Тихоход все-таки этот "дуглас"...

А когда-то немцы стояли у стен московских. В октябре сорок первого из Химок рассматривали в цейсовские бинокли кремлевские башни. Непостижимо, чудовищно...

Вот толкуют: дескать, Сталин никогда не выезжал на фронт. Но однажды — поздней осенью сорок первого — фронт сам пришел к нему, — наверное, Верховный ощутил на своей щеке опаляющее дыхание передовых позиций. Хотя, в сущности, зачем Верховному Главнокомандующему посещать передовые? Ему сподобней руководить из Ставки. Стало быть, из Москвы.

11

По траншее, вообще по высоте 215,5, била и немецкая артиллерия из глубины тыла, с закрытых позиций. Наши орудия частично перенесли огонь туда, в глубину обороны, в глубь леса, — заваривалась артиллерийская дуэль. То есть, когда доблестные пушкари как бы подзабывают о не менее доблестной пехоте, которую обязаны поддерживать, как говорится, сопровождать огнем и колесами. Из-за мыска, слева, выползло пяток “тридцатьчетверок”, сразу вызвав на себя огонь. И потому батальону, засевшему в траншее, стало доставаться еще больше: что-то адресовалось “тридцатьчетверкам”, что-то добавочно обрушивалось на батальон Тенюкова. Самого комбата-один на высоте пока что вроде не было. По траншее мотался капитан Ветошников, отдавая отрывистые, нужные и ненужные команды, которые никто не дублировал, и они как бы повисали в воздухе.

Мотался по траншее от бойца к бойцу и замполит Данилкин, но выкрикивал не команды, а свое, замполитовское:

— Ни шагу назад! Стоять насмерть! Советскому воину танки не страшны! За нашей спиной — Родина! Она не оставит нас, поддержит! Не робей, братцы, бери пример с коммунистов, победа — за нами!

Была ли польза от его призывных кликов? По крайней мере, вреда не было, Данилкину хотелось в это верить. А десяток минут спустя довелось пламенные призывы подкрепить личной, так сказать, практикой. Немецкие танки и самоходки, до этого маневрировавшие в подлеске, начали снова выползать на межболотное дефиле и принимать боевой порядок — уступом вперед. Так, клином, ходила в атаку когда-то тевтонская конница, — свиньей назывался: закованные в латы псы-рыцари на лошадях-тяжеловозах, тоже защищенных кованым железом. По фильмам помнится, “Александр Невский” — был такой фильм, Данилкин не забыл.

Теперь с в и н с т в о выглядит по-иному. Не многопудовые кони — многотонные танки “тигр”, а псы-рыцари упрятаны в эти стальные коробки, и грозят не мечом — пушкой, пулеметом и гусеницами. И к тому же клин, когда надо, развертывался в цепь — после тарана. Машина — “тигр”, “пантера”, “фердинанд” — грозная, почти неуязвимая махина. Да, не машина, а махина. И почему-то, хрен его разберет, чужие танки и самоходки кажутся грозными, неудержимыми, а свои — даже могучие “КВ” и “ИС” — уязвимыми, незащищенными. Хотя это не так, совсем не так. И вообще дурацкое ощущение: что стреляет в тебя — сильней, из чего ты стреляешь — послабей. Конечно, дурацкое. Может, очередной выверт старшого Данилкина? Или, как говорит ординарец Ленька Кравец, в чужих руках хрен завсегда больше? Непристойно, но, возможно, верно? В переносном, конечно, смысле. А-а, да фиговина все это, бред все это. И пропадите пропадом, сгиньте, посторонние мысли. А они неизменно вылупляются, сумасбродные в своей неуместности. В деле — думать только о деле!

Данилкин выглянул за бруствер и остолбенел: из кустарника прямиком на окоп Данилкина пер “фердинанд”, самоходная установка. Ну, понятно: вблизи траншеи бронированный клин перестроился в линию, и самоходные установки пошли возле танков, страхуя от противотанковых пушек, наших самоходок, бронебойщиков. Остолбенелость исчезла вмиг, как только находившийся рядом с ним в стрелковой ячейке боец размахнулся и швырнул за бруствер противотанковую гранату.

Она разорвалась под днищем “фердинанда”, завалив его набок, — огонь и дым вспрыгнули на крутящуюся гусеницу: машина была неподвижна, а траки задранной гусеницы продолжали бежать друг за другом, но бег замедлялся. Данилкин хлопнул бойца по плечу:

— Молодчага! Как зовут-то?

— Никита.

— А по фамилии?

— Хворостухин.

— Обожди, обожди... Не тебя ли я давеча прощупывал насчет партии?

— Меня.

— Узнал! Хотя закопчен весь...

— Вы тоже, — сказал Хворостухин и застонал, согнулся, ухватившись левой рукой за правую, повисшую, — с пальцев закапала кровь.

— Что?

— Клюнуло.

— Давай индпакет! — крикнул Данилкин.

— Опосля! — крикнул и Хворостухин. — Вон вторая противотанковая! Кидайте! Что, не видите танка?

Данилкин, конечно, видел: из-за поваленного, жирно чадящего, прошиваемого языками пламени "фердинанда" выползал "TV", поводя хоботом пушки влево и вправо, выискивая того, кто подорвал самоходку. Данилкин схватил рукоятку ПТГ, поставил на боевой взвод и, подпустив танк еще метров на пять, метнул гранату.

Взрывом встряхнуло окоп, Данилкина отбросило к Хворостухину. Боец ойкнул: видимо, задел раненую руку. Данилкин сказал:

— Извини, брат.

— Да чего там...

И оба высунулись за бруствер. "TV" с сорванной гусеницей крутился на месте, дымя и занимаясь пламенем, но не переставал стрелять из пушки. Данилкин спросил:

— Еще ПТГ есть?

— Нету.

— Жаль. Добить бы в самый раз.

— Пушкари добьют, бронебойщики.

— И то верно.

— Вы свое сделали. За танк орден получите.

— А ты — за "фердинанд...". Да хватит лясы точить, давай рану перевяжу. По-скорому!

Оба торопились. Хворостухин закатывал рукав, Данилкин вскрывал индивидуальный пакет, приложив тампоны к сквозной ране пониже локтя, бинтовал потуже. Покуда они это проделывали, Данилкин думал: "И этого вояку нельзя в партию! А к ордену — можно? Где логика?" Кончив бинтовать, завязал тесемки и сказал:

— А теперь-то газуй в тыл, в санроту.

— Товарищ замполит, в медпункт не пойду.

— Что? Ты же ранен.

— Правая рука действует. Из автомата стрелять могу.

— Крови же потеряешь.

— Вы плотно запеленали. А из боя выйду, когда он стихнет.

— Видишь ли, Никита, приказывать тебе я не имею права...

— И потому остаюсь в строю.

— Шут с тобой.

Он хотел хлопнуть Хворостухина по плечу, но вовремя вспомнил про раненую руку и лишь улыбнулся.

— И вы со мной, товарищ замполит! Хотя маненько заикаетесь. Контузило?

— Именно: маненько.

— До свадьбы заживет?

— У тебя — да. А я, братец, женатик, захомутованный.

И оба тихонько рассмеялись. Обстановка для смеха была, конечно, не очень подходящая. Разрывы выворачивали торф наизнанку, пучили столбами огня, дыма и грязи, фукали осколки, посвистывали пули, взревывали моторы в воздухе и на земле, крики то вздымались, то опадали. Новичку, впервые попавшему сюда, даже сидя на корточках в относительной безопасности на дне траншеи, впору спятить. Но тут новичков не было, ну разве что десяток-другой новобранцев из маршевой роты, остальные — тертые калачи. Впрочем, и у тертых калачей щемило, душа просила-требовала, чтоб атака скорей завершилась. Однако все понимали: она завершится тем быстрей, чем быстрей батальон, полк, дивизия выйдут в дальний немецкий тыл. И потому — вперед, вперед, туда, где уже горели подожженные снарядами, минами и бомбами леса, торфяники, деревни и поселки "Осинстроя".

Уцелевшие "TV", "пантеры" и "фердинанды" пятились, отстреливались из пушек и пулеметов, сопровождавшие их автоматчики ходко жали к лесу, также отстреливаясь на ходу. Из траншеи начали выскакивать бойцы и сержанты. Что есть мочи Данилкин напряг тенорок:

— Третья рота! Весь первый батальон! Вперед! Преследуй фрица! За мной!

Он вылез на бруствер и пошаркал кирзачами, уверенный: и третья рота, и весь первый батальон чешут за своим замполитом. А кое-кто и впереди чешет. Вон они, удальцы! С такими не пропадешь! И боевой азарт, сникший было от усталости, жажды, контузии и еще чего-то, вновь шевельнулся, распрямился, придал

силенок. И уж совсем взыграло ретивое, когда возле себя Данилкин увидел бойца с автоматом на шее и с рукой на перевязи. Хворостухин Никита, друг сердечный, не отстает! Нет, воистину с такими храбрецами не пропадешь. А коль и пропадешь, то с музыкой. Пропадать всегда веселей с музыкой...

А покамест весело гнать фрицев. Взашей. В хвост и гриву. С родной земли — к едрене фене. Ура, бей, круши гадов, за Родину, за Сталина, в душу-мать, ура!

Все бы ничего, но сердечко, треклятое, не выдерживает, трепыхается, покалывает. Не хватает воздуха, задыхаешься. И приходится, к досаде своей, притормаживать. И еще — носоглотка пересыхает, чертовски хочется пить, — глоток бы речной, озерной или даже болотистой водички, да и ромчик сошел бы. Была у Данилкина стеклянная фляга в брезентовом чехле. Только наши интенданты, идиоты, додумались до такого: фляга из стекла. В первом же бою пришлось залечь, то есть плюхнуться под обстрелом наземь — и от фляги одни мокрые стекляшки. Брезентовый футляр, правда, сохранился. Приподнес ее командиру хозвзода. Да при чем тут интендант столь крохотного масштаба? А трофейной, алюминиевой так и не разжился. Хотя у ординарца Леньки Кравца таковая имеется. В ней он хранит водку.

Разрозненная, ломаная цепь (а где и кучки) бойцов — кто бегом, кто трусцой, кто понурым шагом — выбиралась к подошве следующей высоты. Данилкин оступился в лисью или барсучью нору, захромал. Этого, черт, недоставало: к потертостям добавилось еще — подвернул ногу. И незалеченное плечо ноет. И дыхание сбивается. И подташнивает. Пот заливает глаза. Жара душит, хотя солнце перевалило зенит, тяготеет к горизонту. Так и есть: на аникеевских часиках — шестнадцать тридцать. Этак летит время в бою!

Крепко, тучно пылило там, где болота и торфяники подсушены, особенно возле осушительных канав, похожих на траншеи или даже на противотанковые рвы. Пыль черная, грубая, скрипит на зубах, как стекло от твоей раскоканной фляжки. Противно!

У можжевелового куста возникла плотная, квадратная фигура, — как и прочие, заляпан грязюкой, запылен, подкопчен, на погонах, пускай и пропыленных, видны два просвета и большая звездочка: майор, на груди "Звезда" и "Отечественная", знак "Гвардия". Но самое заметное: на крепыше не каска, не пилотка, а офицерская фуражка. Нашел чем форсить в бою, лакомая цель для снайпера из "ягдкоманды". Крепыш крикнул Данилкину:

— Старшой! Я комбат из гвардейской дивизии! Двигай своих солдат во-он туда, по дефиле, в обход высоты!

— Понял, товарищ майор, — сказал Данилкин и подумал: снял бы ты фуражечку, форсун, хоть ты и гвардейский комбат. А вообще-то продолжает к чертям собачьим смешиваться-перемешиваться, уже и ребятишки из одиннадцатой гвардейской армии генерала Галицкого вклинились на участки нашей тридцать первой армии генерала Глаголева. Или мы вклинились на их участки? Ничего не разобрать, сам черт ногу сломит. Да в другом главное — что продвигаемся на запад, ломаем вражеское сопротивление. И мы, гвардейцы и не гвардейцы, это делаем!

Мелькнул — кто? — да, точно, комроты-один Таги-заде. Данилкин заорал:

— Гусейн, веди роту в обход высоты! Справа!

— Кто приказал? Ветошников?

— Я приказываю! Весь батальон туда поведем. Гвардейский комбат нацелил, его бойцы уже обтекают высоту!

— Я б хотел, чтобы Ветошников нацелил!

— Он где-то сбочь. Да уверен: не будет против. Решение разумное!

— Ладно, комиссар! Подчиняюсь начальству! — И улыбается. Нашел время лыбиться. Впрочем, молодец, если способен на это в таком пекле. Капитан Ветошников тоже улыбался, молодец. Да и еще кто-то запомнился из встречных, но это были скорее не улыбки, а гримасы.

Данилкин и Таги-заде потрусили рядом, сталкиваясь потными, разгоряченными плечами, — больное плечо замполита это весьма ощущало. Он спросил:

— Потери в роте большие?

— Смотря что понимать под этим.

— Сколько убитых? Раненых?

— Разве ж в бою подсчитаешь? После боя можно.

— А на глазок?

— Нормальные. Средние, — недовольно ответил лейтенант и сплюнул вязкую, тягучую слюну, — и уже без улыбки.

— Слушай, Гусейн! А почему ты по-прежнему в пилотке? Надень каску!

— Есть! — с неожиданной безропотностью сказал Таги-заде, снял пилотку, водрузил каску.

— И бойцам прикажи!

— Ребята! — гаркнул Таги-заде. — Кто не в каске — надеть! Береги башку!

— Правильно, Гусейн. Башку нам надо беречь. Пригодится.

— В будущем — возможно.

— Она и сейчас не помешает.

Таги-заде не ответил и, похаркав, опять сплюнул.

Солнце било прямой наводкой, слепя, словно ближними разрывами, высекая слезу. Но дым буквально выедал глаза, и тут-то слезы текли в три ручья. Дым забивал и легкие, люди кашляли, хрипели, отхаркивались, хватали ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Эх, добежать бы до заветного рубежа, где скомандуют остановить продвижение, — где-нибудь у речки или озера. И будьте уверены: на этих бережочках будут валяться оглушенные в воде снарядами, выброшенные взрывами в прибрежные кусты караси, окуни, щуки, красноперки.

А пока по полянам, по торфяникам, по дернине серо-зелеными буграми валялись трупы — наших и немцев, даже на беглую оценку наших значительно больше. Так понятно же: наступающие всегда несут потери больше, чем обороняющиеся. Почти закономерность. Хотя бывают исключения.

Обход высоты 206,7 справа был поперву нормальным. Но продвинулись еще метров сто пятьдесят и угодили на минное поле, и на противопехотных начали подрываться то здесь, то там. Цепи залегли. Данилкин пошарил взглядом гвардейского комбата — не увидел. Приказал:

— Командира саперного взвода — ко мне!

Подполз, извиваясь ящерицей, юный пухлогубый, вряд ли познавший бритву лейтенант, тугощекий, в тельце, доложился. Данилкин поиграл желваками:

— Почему не проделан проход? А?

— Саперы о минном поле не знали, товарищ старший лейтенант!

— Как так?

— Разведки не было...

— Бардак!

— Исправимся...

— Давай разведывай — и чтоб проход был, как штык!

— Слушаюсь...

Командир саперного взвода прихватил с собой четырех кряжистых хлопцев со щупами и миноискателями и пополз к заминированному участку. Едва саперы проползли метров двадцать, как жахнул взрыв и стало очевидно: на противопехотной подорвался сам юный лейтенант. По неосторожности ли, по неопытности ли. Лейтенанта отбросило вбок, сквозь пелену дыма увиделось: ступни у него оторваны, белеют раздробленные кости, хлещет кровь. Срывающимся голосом Данилкин приказал батальонному фельдшеру оказать раненому помощь и срочно эвакуировать, а саперам — продолжать обезвреживать мины.

— Да осторожней вы, черти полосатые!

Но тут объявился капитан Ветошников со связным, умученный, уже без улыбки, раздраженный, злой:

— Саперы, чего пурхаетесь? Шуруй, шуруй!

Саперы тыкали в подозрительные бугорки щупами, водили над землей миноискателями. Ветошников нетерпеливо крутанулся на каблуках:

— Обход слева также заминирован, если и там снимать мины — пропурхаемся. Я провел разведку — на высоте 206,7 всего одна траншея. Будем атаковать в лоб, мин там нету. Данилкин, Таги-заде, собирайте личный состав для атаки! Живо!

— Понятно, — сказал Данилкин и подумал: “А что же с приказанием комбата-гвардейца? Кстати, куда он запропал? Ранен, а может, и убит?”

— А чужих брать? — спросил Таги-заде.

— Каких чужих? — не понял Ветошников.

— Гвардейцев. Их немало здесь болтается.

— Всех брать! Под гребенку!

— Майора, комбата, что-то не видать, да и других офицеров-гвардейцев, — сказал Данилкин.

— Тем более! Бойцов и сержантов из гвардии временно возьмем под свое командование! — Ветошников рубанул воздух ладонью и крутанулся на каблуках.

Высота 206,7 и впрямь была опоясана единственной траншеей, и обороняло ее менее полуроты. Ветошников, Данилкин и Таги-заде пошли впереди атакующих, повели батальонные цепи на стрелковые ячейки, пулеметные площадки и редкие дзоты.

Рукопашной немцы не приняли, недорытым ходом сообщения стали скатываться с западного склона в тыл, в посеченный осколками березняк. И когда атакующие перевалили гребень, и когда Данилкин подумал, что вот в его фронтовой житухе взята еще одна высота, а их на веку хватало и оттого почему-то казалось: в итоге взбираешься на какой-нибудь Эльбрус, с которого все послевоенные годы придется спускаться, и когда кто по ходу сообщения, кто по открытому склону вошли к подножию, — тогда-то шальная пуля ударила капитана Ветошникова в живот. Редкостное по подлости ранение — в живот, трудно после выкарабкаться даже в наилучшем госпитале. Если, конечно, довезут до него живым.

Ветошников стоял рядом с Данилкиным и, застонав, замычав, начал валиться на него. Данилкин подхватил под руку, с другой стороны подхватил Таги-заде. Бережно уложили на траву, еще не зная, куда ранен. Искали рану, осматривая и ощупывая потерявшего сознание Ветошникова с враз побелевшими щеками и посиневшими губами. И пальцы у них дрожали.

И оба вздрогнули: пальцы, столкнувшись, умокнулись в красное и липкое, проступавшее пятном на гимнастерке, под командирским, с желтомедной пряжкой, кожаным поясом. "Такие пояса носили до войны", — подумал Данилкин и сказал:

— Срочно эвакуировать!

— Как можно быстрей! Иначе помрет, — тускло отозвался Таги-заде.

— Фельдшер! Фельдшера сюда!

— И санинструктора сюда! Капитан Ветошников тяжело ранен!

Тягостная весть передавалась по цепям, от группы к группе, от бойца к бойцу, и незаметно, на каком-то этапе переменилась так: капитан Ветошников убит. С этой, преобразованной, вестью ознакомили и комбата капитана Тенюкова.

Он появился на высоте 206,7 внезапно, как из-под земли, — в каске, с автоматом на груди, в развевающейся плащ-накидке, с неизменными автоматчиками охраны и ординарцем Кравцом за спиной. Скрипнул зубами:

— Не уберегли Мишу Ветошникова! Как же так, Денис?

Данилкин пожал плечами, словно говоря: от пули-дуры и себя-то не убережешь. Вместо этого сказал как бы не по делу, в действительности же — по делу:

— Перенес КП уже сюда?

— Да. Узнал о гибели Ветошникова — и рванул сюда.

— Он не убит, товарищ капитан, — сказал Таги-заде. — Ранение в живот, пулевое.

— Не убит? — встрепенулся комбат. — Где он?

— Пару минут его вместе с командиром саперного взвода отправили в тыл. Благо, санитарная двуколка подвернулась, — сказал Данилкин.

— Может, и спасут, — вздохнул Тенюков. — А ты, Денис, будешь у меня опять за всех замов и помов.

— Буду, командир. Проводную связь сюда потянут?

— Да.

Подгреб горбатый из-за походной рации на спине сержант из роты связи — с распахнутым воротом, мокрый, как из бани, в пилотке, но Данилкин замечания насчет каски ему не сделал: вот уж кто парится, так это радист. А радист между тем развернул радиостанцию, надел наушники и почти тут же кликнул комбата:

— Товарищ капитан! Вас командир полка вызывает!

Тенюков прижал поплотней наушники, взял микрофон. Доложился. Выслушал, не перебивая. Сказал:

— Вас понял. Приступаю к исполнению. В восемнадцать ноль-ноль доложу. Спасибо. До свидания.

Отдал сержанту радиотелефонную фарнитуру и сказал Данилкину:

— Коноплев приказал: КП на высоте 206,7 не разворачивать. Построить батальон в походную колонну с боевым охранением. И преследовать отступающего противника по щебенке. Она за тем березником. Гляди! — Он разложил на

планшете карту-двухверстку, ткнул указательным пальцем с обломанным ногтем. — Вот дорога! По ней выйдем к деревне Шалашино...

— И что далее?

— Разведаем подступы к деревне. Если фрицы засели в Шалашине, попробуем атаковать с ходу.

— Попытка не пытка, спрос не беда.

— Излишних потерь избежать бы с этим Шалашином... И сколько сейчас потеряли, что заплатим за эти две высотки?

— Будет построение — прояснится.

— Да... Хочется надеяться на лучшее.

— И я надеюсь, Модест.

— Ты не представляешь, Денис, как я рад, что здесь, с батальоном. Отсиживаться где-то на КП, по сути, не влиять на события, сознавать, что ты оторван от подчиненных, что ты бессилен помочь им...

— Понимаю, командир, очень даже понимаю.

— Вместе будем! Здорово! Да?

— Да, командир, — сказал Данилкин и отметил, что взор у комбата не столь холоден, как обычно.

И даже некая боль прошла тенью в глазах комбата. Построились на поляне, без переклички. Данилкин глянул на строй, и жалость подступила к горлу: от батальона осталось примерно две трети. А треть — выбыла: убиты, ранены. И еще более острая жалость сжала горло — к тем, кого нет в строю. И никогда он больше не увидится с ними. Особенно с теми, кого похоронная команда зароет в братских могилах. Разве что на том свете.

Данилкин стоял перед строем, переводил взгляд с лица на лицо, кого-то узнавал, кого-то не узнавал и думал: все сражались мужественно, достойно, и те, кого накануне оформили в партию, и те, кому почему-либо отказали. Он увидел Хворостухина Никиту с забинтованной, покоящейся на перевязи рукой. Ну, тот, из бывших кулаков, подорвавший "фердинанд". Данилкин сказал:

— Красноармеец Хворостухин, три шага вперед!

Боец вышел из строя, смущенно и неуклюже повернулся. Данилкин сказал:

— Красноармеец Хворостухин! Шагом марш в тыл, на медпункт!

— Товарищ старший лейтенант, я хочу на Оршу...

— Отставить! Приказываю идти в санроту. Сгруппируются раненые — и ты с ними.

— Слушаюсь, — нехотя сказал Хворостухин. — Толечко у меня просьба...

— Ну?

— Не забудьте о представлении. К ордену. За самоходку.

— Будь спокоен, сегодня же постараемся оформить... Топай!

Еще одним человеком в строю стало меньше. Да, многих здесь не хватает. Повыбивало командный состав: ранены капитан Ветошников, комроты-три Саша Заварский, командир саперного взвода, погибли почти все старшие сержанты— командиры взводов, пропал без вести комроты-два. Да нет, не пропал без вести, санитары либо похоронщики найдут под кустом в канавке, в торфяной яме...

— Товарищ комбат, — высунулся ординарец Кравец, — не желаете испить холодного чайку? У фляге е!

Тенюков приложился к горлышку, передал Данилкину, а тот, отхлебнув крутой заварки чаек, передал флягу лейтенанту Таги-заде...

Бог весть откуда объявившийся гвардии майор увел людей из своего батальона, а первый батальон четыреста девяносто первого полка по взмаху руки капитана Тенюкова начал вытягиваться на щебенку.

12

Дым пожаров смешивался с предвечерним туманом, роившимся над болотами, и смесь эта перетекала щебеночную, в выбоинах и вымоинах, лесную дорогу, но уже в обратном направлении. И это перетекание туда-сюда утомляло людей своей однообразностью. А они и так были утомлены до чертиков: как говорится, всю дорогу — бегом да бегом, атака-разатака, так ее и разэтак, в лучшем случае — семенишь трусцой, да толком и не спали до наступления, да и кишки марш играют, горячего завтрака не было, а горячий обед — где он? Комбат, верно, обещал, что часам к семнадцати-восемнадцати подъедут полевые кухни на мар-

ше, стало быть, и подрубаем. После чего жить станет веселей, хотя песен и не запоем. Но потопаем бодрей, это уж точно.

Капитан Тенюков справа шел молча, потом сообщил насчет предстоящего обеда, потом сказал:

— Когда меняли КП, в ольховнике напоролись на отходивших фрицев, приняли бой, ну да с моей охраной не пропадешь, рассеяли. Потому и задержались.

— Понято, — сказал Данилкин.

— Выбитых из укреплений фрицев бродит вокруг полно. Надо быть начеку.

— Понято, командир. Буду нацеливать личный состав на повышение бдительности.

— Нападения могут быть внезапными.

— Учту. До Орши всяко может быть. Из засады.

Ах эта разнесчастная Орша, до которой осенью сорок третьего не дошли какой-нибудь десяток-другой километров! Не дошли — и фронт замер, как вмерз в болота "Осинстроя". Зимой сорок четвертого попытались было вновь наступать — ни черта не получилось, зазря тыщи и тыщи положили. Это было что-то невообразимое: обширное нейтральное поле усеяно трупами, даже наши траншеи и хода сообщения были завалены. Повторяли атаку за атакой, и росли кучи мёртвых тел в красноармейских шинелишках и ватниках. У немцев был такой огонь, что не поднять головы, ни вперед, ни назад. Когда водворилась передышка и в овражки подъехали походные кухни, котелки с остывшим хлёбовом ставили прямо на трупы, больше было некуда.

Говорили потом, что германское командование выведало о часе наступления Западного фронта и сосредоточило между Оршей и Витебском огромное количество огневых средств. Говорили также: за провал этого наступления командующий Западным фронтом генерал Соколовский был смещен со своего поста и переведен на Украину с понижением до начальника штаба фронта. Генерал Соколовский, конечно, пострадал, но как возместить многотысячные потери, как вернуть к жизни убитые полки? Так кто же пострадал?

Щебенка виляла по лесу, пересекаемая грунтовками и просеками. И на щебенке, и на грунтовках, и на просеках стали появляться другие подразделения, в том числе и гвардейцы, и батальон капитана Тенюкова начал как бы растворяться не в лесу, а в скопище людей и машин. Движение было какое-то хаотичное: на запад и восток, с юга на север, и наоборот; пылила пехота, скрипели повозки, лязгали гусеницы танков и самоходных установок, вязли в ненадежном грунте колеса орудий, пушек и автомашин. Водоворот войны, в котором была, однако, своя закономерность: одни наступают, другие отступают. Наступали мы, отступали — фашисты!

На коротком марше — тылы, хозяйственный взвод отстали, еще не подтянулись — немудрено было лицезреть комбата не восседающим, как Цезарь, на троне или, как Александр Македонский, на коне, а равноправно топающим в запыленных, спущенных гармошкой сапогах. И небожители, бывает, спускаются на землю, хе-хе. Данилкин сообразил, что смешок его вымученный, придуманный, скумекал: ему просто приятно идти рядом с Тенюковым пеши, во главе батальона, который тоже пехом мерит. Равноправие!

За батальоном Тенюкова плелся второй батальон нашего же полка, не оторвемся, и все-таки Данилкин ушел из головы своей колонны, пошагал то в середине ее, а то в хвосте. Отставших доходяг приходилось подгонять, скипидарить, да и второму батальону надлежало показать, где реальный хвост первого, — чтоб знали, сукины дети, и не отстали и, следовательно, не оторвались и, следовательно, не заплутали — эти, из второго.

Все вы, серошинельные, — сукины дети. Которые близки как собственные дети. Денис Степанович Данилкин называет так без злобы, скорей — любя. Потому что и вы, и он — сыны одной страны, одного народа. Советского. Русский ты, украинец ли, грузин, белорус, казах, якут либо бурят — все советские. А что замполит Данилкин уважает пофилософствовать, порассуждать, порассусоливать в наинеподходящий момент, так это тоже оттого, что он русский и, значит, советский. В общем, тоже сукин сынок, хе-хе-хе.

Смешка, хоть бы мысленного, не получилось, каждый шаг давался с трудом. Ибо ко всем напастям добавлялись и гнилостные, тухлые болотные испарения, от которых тошнит не меньше, чем с контузии. А когда торф горит — вообще крышка, натягивай противогаз. Но сколько себя помнит Данилкин, в войну солдаты ни разу не надевали это страшилище: или таскали на боку, или сдавали

старшине и тот возил их на бричке, либо вовсе выбрасывали, оставляя лишь брезентовую сумку: для всяких хозяйственных нужд. Данилкинский противогаз — как начальственный — возился лично в бричке командира хозвзвода. И слава Богу, а то б еще таскать противогазик. Будто мало тяжести на тебе, один автоматик с магазинами чего весит. А его не сплавишь на подводу, на попечение рачителей из хозвзвода.

Автоматные и пулеметные очереди возникали в лесах и перелесках и затухали, уходя в глубь торфяников. И артиллерийско-минометная стрельба возникала разноместно и затухала. Слабо постукивали винтовочные выстрелы. В чреве бора гудели танковые двигатели. А вот истребители и штурмовики перестали летать, словно израсходовали горючее и боекомплект, а может, из-за близящейся сумеречи.

Мальчик лейтенант, офицер связи, кулем болтавшийся на мохнатой каурой "монголке", подъехал сперва во второй батальон, затем в первый, к капитану Тенюкову. Батальоны остановились, под вопли-команды: "Принять вправо!" сошли со щебенки, уселись кто как мог на краю придорожной канавы.

Данилкин раздул ноздри, поняв: долгожданный обед-завтрак, а бойцы, хотя никто из командиров еще ничего не сказал, принялись патронить вещмешки, доставая котелки, кружки и ложки, — у иных деревянные или алюминиевые ложки торчали за голенищами, за обмотками. Денис Степанович Данилкин, как бывший учитель начальных классов, н а ч а л ь н и к, образованный, интеллигентный, хе-хе, человек, носил ложку (шанцевый инструмент, по солдатскому определению, то есть саперные лопатки) в командирской сумке либо в планшете. Вторая запасная (или основная?) ложка числилась у ординарца Леньки Кравца, того самого, что обретался в оккупированном Харькове. И которому почему-то симпатизирует комбат-один капитан Тенюков Модест Ильич.

Предчувствуя крупное событие, Данилкин привалил к голове батальонной колонны. Тенюков усмехнулся:

— Что, подрубаем, Денис Степаныч?

И Данилкин уразумел: обед-завтрак (заодно и, возможно, ужин, будет царский, пир на весь мир) наконец-то состоится, слава те, Господи, дьявол вас забодай, пожрать бы, пожрать, извините!

— Понято, командир, — сказал он и сглотнул липкую слюну, голодную, неутолимую. — Пора бы!

— Проследи за раздачей пищи. У поваров есть любимчики, кому отваливают по две порции, а кому недодают.

— Проследить — моя функция, командир. Тем и занимаюсь. Хотя и не "Смерш". Поваров возьму на мушку.

— Возьми. Только не стреляй.

— Стрелять не буду. Но обмана не допущу.

— Нашенский разговор, Денис.

— Только так, и не иначе, Модест.

Вот так, невзначай, незаметно, вроде бы не обижая, стал кликать комбата Модестом. Ну и что? Что крамольного? Дано человеку имя — носи. Ничего, нормально, Тенюков как будто и перестал забижаться.

Пощелкивая по голенищу прутиком, Тенюков сказал:

— А ты знаешь, Денис Степаныч, я в этих краях летом сорок первого крещен. Северо-западнее Орши и заполучил свою первую пулю.

Данилкин воскликнул:

— И я здесь крещен летом сорок первого! Юго-восточнее Орши. Осколком гранаты.

— Мы с тобой вроде как крестные братья.

— Лишь бы снова нас тут железом не окрестило.

— Типун тебе на язык.

— Да это так, шуткариком. Снаряд ведь не падает дважды на одно и то же место. Вывод: нас с тобой, милый комбат, под Оршей покорябать не должны бы.

— Надеюсь и молюсь, — проворчал Тенюков. — И загадывать о чем-либо в принципе не люблю. Тем паче в бою.

— Фаталист.

— Во что, во что, а в судьбу верю.

— И я такой. И в Сталина верю. Собственно, он и есть наша судьба.

Тенюков промолчал, отбросил прутик. Рядом с начальством, увешанный котелками, термосами и фляжками, стоял наготове, как барс перед прыжком,

Ленька Кравец. Но полевые кухни запаздывали, не подъезжали. Кравец пустил по этому поводу русско-украинский матерок. Данилкин услыхал, спросил:

— Ты что-то сказал, парубок?

— Цэ я так... промеждy прочим... А вообще, товарыши охвицера, не желаете ополоснуть горла?

— Чем? — спросил Тенюков.

— Та трошки трохвейного рому.

— Сейчас — нет. После — да, — сказал Тенюков.

А Данилкин поучающе произнес:

— Ординарец рядовой Кравец! Разве тебе не известно, что перед боем и в бою комбат не употребляет. Только в небоевой обстановке!

— Тай звистно... Або я хотив як сповадней...

— Выпьем, когда освободим Шалашино и если останемся там на ночевку.

— Понято, командир! И ты, Кравец, понял?

— Як штык, товарыш замполит!

— Идейный ответ! — сказал Данилкин и вспомнил, как в атаке, в траншее, угостился аникеевским ромом. Да-а, видать, трофейный ром в достатке не миновал первый стрелковый батальон, непромокаемый и непотопляемый.

Жданные, желанные кухни не ехали! А взамен их приполз, постреливая неисправным мотором, обшарпанный редакционный автобус, из раскрытого окна кабины пожилой, задерганный майор в роговых очках кидал в канаву — поскольку никто не подходил к кабине — тощие пачки "Сталинских богатырей", дивизионки. Духовная пища — необходима, однако и обычная жратва не помешает, к тому же на сытый желудок идеи усваиваются прочнее. Как бы там ни было, бойцы потрошили газетные пачечки, брали по экземпляру и, не читая, совали по карманам: заготавливают, стервецы, бумагу для самокруток. Ничего, призывы "Сталинских богатырей" дойдут до вас, когда замполит Данилкин организует на большом привале громкие коллективные читки. А пока что и ему не свербило раскрыть пахнущую и пачкающуюся типографской краской четырехполоску. Как и комбат, он сунул дивизионную газету в планшет. Полевые кухни подавай, растяпы интенданты!

Конечно, сунуть в планшет "Сталинских богатырей", даже не проглядев заголовков, — неразумно. И все-таки это не та безыдейность, когда у палатки комбата столик для ужина застелили дивизионной газетой и на клишированном слове "Сталинские" стояла фляга с водкой и соответствующая закусь. Черт-те что стояло! Особисты на такие фактики клюют. Замполит Данилкин своевременно исправил ошибку. Думается, ошибка, ведь не умышленно же расстелил "Сталинских богатырей" ординарец Ленька Кравец. Правда, сей парубок побывал в гитлеровской оккупации, в городе Харькове. Может, и не ту персону взяло батальонное начальство к себе в ординарцы? Ну а что до особистов, то с батальонного начальства они все равно не слезут: самоубийство Жени Жубицына — крупный козырь в их игре, бои подзатихнут — и жди гостей из "Смерша" и военной прокуратуры. Не в пример полевым кухням, их бричка не опоздает. Но при условии, что немцы не будут шибко стрелять, а желательно — и вовсе перестанут. Да и то сказать: товарищам надлежит создать соответствующие условия для производительной, творческой работы...

— Веришь ли, Денис, — сказал Тенюков. — Мне кажется: я узнаю место западнее Орши, где был ранен.

— Вряд ли, командир, — ответил Данилкин, расшевеленный разговорчивостью комбата.

— Почему же — вряд ли?

— Посуди сам. Прошло три года, местность изменилась: что-то заболотилось, подросли деревья, луга покрылись кустарником, деревни разрушены, сожжены...

— Это так. И все же здорово бы узнать прежние места: воевалось бы сподручней.

— Да. Но это из области пожеланий. Я, к примеру, не узнаю восточнее Орши ничего, кроме названия "Осинстроя" и деревень, которые будем брать. Да и то не все деревни припомню.

— Скучный ты реалист, — усмехнулся комбат.

— А ты развеселый романтик, — усмехнулся и Данилкин, и усмешки у обоих усталые, спокойные, даже добродушные.

Среди солдат вдруг прошлось волнение, большинство резво повскакивало,

как это бывает, если подъезжает высокое начальство наподобие Бати, комдива, генерал-майора. Но и на сей раз причина волнения была уважительная: на щебенку вымахали три полевые кухни, и всяк разумел: в первой кухне — супец, во второй — кашка, в третьей — чай. Ура, пир на весь мир!

Прикосолапил, заплетаясь носками брезентовых — крик фронтовой моды — сапог, лейтенант Таги-заде, усатенький и черявенький, привел боковое охранение. Тенюков сказал:

— К столу, Гусейн! Корми охранение и снова отпустим их в свободное плавание, до Шалашина. Через полчаса — возобновляем движение.

— Перспективы безоблачные, товарищ капитан. Разрешите и самому подрубать?

Неугомонный и неунывающий Гусейн без шутливости не проживет, черт усатый. Ладно, пускай шутит, все переквалифицируемся в шутников.

— Разрешаю подрубать покапитальней, — сказал комбат.

— А товарищ комиссар не возражает?

— Ни в коем разе, доблестный сын солнечного Азербайджана! Рубай еще капитальней, чем позволил комбат.

— От пуза нарубаюсь, — сказал скорее тощий, чем упитанный Таги-заде.

Такие вот они шутники. Из первого стрелкового батальона, непотопляемого и непромокаемого. Которые прорвали первую (похоже, и вторую) линию вражеской обороны и дуют в ее тылы. Победа, хоть и малая, крепко взбадривает, как медицинский спирт, коим в благословенное иночасье выпадалось раздобыться в медсанроте. Как ни парадоксально, доставалой-забойщиком представал сам командир батальона. А впрочем, что парадоксального, если медсестра Шурочка — подружка комбатова, то есть пе-пе-же, то есть походно-полевая жена. На данный момент. Она уж суженого-ряженого не ущемит, а он не ущемит боевых соратников. Умельцы медспирт пили неразведенным (без вздоха, хлопнул — и сразу, не переведя дыхания, запиваешь водой), Данилкин в умельцы не выбился: пил спирт разведенным, отчего тот был теплый и противный. Впрочем, выпивон — какой бы он ни был, хоть разведенный одеколон — не может быть противным.

В разгар батальонной трапезы подкатила повозка с крытым верхом, увенчанным красным крестом, из фургона спрыгнула к канаве деваха-бабенка лет двадцати с гаком. Данилкин не донес ложку до рта: деваха-бабенка со старшинскими погонами была ягодкой в соку — стройная, бедрастая, тонкая талия перетянута офицерским ремнем, высокие груди, попа — что надо, из-под пилотки пучок жестких рыжеватых волос, сочные губы раскрыты, раскосые глаза полыхают синим пламенем. Бабец — класс!

Не донес ложку до рта и капитан Тенюков: скорее испуганно, нежели радостно воскликнул:

— Шурка?

— Я, милый, я! — Она кинулась к нему на шею. — Ты живой? Боже праведный, ты живой?

— Как видишь. — Тенюков старался осторожно освободиться от ее рук. — Да что с тобой?

Шурка заплакала по-бабьи, в голос, запричитала:

— Ой, милый! В санроте пустили слух: комбат-один ранен, навроде бы при смерти... Я кинулась к командиру санроты, он говорит: к нам не привозили, наверное — прямиком в санбат. Ну я и помчалась сюда... Узнать все!

— Тяжело ранило капитана Ветошникова, он был у меня временно замом.

— Перепутали, значит!

— Перепутали.

— Слава тебе, Боже правый! Ты живой, живой...

— И невредимый, — сказал Данилкин, чтобы сказать что-нибудь. — Так что успокой нервы. Езжай по своим делам.

— Я за ранеными приехала.

— Вот и шуруй, Шурочка.

— Слушаюсь, товарищ старший лейтенант. — Счастливая, сияющая, она взасос поцеловала Тенюкова и вспрыгнула в фургон. Капитан ошалело посмотрел ей вслед, посмотрел на Данилкина и Таги-заде и прошептал:

— Ах, чертова девка...

Гусейн Таги-заде ни словечка не промолвил, но продолжал смотреть на дорогу, когда фургон уже и скрылся из виду. А Данилкину подумалось: Шурка—

оторва, моя Варя из другого теста. Да и Модест — мужик пригожий, мне до него, как до неба. Да и холостяк он, чего ж не резвиться. А я ни разу не изменил Варе. Был, правда, эпизод, когда он мог изменить, о чем впоследствии горько пожалел бы, факт. Но судьба увела. Так было. На постое где-то на Смоленщине, в полусгоревшей избе ночью к нему прокралась хозяйка молодайка, он спервоначалу отталкивал ее, после под ласками разогрелся вроде, но ни черта у него не вышло. Молодайка же и утешала: "Это с того, что очень хотел". А он-то ведал: с того, что не очень хотел, Варя вставала в мыслях. Такие-то похождения у Данилкина Дениса Степановича.

Выпив залпом кружку теплого, вкуса разваренного веника, чаю, капитан Тенюков пружиня встал на ноги и выкрикнул:

— Первый батальон, подготовиться к построению!

Как водится, команду продублировали и начали быстренько, суматошливо собирать вещевые мешки, не успев даже сполоснуть котелки или хотя бы обтереть травой. Вот она, проза жизни: подкрепились — теперь можно сызнова воевать, пускать кровь. И называй это как угодно — реализмом или романтикой. И называйся ты хоть Тенюковым, хоть Данилкиным, хоть кем угодно. Даже не проза жизни — правда жизни. Правда.

Дымя папироской, которую не уложился выкурить на привале, Данилкин шагал и как будто замечал то, чего не замечал каких-нибудь полчаса назад: желто-зеленые усатые колосья овсов, желтые блесткие головки лютиков, голубые вкрапления васильков, сиреневые кисти иван-чая, и ему было приятно это разнокрасие. Так устроен: приличное настроение — видит и ценит природу, настроение скверное или же обстановка не для созерцаний — и пропадают краски, растворенные вокруг, мир словно обесцвечивается.

А из времен года больше любил лето: на марше не обморозишься, на привале по-царски спишь на лапнике, на шинельке — красота. Уважал весну — за то, что сулила благословенное лето. Зиму не терпел: морозы, обморожения, ночуешь на снегу, доходишь. Осень не уважал — за близость к зловредной зиме да и за собственные прелести: пронизывающие ветры, дожди, невылазная грязюка. Понимал: времена года под углом зрения воюющего человека, а он, старшой Данилкин, и является таковым.

А вообще человек на войне грубеет, черствеет, теряет образованность, интеллигентность, духовность, если они у него были. Данилкину кажется: подобное произошло и с ним. Примитивней, жестче, бездушней стал он на войне, точнее — она сделала его таким. В чем-то здорово видоизменила. И опять и опять задает себе вопрос: как он войдет в класс, как посмотрит ребятишкам в чистые, незамутненные глаза, — он, убивавший людей? На войне? Да. Врагов? Да. Ставший лучше от этого? Нет. Но Родина и Сталин требовали, и во имя Родины и Сталина он был готов на все.

(Окончание следует)



50-летию Победы посвящается

СУДЬБА ПОЭТА

Николай Старшинов... Имя замечательного поэта-фронтовика давно и заслуженно пользуется вниманием почитателей поэзии. Его книги, а их издано несколько десятков, можно увидеть в руках пастуха и доктора наук, почтальона и академика, космонавта и физика-атомщика. Чистота и пронзительность чувства, подлинность, первородность, содержательная глубина слова поэта обрели множественную жизнь в сердцах самых разных людей, в их душах, которые и после стольких лет бедствий и страданий еще сохраняются в русском народе в своей удивительной нежности, неистраченности, взволнованности. Именно ему, родному народу, посвятил все свое творчество Николай Старшинов — один из самых известных ныне лириков, давний и неизменный друг "Нашего современника", его постоянный автор, начиная с 1957 года, когда будущий журнал был еще альманахом. В 1958 году в статье "Молодые поэты Воронежа" он, может быть, впервые для всероссийского читателя открыл имя Алексея Прасолова. А затем были напечатаны собственные его поэмы: "Милая мельница", "Семеновна", "И я открыл глаза", обширные циклы стихотворений, пьеса в стихах "Леснянка и апрель", до сих пор, кстати, с успехом идущая на сцене Одесского ТЮЗа. Таков далеко не полный список произведений, опубликованных поэтом за долгие годы сотрудничества с "Нашим современником". Его стихи — чистые, динамичные, искренние — всегда вызывали доброжелательные отклики, благодарные читательские письма.

Оглядываясь на близкое и далекое редакционное прошлое, мы теперь с полным основанием можем сказать, что становление журнала, обретение им своего места в разворачивающейся острейшей борьбе за будущее России проходило при постоянном творческом участии Николая Константиновича Старшинова, которому в декабре 1994 года исполнилось 70 лет.

Пусть и с некоторым опозданием (не по вине редакции!), но с неизменными чувствами благодарности и любви мы предоставляем Николаю Константиновичу право открыть раздел поэзии первого номера журнала в преддверии знаменательной даты — 50-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Судьба пощадила поэта Николая Старшинова, он вернулся с фронта тяжело раненным, но не покинул ряды фронтового братства, чьи подвиги, душевная чистота, верность Родине всегда будут жить в благодарной памяти нашего и будущих поколений.

Мы от всей души поздравляем вас, Николай Константинович, храброго солдата и прекрасного поэта, со славным юбилеем. Желаем здоровья и бодрости. Пусть при всех тяготах жизни и возраста не тускнеет Ваш веселый самобытный талант!

Ждем новых стихов и частушек, всегда рады видеть Вас в нашем особнячке на Цветном, окна которого озаряются радостью, когда в гости приходят такие друзья, как Николай Старшинов.

Низкий поклон Вам, неизбывная наша благодарность за все-все — и наша верная любовь, дорогой друг!

Редакционная коллегия

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ



"СОЛДАТЫ МЫ. И ЭТО НАША СЛАВА..."

ДВА ФОТО

Сколько лет прошло с тех пор!..
Но и ныне для беседы
Вдруг заглянет репортер
Перед праздником Победы:

— Показали бы вы мне
Фронтовые ваши фото.
Как жила там на войне
Наша матушка-пехота?

— Как? А вот, родимый, так:
Мы от стужи посинели,
Ну а враг, страшась атак,
Подсыпает нам шрапнели.

И опять бомбит с утра,
И опять ревут моторы...
Нас "снимали" снайпера,
А не фоторепортеры.

Но пока душа жива,
Веселей гляди, пехота...
Впрочем, есть, осталось два,
Два моих военных фото.

Все припомню, как взгляну
Я на них из дали дальней:
Вот — я еду на войну.
Вот — на койке госпитальной.

1988

* * *

Зловещим заревом объятый
Грохочет дымный небосвод.
Мои товарищи-солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.

Идут, подтянуты и строги,
Идут, скупые на слова.
А по обочинам дороги
Шумит листва,
Шуршит трава.

И от ромашек-тонконожек
Мы оторвать не в силах глаз.
Для нас,
Для нас они, быть может,
Цветут сейчас
В последний раз.

СТАРШИНОВ Николай Константинович родился в 1924 году в Москве. Семнадцатилетним юношей ушел на войну. В 1943 году был тяжело ранен. Впоследствии окончил Литературный институт. Известный русский поэт. Автор более сорока книг стихотворений и прозы. В 1984 году за книгу "Река любви" был удостоен Государственной премии РСФСР. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

И вдруг (неведомо откуда
Попав сюда, зачем и как)
В грязи дорожной — просто чудо! —
Пятак.

Из желтоватого металла,
Он, как сазанья чешуя,
Горит,
И только обметало
Зеленой окисью края.

А вот — рубли в траве примятой!
А вот еще... И вот, и вот...
Мои товарищи-солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.

Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют...
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.
1945

* * *

Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.

Приказ: "Вперед!"
Команда: "Встать!"
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.

Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: "За Россию!.."
А шли и гибли
За нее.
1944

* * *

Памяти Константина Воробьева —
автора повести "Убиты под Москвой"

Война! Твой страшный след
Живет в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.

Война! Твой горький след —
И в книгах, что на полке...
Я сорок с лишним лет
Ношу твои осколки.

Чтоб не забыл вдвойне
Твоих великих тягот,
Они живут во мне
И в гроб со мною лягут,

Война...
1987

ПЕСНЯ О ПЕХОТЕ

Когда угрюмый ливень лупит крышу,
Когда осенний ветер листья рвет,
Мне чудится, что вижу я и слышу,
Как по глухим лесам идет мой взвод.

Нас до костей дождями исхлестало,
Нас прознобило с головы до пят...
Уже и артиллерия отстала,
И самолеты нынче не взлетят.

В болотной жиже позавязли танки...
Тогда и наступает наш черед.
А ну, пехота, просуши портянки,
Перемотай обмотки и — вперед!..

Ты никогда еще не унывала,
И я с тобой, и я всегда с тобой.
Мы как-нибудь дотянем до привала,
А может, прямо с марша бросят в бой.

"Давай, давай, не подведи, родная, —
Тебе твердили ласково, любя, —
Из всех родов ты самая земная, —
И вся надежда нынче на тебя!.."

...Как далеко то время!..
Но доныне
Не позабыты эти марш-броски.
И нам, твоим солдатам, теплый иней
Пожизненно улегся на виски.

Мы как-нибудь дотянем до привала.
И даже снова на пути своем
Не так легко и лихо, как бывало,
Но мы споем, но мы еще споем!..

Ну как же мне сдаваться неохота!
И все-таки подходит мой черед...
Но я твержу: — Не унывай, пехота,
Перемотай обмотки и — вперед!..
1974

* * *

Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.

Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.

О том, что было, — откровенно, честно...
А вот один литературный туз
Твердит, что совершенно неуместно
В стихах моих проскальзывает грусть.

Он это говорит и пальцем тычет,
И, хлопая, как друга, по плечу,
Меня он обвиняет в безразличье
К делам моей страны...
А я молчу.

Нотации и чтение морали
Я сам люблю.
Мели себе, мели...
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.
1945

* * *

Валерию Дементьеву

Она меняется с годами
В своей державной высоте.
И мы гордимся все упрямей:
"И Русь не та, и мы не те!"

Но как бы это к неким срокам,
Достигнув новой высоты,
Не исказить нам ненароком
Ее прекрасные черты.

А то потом найдем кручину:
Ну хорошо ли, если мать
Уж так изменится, что сыну,
Что даже сыну не узнать?

Вот он дождется с нею встречи,
И вдруг, смотри, беда стряслась:
Ни прежней, с детства милой речи,
Ни русых кос,
Ни синих глаз...

Россия-мать,
Святой и зримый,
Да будет жребий твой велик!
Но сохрани неповторимый
Свой материнский светлый лик.
1970

ПЕСНЯ

Расшумелось сине море.
Возле моря я бреду.
У меня такое горе,
Что я места не найду.

Впереди поселок дачный
Крыши поднял в синеву.
Но хожу я мрачный-мрачный —
Что живу, что не живу...

Как я скорбь свою осилю?
Как потомки нам простят:
На глазах у нас Россию
Черны вороны когтят.

Днем и ночью, днем и ночью
Рвут ее, впадая в хмель.
И летят по миру клочья
Наших дедовских земель.

Расшумелось сине море.
Раскричалось воронье...
Ой ты, горе, мое горе,
Горе горькое мое.
1994

* * *

Уже прохладою вечернею
Сменился полуденный зной,
Но шел и шел я по течению
Извилистой реки лесной.

Она текла, шурша осокою,
Звеня водою голубой,
И небо, как мечта, высокое
Сверкало в капельке любой.

Где напрямик — текла лощинкою,
А где пригорок — там в обход,
И пела каждою песчинкою
И каждой каплею: вперед!

То очень быстрая,
То плавная,
Текла, покоя не любя,
И вдруг она ушла...
И главное —
Не от меня, а от себя.

Сама себя совсем не жалуя,
Своей натуре вопреки,
Река вошла в болото ржавое...
И больше не было реки.
1959

* * *

Жестокий зной все рос,
Все ширился в июле...

Я видел: племя ос
Атаковало улей.

И, учинив разгром,
С врагом сводило счеты.
И за чужим добром
Упрямо лезло в соты.

Попробовав медку,
Да свежего такого!..
А пчелы по летку
Сновали бестолково.

И даже сторожа,
Врага сдержать не в силах,
Беспомощно дрожа,
Тряслись на лапках хилых...

Я в улье не нашел
Привычного порядка:
Ослабло царство пчел —
У них погибла матка.

А скоро ль пчеловод
Ее другой заменит?..
Горячий небосвод
Даль облаками пенит.

И все настырней строй
Разбойниц полосатых...
А ты, пчелиный рой,
Разбей врагов заклятых.

Чтоб снова ожила,
Все блага добывая,
Рабочая пчела.
И с ней — сторожевая.
1975

ОДА ВАНЬКЕ-МОКРОМУ

Ливень льет... Мороз жесток...
Солнце брызжет майской охрой...
Все цветешь ты, ванька-мокрый,
Ненаглядный наш цветок.

Твой хозяин молодой,
Он с цветами крут бывает:
То совсем не поливает,
То совсем зальет водой.

Что царит в его уме?
Он вас держит — вот жестокий! —
То на самом солнцепеке,
То в углу, в кромешной тьме.

Он до жуткой духоты
Надымит в своей каморке
И сует огрызки, корки
И окурки — все в цветы.

Вон герань едва жива,
Даже кактус чахнет, глянь-ка...
Лишь тебе, дружище ванька,
Все на свете — трын-трава.

Не страшась любых невзгод,
Ты растешь в кастрюле ржавой,
Удалой да моложавый
И цветущий круглый год.
1969

* * *

Олегу Дмитриеву

Отброшены мальчишества замашки.
А жизнь, она по-прежнему близка —
От белизны раскрывшейся ромашки
До синевы граненого штыка.

И память восстанавливает властно,
Начистоту с тобою говоря,
И тех, кого обидел ты напрасно,
И тех, кого не обижал, —
А зря!

И кажется, что нет больнее боли,
Чем увидать, краснея от стыда,
Мозоли, материнские мозоли, —
Ведь ты не замечал их никогда.

И памятью
Прошедших дней полотна
Озарены, как солнечным лучом...
И так жестоко,
Так бесповоротно,
Как в юности, не судишь ни о чем.
1957

* * *

И в этой холодной избе,
Что с краю села задремала,
Я сам предоставлен себе,
А это, ей-богу, немало.

Вот после рыбалки приду
Да скину одежду сырую,
В печурке огонь разведу,
Ухи наварю — и пирую.

И все уже мне по плечу,
Никто и ничто не помеха,

Хочу — и до слез хохочу,
Хочу — и рыдаю до смеха.

А что же мне — радость скрывать?
За счастье считать неудачу?..
Ложусь в ледяную кровать,
Как мальчик обиженный, плачу.

В свидетели память зову.
Да, был я наивен, как дети,
И мне не во сне — наяву
Все виделось в розовом свете.

И я, молодой идиот
(А трезвая школа солдата?):
"О, как же мне в жизни везет!" —
Так сладко я думал когда-то.

А может, и правда везло,
И нечего портить чернила?..
Ну ладно, болел тяжело,
Ну ладно, любовь изменила.

Ну ладно, порой и друзья
Ко мне относились прохладно.
Ну ладно, жил в бедности я,
Подумаешь, тоже мне, ладно!

Нельзя ж убиваться, нельзя
Размазывать трудности эти...
Зато я какого язя
Сегодня поймал на рассвете:

Иду — по земле волочу.
А три красноперки в придачу?!
И снова до слез хохочу,
И снова до хохота плачу.
1970

ПЕРВЫЙ УТРЕННИК

Виктору Коротаеву

Здесь недавно еще,
День за днем
Удлиненные кисти качая,
Розовато-лиловым огнем
Полыхали кусты иван-чая.

А теперь, перегреты жарой
И прихвачены стужей ночною,
Разметались они под горой,
Невеселой блестя сединою.

Первый утренник, как ты жесток!..
Но, бесстрашно взобравшись на гору,
Одинокий прекрасный цветок
Полыхает, как в летнюю пору.

Только дыму не быть без огня
И огню не заняться без дыму...
Это осень, стращая меня,
Переходит решительно в зиму:

Жестким инеем наземь легла,
Проморозила намертво лужи...
О, душа, ты сгорела дотла
И теперь не спасешься от стужи.

Чем-то небо меня одарит?..
Но, бестрепетно зиму встречая,
На пригорке горит и горит
Одинокий цветок иван-чая...
1976

ОСИННИК

Над речкой,
Над самою речкой,
На горке отлогой
Трепещет
Осенний осинник,
Объятый тревогой.

Беснуется ветер,
Из северных далей
Нагрянув...
О, вихрь этих листьев —
Оранжевых,
Желтых,
Багряных.

О, шелест прощальный!..
И сердце
Замрет поневоле
От этой пронзительной,
Этой пленительной
Боли...

И мы расстаемся,
Уходим,
Объятые болью,
Прощаясь
С землею и небом,
С враждой и любовью...

То черные тучи,
То солнце
В пробоинах синих...
Трепещет осинник,
Трепещет
Осенний осинник...
1973



ВЛАДИМИР КРУПИН



СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ

ПУТЕВЫЕ РАЗДУМЬЯ

Всегда, во все времена русской истории, особенно во времена тяжелые, русских людей спасали национальные святыни. К этим святыням шли, именно шли. Даже и высшее духовенство и цари, не говоря уже о богомольцах. Шли к преподобному Сергию, к киевским и соловецким угодникам, к иконам Почаевской, Коренной, шли в Александро-Невскую лавру, в Палестину, мужчины шли на Афон.

Машины, поезда, самолеты, пароходы во многом подорвали паломничество. И в самом деле — как пойдешь, тропинки нет, на шоссе тебя сто раз задавят и двести обматерят. Тем более в том же направлении идут и автобусы и электрички.

Но ехать это ехать, а идти это идти. Бог труды любит. И милость у Него легче просить, когда ради Бога потрудился.

Господь всегда был милостив ко мне, от этого, может быть, я так много святых мест посетил. Зажигал свечечки в пещерах Киевской лавры, в Оптиной пустыни, в Великорецком, много раз в Троице-Сергиевой лавре, получал душевное облегчение, обретал силы, утешался, но была и досада на себя: езжу как барин, чем же хуже меня эти немощные и больные, что идут издалека своим ходом.

И вот — на мое спасение — меня прижало так, что я понял — надо идти, идти к преподобному Сергию, идти не откладывая. Великое горе стряслось в России — кровь пролилась. Я сам видел это. И до этого я видел много всего и всегда думал: страшнее этого не бывает. Но оказалось — бывает. Садится брат в танк и стреляет в брата.

В той братоубийственной заварухе, в толпе, мне повредили руку. И ничто не помогало. Шли дни, не легчало. А события четвертого октября не отодвигались, а все длились и длились в памяти. И как же так получилось, что с такою легкостью, с таким открытым цинизмом политики стравили на потеху себе и друзьям-бесам русских людей? Не хотелось вспоминать, но все стояли в глазах тот солнечный день, те страшные залпы, тот огонь и дым. Не проходила не то, чтоб какая-то пришибленность, но нервная усталость, от которой нет лекарства. Вроде не с чего устать, а весь разбитый. Ляжешь — вставать неохота. То-то вспоминалось некрасовское бурлацкое "а если б к утру умереть, то лучше было бы еще".

Вечером иногда казалось, что утром встану и начну жить бодро. Нет, прихо-

дило утро, еле дотаскивался до кухни. Позади была ночь, тяжелая, простудная, сновидения в воспаленной голове. Видел давно умерших дедушек и бабушек, отца. Вроде и не был у них в долгу, недавно была Димитровская родительская суббота, всех вспомнил, старательно заполнил и подал в церкви листочки за упокой. Но сейчас нужны были поминовения за невинно убиенных. Политики с обеих сторон как живчики продолжали функционировать. Еле-еле душа в теле съездил к стадиону на Красной Пресне, где шли расстрелы защитников России. Не парламент же они защищали, не Руцкого же, недавнего восторженного предводителя августят, не закон, который везде как дышло, особенно в хваленой Америке. Они защищали национальный путь развития России. И защитили бы, будь за их спинами русский царь, выйди на улицу русский патриарх, но что теперь. На стадион нас не пустили — стояли мэрские роботы в бронежилетах, капитан их меня отодвинул, я не выдержал и сказал ему: "Ты же русский и русского готов убить, возможно ли это у других?" Но тупо произносил запреты капитан, новая разновидность говорящего на русском двуногого существа.

А по телевизору все хрюкали и хрюкали про эгалите и фратерните, и либерте не забывали. В комнату вливалась паточная блевотина от пережравшихся словами: регион, рынок, департамент, объект и субъект федерации, префект, мэр, демократия, конституция, рокеры, брокеры, дилеры и фраера, а также неизбежное в рынке демократии понятие — рэкетиры.

И опять ночь, и опять сновидение. Будто мы в машине с отцом, уже умершим, но во сне живым. Я веду машину и заезжаю в грязь. Прошу сесть за руль третьего в машине, своего сына. Он лихо выруливает и газует. Я говорю: "Ты потише, ты же меня на кладбище везешь".

Нет, одно осталось русскому — Церковь православная и молитва. Пропадите вы пропадом, убивающие Россию, давно убившие свою душу и имеющие вместо нее окошко обмена валюты, вы — банки и компании, предлагающие купить себя, как дешевые проститутки, за любую бумажонку, ваучер или бакс, ну и заплеванный рубль годится для отмывания наворованного.

Болела рука, болела. Мне локоть сильно повредили, нет, не ударом демократизатора, как называют полицейскую дубинку, а в давке в метро на Баррикадной. Там вбивали щитами и пинками в поезда всех, кто пришел возмутиться обращением с запертыми в здании Верховного Совета людьми. Обращение было хуже, чем со скотиной: даже скотине хозяин не отключает свет и воду. Но опять же, что теперь.

Вначале локоть вроде бы прошел, но потом прижало. Вроде и не кость болела, но тогда бы, если мышцы, то прошло бы быстро. Пусть даже растяжение. Нет, не проходило. Я не мог, здороваясь, пожать руку. А всегда пожимал крепко. Просто от того, что привык с детства. "Жми крепче!" — говорил дядя. Не здороваться же левой рукой. Каждому приходилось объяснять, что болит локоть. И по домашнему хозяйству стал плохим помощником, от меня не только помощи не было, но начались убытки. Разбил пару чашек, чайник заварной, фарфоровый, золотом расписанный, купленный при тоталитарном режиме, тоже кокнул. Кто любит чай, кто привязался именно к своей чашке, к любимому чайнику, тот меня поймет. Тем более уже и не купить нового: цены от восторга демократических преобразований подпрыгивали на неделе по семь раз. Прощай, мой чайник, мой верный слуга, расстаться настало нам время.

Дела с моей рукой ухудшались. Попарил — еще хуже стало, какой-то мазью натер — все без толку. Пойти к врачу, к какому? За какие шиши, на мою-то зарплату.

Конечно, болезнь благо, если истолковывать ее как наказание за грехи. Конечно, меня было за что наказывать, но как же быть, если рука отказывает?

Давным-давно, любя стариков, их рассказы, их образ жизни (я говорю о православных стариках), я видел, что старость, особенно болезни, принимаются ими не просто как неизбежное, но как искупительное. "Давно не болела, Бог забыл", — так говорят старухи. Так и надо думать. В болезни не до блуда, не до пьянства, не до ругани, не до греховных помыслов.

К бедам моим добавилась страшная простуда, бил кашель. Потом стал слезиться правый глаз. В общем, так сказать, соматическом состоянии наступил разлад. А рука вовсе забастовала, так дело пойдет, думал я, и перекреститься не смогу. Начало сводить пальцы.

Надо в Лавру, надо к преподобному! Сколько раз получал я от него силы и исцеления от недугов телесных и скорбей душевных. Каких, например? А и не

рассказать, каких. У каждого свое. И каждого приводило горе. Или общая радость. Общая радость — праздники православные, а горе у каждого свое. Помню молодого мужчину, у которого убили сына в Афганистане. Он плакал и спрашивал, что делать, как поставить свечу, и старушка, заплакавшая вместе с ним, показывала ему, как креститься. Помню шестисотлетие Куликовской битвы, подъем русского духа, установление памятной доски в память благословения преподобным Сергием монахов Пересвета и Осляби на битву с татарами. Помню и такой случай, когда мы с товарищем, но это уже очень давно, приехали в Лавру, набрали воды, потом сели у речки по другую сторону монастырских стен и принялись уничтожать купленную водку, потом вздумали на прощание зайти в Лавру и зашли, потом побежали на электричку. По дороге товарищ говорил об увиденной в храме девушке и все не верил, что она посмотрела на него безгрешно. Но и за грешные мысли и вообще за поведение мы были наказаны — запнулись и разбили банки с водой, а возвращаться было поздно.

Много раз ездил. После Лавры жить становилось легче, исчезало роптание на жизнь. Ведь неприятности, потери, страхи, беды и лишения — естественны, за что, за какие такие заслуги нам ждать радостей? так и надо жить: от беды к беде. Мысль простая, но для исполнения трудная, а в Лавре приходишь к ней как к норме поведения.

Но в этот раз была из всех причин причина: русские убивали русских. Даже когда русские выходили без оружия, сдаваясь на милость победителя, другие русские их били, убивали, пинали, пытали, казнили. Мировая общественность была в восторге — русские двигают реформы. И ведь только накануне Патриарх взывал: "...молю всех, кто держит в руках оружие: будьте милосердны к ближним своим! Не позволяйте бесу ненависти и мести лишить вас разума!.. Сделайте все, что сейчас возможно, для прекращения кровопролития. Вспомните, что сказал Господь Иисус апостолу Петру, с мечом в руках решившему отстоять справедливость: "Возврати меч твой в его место: ибо все, взявшие меч, мечом погибнут".

Не услышали. И вот эти убийцы сейчас живее всех живых, некоторым еще и двадцати нет. Уже зарабатывали на крови: демократы платили за убийство валютой. Наемникам, конечно, платили больше, чем своим, но чего со своими церемониться.

Боже мой, Спасе милостивый, огради от гнева сограждан, хватающих меня за грудь и кричащих: "Достоевский бы на вашем месте не молчал". Во-первых, мы не Достоевские, во-вторых, не молчим, но главное, что океаны крови, реки слез отделили нас от слезинки того ребенка, ну не убивали за сигарету тогда. Не били по голове за то, что шел человек по улице, да чем-то не понравился человеку с дубинкой.

Но, может, так нам и надо по грехам нашим?

Такая судорога мыслей мучила меня, а главное, мучило, что жизнь продолжалась в тех же размерах, что и до расстрела: ворье воровало, политики болтали, телевидение развращало и врало, газеты лили помои пошлости и сплетен, люди стояли в очередях. Было прежнее, даже усиливающееся засилье западных плохих товаров, цены росли, виноватых не было. В каждом встречном офицере мне виделся убийца, каждый милиционер мне казался только что вышедшим из уличного туалета, где отмывал дубинку от крови, каждый жующий продавец уличной палатки казался мне добровольцем-снайпером. Вон, для виду, у них выложен на прилавок пневматический пистолет, а за спиной, за кожаными западными тряпками, спрятана, конечно, автоматическая винтовка. То, что они каждый день убивали друг друга, подтверждало мои догадки.

Ночь не приносила покоя, утро не поднимало к бодрой деятельности, наоборот, рассвет тяготил необходимостью как-то карабкаться к закату. Бывали и раньше времена — жил по инерции, а сейчас и инерции не осталось, жил по принуждению. К вечеру еле таскал ноги, хотя совсем не мог вспомнить, чего это я такое делал, чтобы так устать. А еще вдобавок на улице встречал подвыпивший знакомый поэт и хлопал по плечу: "Старичок! четыре строчки! гениально сбацал: "Иду ко дну на склоне дней. Люблю жену, а сплю не с ней", а?!"

Были ли те, кто думал, как и я? Но встречаться с ними стыдно, говорить не о чем, минуты встречи капали как вода из крана, будто мы сидели в иезуитски сделанной камере, где полная иллюзия свободы, где даже чай можно заваривать самому и пить, когда захочешь, а не по звонку, где и с женой можешь видеться в любое время суток, но где ты невольно и постоянно чувствуешь одно и то же: ты русский? так любуйся, как русские убивают русских, русский? совестливый?

гляди, как растленны твои дщери, как похабны твои сыновья, гляди, как пол-России ползает на брюхе перед деньгами, как побирается и ворует твое племя, как унижено и оплевано все, что было свято, как порушено все, что создавал...

Пили чай с товарищем на его пятом этаже. Он сочувственно морщился, видя, как я управляюсь одной левой рукой, подходил к окну, глядел вниз на облетающий с деревьев снег, опять садился за стол. Он не был в Москве во время расстрела, и только и сказал о нем: "Когда все кончилось, я встал от телевизора обугленный. У нас уже была глухая ночь, я гляжу в окно — и показалось, что там все продолжается". Я тоже ничего не рассказывал, только раз, когда случайно шли от Баррикадной к Пресне, не утерпел и показал, где было оцепление, где били людей, а в метро вспомнил, как бравые зверинцы, так прозвал народ подчиненных министра Зверина, вбивали щитами и дубинками людей в вагоны.

И еще на прощанье по голове, по спине. А ведь живут сейчас. Интересно, на что извели деньги? Жене что-то купили, детям? Или бабу какую в ресторан сводили. Живут.

НАМ, ПРИ НАШЕЙ ЖИЗНИ, ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ НЕ УВИДЕТЬ, НО И ГИБЕЛИ ТОЖЕ

Еще попали мы на два митинга. Они были почти рядом. Отгороженные барьерчиками из сварных труб, они разделяли людей, обзывающих друг друга фашистами. В коридоре меж ними ездили конные милиционеры. Уровень криков был одинаков. Только демократы орали уверенней — президент за них. Но реформы материли везде. И тут, и там были группки организованных крепких мужиков, трезвых, ироничных, пришедших на митинги как на работу.

На одной трибуне бесновался музыкант Шантрапович, его сменял Содомович, на другой кричала женщина в красном, ее сменял военный, там и там скандировали: "Фашизм не пройдет!" Упавшему с Луны было бы естественно решить, что это дружественные общества, которые для скорости мероприятия и для того, чтобы дать высказаться как можно большему числу клеймителей фашизма, организовали два сборища.

Нет, надо, надо к Преподобному! Я хотел сказать товарищу, но, во-первых, он был очень слаб после операции, во-вторых, чего звонить о том, что должно быть только твоим, личным, решением.

Еще добавил решимости человек на остановке. Он был пьян и падал прямехонько под колеса общественного транспорта. Автобус тормозил, но его тащило по гололедице. Забыв про больную руку, я схватил мужчину и рванул на тротуар. Автобус проехал.

— Ну-ка, стоять! — свирепо сказал я, прислоняя мужчину к столбу.

Он осмысленно взглянул на меня, поднял правую руку со сжатым кулаком и убежденно произнес:

— Родина или смерть. Мы победим.

— Еще бы не победить, — согласился я. — С такими, как ты, да не победить!

Он почувствовал иронию и в оправдание сказал:

— А как ты хочешь — из танков в народ стреляют и чтоб даже не выпить?

— Ну, пей больше, с самолетов начнут бомбить.

— Ничего, прорвемся, — ответил мужчина, — дустом уже посыпали, — и захохотал, радуясь восстановлению своих мыслительных способностей.

Только оставил пьяного, наскочил возбужденный поэт, ищущий восторгов своему умению рифмовать.

— Слушай! Рядом же Зоологический музей и музей на Волхонке. Там картины, тут скелеты. Отсюда стих:

Иду в музей, туда, где гад
висит. Смотрю, надев очки.
Противно. Лучше я к Дега,
где голубые девочки.

Нехотя похвалил рифмовку. Это погубило следующие полчаса моей жизни. Ему же потеря части моей жизни, наоборот, жизни прибавила.

— Ты же понимаешь, малышок, — поэт всех называл "малышок" или "ста-

ричок", — ты ж понимаешь, что мне с тобой интересно, в тебе есть чутье языка. Ты же северяк, северорусак, там же чокают у вас? или цокают?

— Всего помаленьку.

— Вот тебе на цоканье; сгубили молодця, не налили винця. С винцом, так сказать, в груди, с мечтой поести, таскать, да! На севере диком стоит одиноко, особенно утром, сосна. Не смешно? Ария пивця за сценой. Учусь у классиков, у романсов, старичок, учусь, творчески учусь, плагиату — наше дружное: нет! Раз травил я в окно, было душно не в мочь. Так, теперь на чоканье, чай, примечай, отколе гости.

Дома ждала неожиданность. На столе лежали билеты... в разные концы: один на Север, а другой вообще за границу, аж в Африку. А я думал, что после расстрела все перевернулось и ничего из намеченного ранее не будет. Стал крутить диск телефона, тут и телефон отказал. Нашел копейки в кармане, как стали называть металлические рубли с обрезанным орлом, пошел звонить. Оказалось, что автоматы переделаны уже под жетоны, а жетонов взять негде. Сказали, что есть еще на соседней улице, где автоматы работают за монету, пошел. У перехода пьяненький играл на гармошке и пел:

Вас пятнадцать рублей не устроят,
Для меня ж это хлеб трудовой...

Еще один пьяный продавал поношенное пальто, сообщая громогласно: "Вот где Лямонтя", еще один торговал бутылками с растительным маслом, крича: "Свежее, только что украдено!".

Нашел автомат, позвонил. Нет, надо было ехать. Там, на Севере, ждут, я обещал.

А еще надо было делать звонок о поездке за границу. Может, от нее отмотаюсь. Запихнул монету, набрал номер. Пошли гудки, там сняли трубку. Но меня не слышали, монета не проскочила. Я стал колотить по телефону левым кулаком, тщетно. Тут милиционер, проходя, как-то мимоходом, в мимолетной паузе моих ударов, четко и аккуратно шлепнул по телефону дубинкой. Монета сработала, меня услышали. "Прости, — сказал я телефону, — из-за меня и тебе досталось". Это я мысленно сказал, а наяву, представясь, слушал, что ехать очень надо: обещано, вставлено в программы, и все такое.

Да, в общем-то, чего было звонить. Надо ехать. Конечно, подряд четыре ночи в поездах тяжело, одна езда, но что делать — не мы выбираем жизнь, она сама.

А почему четыре ночи? До Вятки — ночь, вечером в этот же день на самый север области, тоже ночь в поезде, день там, обратно, до Вятки ночь в поезде, из Вятки в тот же день обратно в Москву, снова ночь, вот и вся любовь. А потом в Шереметьево, на самолет и в тот же день, если все нормально, успею услышать в одной из арабских стран резкий и сильный крик муэдзина, зовущего к вечернему намазу. Предчувствие дороги отвлекало меня от плохих мыслей только на время. Уже в поезде, в сотый раз выдираясь взглядом из бесконечного бетона, проводов, грязи, палаток, исписанных заборов, понял я, что дорога не только не лечит уже, но даже и в тягость. О, дорога, дорога, сколько умерло в тебе чудных замыслов. Как? А вот так: любой из нас работает в какой-то конторе, на заводе, фабрике. Изо дня в день при любой погоде (только это и разнообразие) надо ехать по одному и тому же маршруту. Вот я пять лет отбарабанил в издательстве. В один конец полтора часа. Да, такова Москва — из Москвы в Москву в один конец полтора часа. Три часа в день на дорогу. Пять лет. Одни и те же заборы по сторонам электрички, одни и те же пьяницы (с утра банки с пивом, вечером пузырек в клубе тогдашней гласности), одни и те же вороны и голуби, один и тот же серый мусор, грязно-желтые кофты путевых рабочих, сидящих у стрелки, один и тот же торчащий дрын останкинского шприца, обмотанный голубыми облаками своих эфирных извержений, одни и те же семафоры и светофоры, как тут не занемочь?

"Я МАЛО ЖИЛ, И ЖИЛ В ПЛЕНУ"

Это Лермонтов. Из речи беглого монаха перед стариком-монахом. Слова эти очень подходят к моей жизни, особенно к последним годам. Конечно, живу в плену. Слышу чужие речи, насильно обучаюсь чужим обычаям и нравам, ем и пью все чужое, а свое, русское, выдается строго по норме. Правда, мне разрешают повозмущаться, но это, я заметил, очень веселит моих охранников, улучшает их

пищеварение. Вот он, развалясь на два кресла, слушает мои вопли о России. "Россия гибнет!" — кричу я, он одобрительно икает от сытости и удовольствия. "Культурный Запад высоко ценит русскую культуру!" — горячусь я. Охранник снова икает и берется за зубочистку, по пути объясняя мне: "Ну да, ценит, ну да, мы выращивали отдельные русские особи, чтобы они поработали на мировую культуру, ну да. Ты давай, дальше кричи, да побольше, побольше про гибель России, это мне пищеварение улучшает". "Вы же издеваетесь над русской историей, у вас русские цари рекламируют немецкую водку!" "А чего им больше делать, все равно мертвые", — зевает охранник и идет спать, сдав меня другому и наказав, чтоб мне спать не давали, чтоб раздражали и дальше оплеванием России и русских.

В баню бы от этих плевков! И иду в баню. А что есть баня в данном случае? Опять же русская история. Но до бани еще попробуй дойди. Дорогу пересекают многоканальные демонстрации выброшенных демонороссиян. Они изображают крестный ход навыворот, как всякое бесовство. Известно, что черные мессы проводятся как карикатуры на литургии, ибо своего бесам не выдумать, идут не от подражания, а от злобы на свое бессилие и все переворачивают. Отсюда вся наша эстрада, все пародисты, отсюда все вариации на темы, всякие попурри, в общем, паразитирование на чужом, особенно на классике... Но что об этом? смотрим же, потребляем же. И вот идет демонстрация. Вместо икон волокут телевизоры, по ним же и выступают. Телевизоры краснеют от их вранья. По одному каналу Леонил Жуковидский, по другому большевичка Новозадворская, по третьему Мулат Сукоджава, по четвертому Гаврик Пупов, спермер Черненько и банкомет Буровой, а также виртуозы Москвы и очень юные виртуозы Подмосковья, идут записные ораторы Кричак, Ваучербайс, Шмелеман, идет весь музей восковых фигур, оживший под руками Чумашпировского, известного в своих кругах под кличкой Люлик, идет пузатая партия любителей пива во главе с профессоршей Давид-джан, идут сексуальные меньшинства, на ходу издающие газету "Столичный сексомолец" под редакторством Паши Гузакова, тут же крутятся визгливые газетные шавки помельче — сплошные новые новости, до хрипа облаивают всех и, на всякий случай, президента, о, как свободно и восторженно можно лаять на всех при демократии, как легко всех и все мазать своей нечистотой, идут военные историки во главе с Шакалогоновым, они, в основном, обтявкивают отца народов, вот и подкрепление из-за дальнего зарубежья — предатель Резунок, охамевший до кражи фамилии полководца, вот он тащит свою книгу "Дурокол", где пускает смелые слюни опять же против вождя всех времен, увеличивая тем самым авторитет последнего, движутся процентщики: и те, кто еще не обманут, и те, кого уже надули, и правильно! — разве не свинство жить на проценты, идут стройные ряды профессиональных мошенников — создатели благотворительных фондов — скупщики недвижимости, идут зеваки, которым все равно куда ходить, лишь бы развлекаться, вот писателя встречали, вот мэр в проруби болтался, вот певица Сукачева разводилась и сводилась, мало ли событий в этом городе, в этой стране...

Вот пойди и пробейся сквозь такое столпотворение. А еще мы не упомянули многих и многих, которых бы и рады не упоминать, но они сами о себе напомнят: и читатель Достоевского Карачкин и телестойкая Бэлла Муркова, сценомейстеры Роман Битюг и Мрак Захапов и русскоговорящие эстрадники, птенцы школы Райкина, и русскопоющие певцы, и русскопишущие члены пень-клуба, где, наконец, обозреватели взглядов из подворотни, где сидельцы из проходного книжного двора? Да все они тут, все стали квакерами демократии, ибо все квакают слово "рынок". Вот и потребители с потребительской корзиной, со ртами — отверстиями для аудиокассет. Сегодня им вставили кассету, квакающую про свободное предпринимательство тире спекуляцию, вчера они квакали о деньгах компартии, утром квакали про ценные бумаги горящих банков, к вечеру будут квакать о выборах, а иногда и кассеты выплевывают и просто хором повторяют то, что им диктует какой-нибудь Ротан-Бикофф или Горлан-Сумейка... Что делать, рады бы других описать, но такие только и есть.

А еще потребители волокли и на ходу глотали американскую кинятину про постель, драки и деньги, американскую жвачку, которую даже жвачные животные отвергли, напитки, с которых переблевалось пол-Африки, но которые демократическая страна лопала безропотно и исправно. Тащили и потребляли химический шоколад, который отказались есть даже только что спрыгнувшие с дерева темнокожие братья, жрали все, что рекомендовано было денежным Интернационалом имени товарища Валюты. Как откажешь? Зачислят в отсталые, а уж

так нашим демократам, уж так хотелось в цивилизованное общество. Не у всех же были тетки на Брайтон-бич, не всех же вызывали для проживания, поневоле приходилось жить в варварской стране этих русских и пытаться хоть чему-то их научить. Хотя бы той же жвачке, той же сигарете "Настоящая Америка", тому же пепси-пойлу...

Но, может быть, кто-то в этих полчищах идущих возмущался таковому заамериканиванию? Были и такие. Но им быстро затыкали рот разными фактами. Например, президент Засранции дал какой-то орден русскопоющей певице Малине Смешневской, а годом раньше русскотанцующей плясавице, таскающей за собой по сцене умирающую болонку, кстати, певица та стала еще русскоиграющей императрицу актрисой, что обязана была оценить демонопресса, что она (пресса) незамедлительно и сделала.

Ну, пробились. Скажут мне, мол, ты и сам хорош, дождался завоеванной демократией свободы слова и поливаешь всех. Нет, отвечу, у меня всегда была свобода слова, вот демократам ее не хватало, чтобы обгадить страну, в которой кормились, чтобы обозвать ее подобно шнобелевскому лауреату экономической территорией для проживания. То есть, он не Россию назвал таковой территорией, как раз ему тут был не климат, а он сказал, что поэт выбирает не родину, а экономическую территорию для проживания. А мы-то, отсталые, думаем, что родину не выбирают.

Но куда мы все пробивались?

То есть, кто мы? Оглядываюсь вокруг: один. Тишина. Следовательно: я пробился к себе и к тишине. Хотя не знаю, эта ли была цель. Но пока стою один среди равнины, голый, как острит знакомый поэт, подумаю о цели.

Кстати, я шел в баню. Но тут, лучше бы не вспоминал, снова этот рифмач вольтанутый. "Привет, — кричит, — мастер спонта, кавалер золотой не дали, — так кричит. — Знаешь, — кричит, — как я называю международный симпозиум? Интертрепация. А? А интертрепанация — съезд нейрохирургов".

ПЕШАЯ ТРОПА

После расстрела я как-то иначе стал воспринимать время и пространство. Пространство я всю жизнь пересекал пешком, или на лошадях, или на велосипеде (мотоцикле, машине, вездеходе), на поезде, на катере (паровозе, теплоходе, плоту, просто вплавь), даже пролет пространства на тихом или быстром самолете (вертолете) мне был понятен, ибо была всегда цель: дойти, доехать, долететь, доплыть до кого-то или чего-то. Но на это достижение цели уходило время, вот что было загадочно. Почему? Потому что, скоростью сжимая время, мы все равно не могли из времени выскочить. Хоть я буду на ракете летать, хоть в "линкольне" ездить, все равно состарюсь. Более того — ходящие пешком стареют медленнее.

Потрясение от расстрела меня резко состарило. Я стал жить как-то иначе, не то, чтоб вне времени, но перестал его воспринимать. Время для меня перешло в пространство. Я постараюсь это объяснить. Вот утро, передо мной день, который расписан по часам, как у немца. В десять надо быть там-то, в двенадцать то-то, в три это, в пять еще чего-то. Так вот, эти вехи во времени я воспринимаю как дорожные знаки, которые прохожу, у которых останавливаюсь и иду дальше. До конца дня я добредаю, как пахарь до конца последней на сегодня борозды. Совсем по-другому начала работать память. Я стал обостренно, до пугающей резкости помнить давно прошедшее и забывать вчерашнее. Это, кстати, было спасительно: если б голова сама не освобождалась от непрерывной загрузки ужасами происходящего в России, она бы треснула.

И вот передо мною лежало пространство — пеший путь от Москвы до обители преподобного Сергия, до Троице-Сергиевой лавры. Да, я все-таки пошел пешком. Налил с вечера термос горячим чаем, отрезал хлеба, взял сухие носки в запас (была поздняя осень) и вышел до рассвета. Стал проходить мимо храмов, которые наметил на карте Москвы. От собора Василия Блаженного, от Казанского новодельного собора по Тверской, тут налево, в арке показались главы церкви Воскресения словущего, а направо, вскоре, был храм святых бессребреников Козьмы и Дамиана. Тут свернул, пошел вниз по переулкам, пересек Пушкинскую, прошел мимо Высоко-Петровского монастыря, затем по Крапивенскому, около храма преподобного Сергия, вышел на бульвары. Вверху, направо, светились купола Рождественского монастыря. Перешел Садовое кольцо. Справа, на горе, предсто-

яли кресты церкви Святой нераздельной Троицы. Это как раз было подворьем Троице-Сергиевого монастыря. Тут начинались огромный олимпийский комплекс и стоящий напротив театр зверей. Пройдя еще далее, я взял вправо и выбрался мимо огромной, расстраивающейся мечети к храму митрополита Филиппа.

Между тем светало. Улицы становились не такими пустынными. Я шел, пожалуй, больше часу, а даже и до церкви Тихвинской Божией матери не дошел. По проспекту Мира шагал очень долго. У Рижской, направо, открылась церковь Знаменской Божией матери, а когда перешел гигантский мост, то, тоже справа, увидел церковь, стоящую у входа на Пятницкое кладбище.

По проспекту начали ездить автобусы и троллейбусы, заревели грузовики. На остановках скапливался утренний народ. Первый привал я хотел сделать у Тихвинской, но стоял вдоль всего проспекта забрызганный грязный забор, который все не кончался, а когда он кончился у гостиницы "Космос", то началось металлическое ограждение. Пошел дальше, решив, что будет же где-то уютное местечко, скверик хотя бы, где попью чаю и отдохну.

Но все шел, шел и шел.

Где ты, Иван Шмелев, с твоим "Богомольем", где ты, "Чаепитие в Мытищах", где вы, рассказы странников о паломничестве по святым местам? Не травили и не душили вас выхлопные газы ревущих моторов, не истирал подошв серый бетон и асфальт мостовых, не останавливали взгляд тяжелые стены зданий, осветленные кое-где белыми пятнами сохнущего в городском тумане белья. Взгляд ли подымешь, не пробиться взгляду ни к облакам, ни к небу: не облака — тяжелые тучи смрада, а вместо неба тяжелые сети проводов, и не выбраться земле из этих сетей.

Нет, не уныние владело мною, не те мои годы, чтобы тратить время на бесполезное осуждение того, что нами заслужено. За что же нам чистые небеса, за какие такие доблести? Зачем усложнять и без того усложненную жизнь? Я шел и, стараясь подражать много раз слышанным певчим, пел прошения всем святым, всем мученикам и великомученикам, всем преподобным и Богоносным отцам, всем. кого вспоминал:

— Равноапостольне княже Владимире, моли Бога о нас...

— Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас...

— Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас...

Каждое прошение трижды. Особенно хорошо пелось, когда близко никого не было. Но так почти не получалось. Я же шел по городской улице, по городу, который начинал жить своей жизнью. Включала ли эта жизнь утренние молитвы, многие ли шли на улицу после их прочтения, Бог знает.

ФАКИРЫ БЫЛИ ТРЕЗВЫ, НО ФОКУС НЕ УДАЛСЯ

Детские и юношеские расстояния своей жизни я одолевал пешком. Пробежать за день тридцать — сорок километров было делом обычным. Когда в институте мы заполняли анкету Карла Маркса, она была широко известна, то на вопрос: Ваше любимое занятие — я искренне ответил: ходить пешком. Когда идешь, легко думается, четко вспоминается, легче переживается. Вот и сейчас: шел и думал, и вспоминал. Самое свежее воспоминание было о событии на месте взорванного храма Христа-спасителя.

Даже не о событии, события не получилось и не могло получиться, ибо никак не могло быть на месте храма зрелища с собачьим названием "шоу". Кстати о теперешних кличках — знаках нового времени. Один человек искренне думал, что мэр — это имя породистого кобеля, а мэрия — это не контора, а дорогая сука. Так вот, на месте бассейна "Москва" городские власти обещали показать зрелище — объемное изображение — голограмму храма. Объявили по телевизору и радио, написали в газетах. А проходили не понятно к чему приуроченные Дни города. Для Москвы во все времена такими днями были трижды в год отмечаемые крестными ходами дни Владимирской Божией матери. О них можно бы и подробнее рассказать, но теперь такие сведения и без меня доступны. Нынешние же демократические веселья производятся с одной целью — оттянуть людей от раздумий о судьбах родины, это ж всегда так — чем хуже дела, тем сильнее пляшут в балагане.

Конечно, я поехал смотреть. Все во мне сопротивлялось, но вместе с тем я думал (так и встреченным знакомым говорил), что это зрелище должно, по идее, напоминать о нашей вине перед храмом и усиливать стремление восстановить его.

Храм, созданный лучами проекторов, и есть и нет. Он в воздухе и из воздуха, птицы пролетают сквозь бесплотные стены. Об этом мечтал, например, художник Селиверстов, он даже предлагал построить каркас храма из металлических прутьев.

Народу у метро "Кропоткинская" собралось море разливанное. Милиции, ОМОНа, армии было также изрядно, хватало и всяких распорядителей со знаками на рукаве и с серьезностью на лбу. Слово "Ходынка" витало в воздухе, оно у нас всегда вспоминается и позволяет охранникам как угодно издеваться над собравшимися.

Пьяных было мало, хотя и попадались. Под ногами гремели опустошенные жестянки из-под пива и разных напитков многолетней выдержки. Много было детей. Панораму на бассейн заслоняли деревья и все тот же ОМОН. Автобусы с ним все подъезжали. Внутри виднелись щиты, опробованные в октябре девяносто третьего, дубинки, которыми поигрывали, разминаясь, опричники в касках.

В десять вечера начался салют. Молодежь кричала "ура" при каждом залпе. Внизу, в яме бассейна, между тем разводил пары огромный воздушный шар. Сшитый из белых, красных и голубых лоскутьев, он очень напоминал циркового арлекина, тем более что еще и дергался туда и сюда. Вот он вытянулся, стал утолщаться, внизу, над корзиной, обозначилась гудящая горелка. Пламя то увеличивалось, то съеживалось. Вот салют кончился, кто-то внизу закричал в микрофон, что начинается. Пламя загудело, шар пошел вверх. В корзине кто-то сидел. Остряки, которых в толпе было множество, закричали, что это запуск в космос Лени Голубкова — космонавта-демократа. Шар был на растяжках, которые не давали ему улететь в сторону. Распорядители сообщили, что шар должен подняться на семьдесят метров и поднять экран. И в самом деле шар потащил с земли вверх огромную белую тряпку, похожую на привидение. Тут на шаре обозначилась реклама какого-то банка. Это было уж таким свинством, что возмездие случилось тут же — резко подул ветер и пошел дождь. Толпа защелкала крышами зонтиков, ОМОН зашуршал накидками, внутри автобусов зажгли свет. Шар таскало ветром, корзина болталась. Шар притянули вниз, убавили людей в корзине и опять стали нагонять горелками градусы. Шар тужился взлететь, но мотался на привязках. Короче говоря, ничего не вышло. Шутки про факира, который был пьян, слышались всюду. Дождь разошелся всерьез. Толпа зашевелилась уходить. Ее ждал неприятный сюрприз — станция метро "Кропоткинская" объявлялась закрытой, надо было идти до "Библиотеки имени Ленина", или "Боровицкой", или "Охотного ряда".

Дождь перестал. Полчища людей при свете редких, вначале сильно шипящих, потом вспыхивающих ракет шли по Москве. Вот и дом Пашкова, баженовское строение, ныне какая-то мэрская служба. Все мы помним, как переживали, что красивые здания в Москве ветшают, рушатся. Конечно, боролись по мере сил. Но вот то, что сейчас происходит с этими зданиями, опять же, разве за это боролись? Здания пригребают себе всякие денежные дельцы, зарубежные фирмы, и вот — результат: была контора, стал офис, стояло здание, куда можно было зайти и посмотреть на лепные потолки, сейчас здание почищено, украшено, окружено кованой, непроходимой решеткой, у дверей, с автоматом на ремне, ковыряющий в зубах ленивый бывший афганец, пойди, пройди. В конторе, бывало, хоть и насидишься в очереди, хоть и походишь туда, а дело сделаешь. В офисе тебя в кресло посадят, в офисе тебя кофеем угостят, в офисе тебе никто и пальцем не пошевелит, чтоб помочь. На то и офис, чтоб человека, не обругав, унизить.

Храм — боль наша, и вина, и надежда. Какие только руки не тянутся к нему. Вот сейчас, вроде бы к народным деньгам, ко кружечному сбору, добавляется решение правительства о восстановлении. Вроде бы хорошо — государство разрушило — государство должно искупить вину. Но уж больно мы правительство не уважаем, уж очень не хочется, чтоб именно ему были почести за воссоздание святыни. Один мудрый старик говорил мне: "Ты думаешь, что разрушение храмов — только следствие ненависти большевиков к христианству? С большевиками все ясно, но храмы рушились еще и по гневу Божию на тех, кто строил их из корысти, на неправедные доходы. Наживет, наворует бизнесмен деньжат, а помирать-то все равно надо, а душу-то надо спасать, вот и подачка на церковь, взнос, вклад. А Господу такие деньги смердят".

Ну, посмотрим. Но ведь не тянет же радоваться Казанскому собору на Красной площади, как вспомнишь о золотой доске, где усиленно обозначено, что свершено возрождение храма при таких-то и таких-то. Около доски подсвечник,

чтоб новым "святым" курили фимиам. Но с другой стороны — возрожден храм, стоит, стоит как память архитектора Барановского.

На эстраде, у изрытой котлованами Манежной площади, шел концерт. Мой знакомец-поэт конферансьешничал, если можно так сказать. Когда-то он или его друг сочинили патриотические стихи: "Большое счастье жить при коммунизме, но выше счастье — создавать его", — тогда такой патриотизм поощрялся и оплачивался. Теперь поэт, чтоб ничего из хозяйства не пропало, кричал эти строки в насмешку над прошедшим. Тут многое было: он показывал, какое смелое время настало, какое плохое время было, как он ничего не боится. То, что он — проститутка в чистом виде, поэта не смущало, не таковы ли были и соэстрадники его: Аркан-акынов, прозаик, киношник Эдик Грязанов и могучая кучка таких же. Все испражнялись на недавнее прошлое, всем, оказывается, не давала творить партократическая сволочь. Правда, вот деньги давала на фильмы, премии давала, но это ж тогда, а сейчас нужны новые премии, новые деньги, посему поэт и соэстрадники усиленно, нажимая на свою якобы независимость, кричали в микрофоны: "Мы — демократы, нах остен тринкен, гребем лопатой валюту с рынка".

Народ шел мимо, застревали зеваки. Кстати, о зеваках. Это именно они сыграли народ в августе. Если в Москве миллиона четыре взрослых людей, да миллионов пять приезжает и уезжает ежедневно, то уж как-нибудь набежит тысяч пятьдесят поглазеть на историю.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ДОСТИЖЕНИЙ ДЕМОКРАТИИ

Путь мой лежал мимо бывшей ВСХВ, бывшей ВДНХ, теперешнего ВВЦ, мимо памятника, очень впечатляющего на экране и жалкого в жизни, рабочему и колхознице. На этом участке Москвы была еще одна выставка, из новых. Выставка-продажа достижений демократии. Обойти ее было невозможно. Образно говоря, прорваться в Россию можно было только протаранив выставку-продажу. Еще в воспоминаниях звучали стихи какого-то эстрадника, сочиненные когда-то всерьез, к столетию вождя, а на дне города прочтенные издевательски, стихи о том, как мужики кололи дрова и с одной тюлькой никак не могли справиться. И вот — подошел незаметный на вид мужчина, попросил топор: "Развалил он тюльку на поленья лишь одним движением руки. Мужики спросили: "Кто ты?" — "Ленин". И остолбенели мужики". Теперь-то он прочел не "остолбенели", а употребил матерный глагол, ибо демэстрада обязывала быть похабным. Похабность казалась эстрадникам, всяким Ефимам и Лионам, народностью. Другой они не знали, может, поэтому.

Сейчас меня волокли на выставку добрые молодцы, ряженые под народ, оказывается, выставку содержал "Илья Муромец компани — инвестхолдингцентр".

В начале выставки демонстрировался герб, новый герб Москвы. Он, конечно, весь был содран со старого герба, только блудливо был убран нимб над головой святителя Георгия и трусливо снят крест с копья. Конечно, тут читался прогресс демократов по сравнению с большевиками. Большевики крест ненавидели, демократы просто боялись.

Далее ворота, оплетенные трехцветными лентами, с преимуществом голубого, вели в парк имени письма Белинского Гоголю. В парке, собственно, размещалась выставка-продажа. Гиды-охранники не отставали от меня, объясняя на ходу экспонаты. Но когда я решительно сказал, что не куплю у них ничего, то охранники исчезли. Я пошел один. В одном из павильонов проходил съезд сексуальных меньшинств. Здесь знамена были голубые и розовые. Гомики и лесбиянки объединились, чтобы выдвинуть общую кандидатуру. Но оратор — скотоложец — кричал, что надо двух выдвигать. "Надо показать избирателям высокую мораль, — кричал скотоложец. — Ведь педераст и лесбиянка не будут заниматься сношением друг с другом".

В следующем павильоне нарвался на поэтическое шоу. Поэтесса кричала: "Вы этого ль хотели, диссиденты, в мордовских сидя лагерях", мой знакомец-импровизунчик и тут не терялся, сыпал хохмочками вроде того: "Лучше нету того свету", или: "Лучше нету той минуты, когда милая уйдет", или читал стих "Вечерний бом, весенний бомж".

Но вот и достижения демократии. В павильоне "Свобода" показывали и продавали малыша, который первым словом в своей жизни сказал не "мама", а

"папа римский" и с трех лет мечтал стать бизнесменом, а на завтрак съедал мелко искрошенную акцию. По периметру павильона возили две клетки. Одна пустая, а в другой сидел человек, который прочел все указы президента и не сошел с ума, и его показывали за деньги. Пустая клетка предназначалась для того, кто выполнил хотя бы один из этих указов. По выставке ходили девушки-экскурсоводы. От них пахло жвачкой.

У выхода была продажа достижений профессиональных нищих демократии. Продавались плакатики — победители конкурса "Серебряный стрелок". На одном значилось — "Пришел из зоны", на другом — "На озеленение Луны". Тут же цыгане торговали мотоциклами.

Павильон для интеллектуалов торговал искусственными, сменными языками. Для ораторов, для трибун, для закулис, для переговоров, для лакания пепси. Ведь новое поколение выбрало пепси. Оно тут же, стоя на коленях перед корытом с пепси, лакало его. Пепси лилось у них из носов и ушей, а все равно лакали.

Там, где были достижения в области торговли, торговали всем: нефтью и трубами, хлопком и оружием, лесом и льном. За это получали жвачку, которую жевали, опять же пойло, шоколад из отходов фабрики удобрений и кассеты с порнографией. Один бизнесмен очень страдал: он баловался никелем, медью, поднимая из руин социализма свободную Прибалтику, торговал хромом, а вот только сегодня узнал, что хром — не только металл, но и кожа. Тут же шли с молотка портативные пункты обмена валюты, называемые отмывателями, тут же продавались образцовые помойки, в которых можно было рыться враз десяти ветеранам войны и труда, тут же торговали проститутками и колготками.

Репортаж с выставки-продажи вела Влада Митько-Гноепольская. На глазах у всех она страдала поносом слов и блевотиной штампов, которые вливала в змеиную головку микрофона.

В павильоне "Ликбез эпохи гласности" учили отличать дилера от киллера и триллер от дистрибьютера и выдавали талоны на бумажные носки. В углу молодежь училась плясать на костях. Тут снова крутился поэт, кричащий в паузах: "Все, что нам дорого, припоминается и пропивается", а также "Пришел и к нам свободный труд, но люди все еще живут во глубине сибирских руд". Я думал избежать встречи с ним, но он потащил к интеллектуалам, там присваивали звания деятелям литературы, культуры и науки. На сцену вызывался ученый, ему присваивали звание "Ученый имени Бойля—Мариотта", вызывался режиссер, уходил названный именем Куросавы, мой знакомец переплюнул многих: ему присвоили звание "Поэт имени Лермонтова", и он прокричал новый стих "Амазонка! О, масонка!"

Еле-еле я выдрался на Ярославское шоссе. В меня при выходе вцепились, допрашивая, что же именно я видел из достижений демократии. Ведь я еще не увидел многих достижений: и воровства явного, и бандитизма открытого, и адвокатуры купленной-перекупленной, не видел и стенда—сравнения большевиков и демократов. Не видел?

— Нет, — отвечал я.

— Как! — возмутились они. — Это же главный показатель достижений демократии. Мы пошли гораздо дальше большевиков. Наши шаги смелы и семимильны. У большевиков каждая, пусть через одну, кухарка управляла государством, мы же им не управляем, а торгуем, мы его разворовываем, причем открыто и с гордостью. Мы показываем всему миру, насколько богата Россия, мы уже начали бояться, что не успеем всю ее разворовать. Далее: большевики еле-еле справились с чумой и холерой, мы же вдалбливаем очумевшее сознание через экран. Холеру мы снова внедряем в массы. У нас любой мошенник излечивает все болезни, разве это не достижение? И вы не хотите этого видеть?

— Все болезни?

— Все!

Тут явился мошенник, автор книги о питании путем созерцания и медитации. Он предложил мне долголетие, астральную защиту, магию и магнетизм, также овладение за два сеанса природными законами и силовыми полюсами планет моего созвездия по африканскому календарю, обещал обеспечить нетрадиционное излечение любого недомогания, а на десерт, подмигнув, обещал оволосение любой части тела. Еще предлагал броню для дверей, для защиты от воров. Броня эта была содрана с танков.

Но мгновенно исчез, узнав, что я без валюты. А охранники продолжали

кричать о достижениях демократии. Они уже поняли, что я ничего не куплю, они уже навязывали мне то, что, видимо, у них залежалось. Это были рукописи, это тоже было достижение — торговать рукописями. Мне всучили две, я их затолкал в сумку и пошел, провожаемый возгласами сожаления, что я почти ничего не видел, что не ознакомился с производством-конвейером изготовления болтунов и запасных к ним частей: языков для трибун, языков для кулис, языков для встреч в банях и загородных домах... Ну и так далее. Одно я понял, что наиглавнейшее достижение демократии у нас — это то, что смертность в России превысила рождаемость. Любые достижения меркли перед этим. Это было торжество демократии — смертность опережала рождаемость.

ОДНА РАНА ЗАЖИВАЕТ, ВТОРАЯ НАРЫВАЕТ, А ОТ ТРЕТЬЕЙ ПРИДЕТСЯ УМЕРЕТЬ

— Но за это же должен кто-то быть награжден, — сказал я.

— О да, мы платим. Мы дали вам, — сказали охранники, — гласность, дали свободу грабежа, платим обнищанием, озлоблением, усталостью, разочарованием в жизни. Радуйтесь, вы можете, если не нравится, уезжать отсюда. Весь мир — ваш, это ли не достижение? Весь мир — родина, мы едины под солнцем.

— Едины-то едины, да ехать некуда, — отвечал я, не чая уж от них отвязаться. — Если вы во всем победили, так хотя бы будьте великодушны, не навязывайте свою свободу, которая нам не нужна. Скажите честно, что демократия дала вам и только вам наживу и наглость, ибо вы без стыда и совести. Вы и раньше не бедствовали, только не хватало еще власти, мало было того, что ходили в референтах и суфлерах. Ну, победили, ну, объявили мошенника главной фигурой демократии...

— Как это?

— Предприимчивость и ловкость возведены в качества доблести, а скромность и порядочность отжили, по-вашему?

От такой дискуссии охранники отстали, а я в страхе взглянул на часы. Казалось, что выставка достижений демократии украла у меня вечность, но нет, ура, на этой выставке, как в Бермудском треугольнике, часы не шли. И как было позднее утро, так и оставалось. Хотелось есть. Но где присядешь — город, улица, около домов выгуливают породистых собак. И не породистые бегают, поглядывая с ожиданием на прохожих. Голодные собаки, и перед ними будет стыдно сидеть со своими бутербродами.

Все-таки я бросил несколько кусочков хлеба, которые с благодарностью были съедены. “Надо бы отнести и это к достижениям, — подумал я, — собаки и хлеб-то не ели, мяса хватало, а сейчас и людям мяса не хватает, так что собаки и хлебу рады”.

А, пивная на дороге. Там я и позавтракаю. Хоть посижу, ноги отдохнут.

Как всем известно, у нас в каждой пивной по два-три Нострадамуса, не меньше. Это не шутка: в наших пивных знают все о прошлом и будущем. В этой пивной Нострадамусом был огромный бородатый мужчина. Он сразу сообщил мне, когда я попросился за его столик:

Ельцин гимны сочинял, Шеварднадзе ноты,
А Рыжков не подпевал, выгнали с работы.

— Ну, вот я тебя спрошу, — сказал я, — спрошу вот о чем: вот ты живешь в Израиле, выехать не можешь, и вот тебе говорят, что ты можешь ехать. Но будешь нищим и так далее. Уехал бы?

— Я бы в Россию пешком уполз, — отвечал мне Нострадамус и спросил в свою очередь: — Почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин в сапогах?

— По земле.

— Ответ неполный. Ленин обходил лужи, а Сталин шел прямо! Эх, наливай! Выпьем за Родину нашу любимую, как на Руси повелось. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, чтоб ему крепче спалось, чтоб ему перестройка не приснилась. Жизнь хороша, а жить плохо, почему? Домашнее задание: почему? Дома подумаешь. Еще: какая последняя статья в конституции? Не знаешь?

— В какой конституции?

— Ты разве не голосовал?

— Я голосовал против.

— Неважно. Статья гласит: обмани ближнего, не забудь и дальнего, ибо дальний приблизится и обманет тебя.

— Он и издалека обманет.

— Подаешь надежды. Мне мама говорила: сынок, это двадцать одно тебя погубит. Но не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз.

— Пьешь много.

— Не пьем, а лечимся, — отвечал Нострадамус. — Я по социальному положению инвалид, мне можно. У нас к инвалидам внимание, они на колясках до Владивостока едут. У нас только на нормальных внимания не обращают, а инвалидам зеленый свет. Это от того, что все наши деляги извращенцы. Ты думаешь, что СПИД так просто? Это гнев Божий на извращенцев. Они сидят по кабинетам, сами все больные, детей рожают неполноценных, из мужчины в женщину переделываются и внушают, что это нормально. Они извращенцы, а дети вырожденцы.

— И чем все кончится?

— Как будто не знаешь, — сказал Нострадамус, — в Сергиев Посад идешь и не знаешь. Страшным судом, естественно, больше ничем. Сколько ж можно такой бардак терпеть? Как людям Господь землю дал, как людям, а живем как скоты. Обжоры, хапуги, проститутки, хари бесстыжие, подлецы, куда ни плюнь, плюнуть некуда — везде, везде мразь и тотализатор. Тотальный тотализатор, вся жизнь — игра. Ничего, играйте, играйте, ско-оро доиграетесь.

— Но ты же играл в карты.

— Карты! Карты — это тебе, брат, карты, это не шахматы. В подкидного игра сложнее шахмат во сто раз. А вот почему нет всемирного чемпионата по игре в подкидного дурака, почему?

— Дураком никто не хочет быть?

— Молодец! Беру в актив. В дурака играть — нужен ум, а в шахматы играть — хитрость и комбинация. От сытости игра. Как и теннисы всякие. А в дурачка подкидного — о-о! Да в переходного, да с погонами. Я писал, кстати, еще в Политбюро, и в это писал. Но тогда хоть ответили, сейчас глухо, как в танке.

— Так что же нам делать, узнать интересно?

— Не ссучиваться, не легавить, не мусорничать, что в переводе означает: быть человеком, с мусорами, ментами и легавыми, что одно и то же, не корешить. Вот и все.

— Но они тоже люди.

— Нет, — решительно сказал Нострадамус. — После того как они людей избивали, нет, это зверинцы и геринги. Тут ходит один, спился совсем, но это признак совести. Долларами платили за убийство, долларами жену одел, рубли пропил, сейчас пошел в минеры, по утрам дворы прошаривает, пустые бутылки ищет.

— Так-с, — сказал я, вставая. — И напоследок: что будет скоро, если мы знаем, что будет в конце?

— Оппозиция пришла к власти, — отвечал Нострадамус как по нотам, — и у нее появилась своя оппозиция. Оппозиция побеждает всегда, вопрос в сроках. Итак, сегодняшняя оппозиция победит, но она сразу передерется, и у нее появится своя оппозиция, которая тоже победит, и так далее. Жить будет не скучно.

— А что делать, чтоб так не было?

— Очень просто. Никого ни в какие Лефортовы и в Матросские тишины не сажать, зря даром не кормить, а объявлять: "Красномордин!" — "Я!" — "В дворники!" — "Борискин!" — "Я!" — "В грузчики". — "Такой-то!" — "Я!" — "В истопники!" И так далее соответственно и по заслугам. Выше завхоза не ставить. Женам также по метле. Утром и вечером отмечаться. Жить по средствам и без долгов. Не тюрьма, не унижения. Через год-два давать паспорт, иди, голосуй. О, вот он, упомянул его, а он материализовался. Сашок! Тот мильтон-то, — сказал мне Нострадамус.

Подошел совсем молодой мужчина, еще нисколько не спившийся, но видно было, что похмельный колотун еще не прошел.

— Сашок, расскажи мужику про Белый дом, он тебя опохмелит.

— Не надо, — слабо возразил Сашок. Уже выпив, он вопросительно посмотрел на Нострадамуса и сказал: — Как стреляли, чего ж я буду рассказывать, все же знают. — Он вопросительно посмотрел на меня.

— Тогда о чем? — спросил я.

— Ну, все ж знают, как стреляли, показывали же. Конечно, не показывали,

что в танки садились бывшие афганцы и их офицеры, ребят-срочников выбрасывали. Ну и как ОМОН стрелял, снайперы, чего ж говорить, стреляли. А вот, что не знают... — Сашок допил купленное мною питье. — Нас, когда пленных вывели, загнали внутрь. Когда стемнело, стали выносить и грузить трупы. Кругом было оцеплено...

— Оцепенение, заметь, общее оцепенение, — сказал мне Нострадамус. — Оцепенение и оцепление. Сашок, двигай!

— Оцепление еще и спирали Бруно вывозило, — продолжал Сашок. — Мы трупы собирали. Многие сотни, страшные, черные, обгорелые. Много детей и женщин. Принесли переноски, светили. У нас и мародеры были, — сказал Сашок, — зубы золотые выламывали. Грузили на машины и баржу. Я думал, с ума сойду. Но там спирт наливали, подгоняли. Возили в Николо-Архангельский крематорий, а многих и сжигать было нечего, там сгорели...

— Чего ж ты хочешь, кумулятивные снаряды, — поддакнул Нострадамус.

— Спиртом прямо умывались. В прямом смысле, — уточнил Сашок. — На руки лили, чтоб поесть. А то все кровь и сажа. Кишки наружу. Черепа расколоты. Д-дети! — сказал он вдруг и заскрипел зубами. И, рванув зубами рукав, заплакал.

— Пьяные слезы, — охарактеризовал Нострадамус. — Вот когда мужчины начнут трезвыми плакать, рыдать, тогда спасемся.

— Ты где сейчас живешь? — спросил я Сашка.

— Это неважно, — ответил он. — Я сейчас на той стадии, что начинаю кое-что понимать. Я сюда в пивную пришел, тут понимают. Тут еще хуже есть, еще страшнее, но тут и погибнуть можно...

— Это и произойдет, — предсказал Нострадамус.

— Пойдем со мною, — предложил я, — пойдем к преподобному Сергию.

— Вы пешком пойдете?

— Да.

— Прямо сейчас?

— Да.

Сашок подумал, качнул головой и встал:

— Пойдем! Только ты иди, я тебя догоню. Догоню. Тут же одна дорога, не разойдемся. Иди. Догоню.

СПРАВА НЕМЦЫ, СЛЕВА ТУРКИ, ДЕРБАНУТЬ БЫ ПОЛИТУРКИ

Вот и еще час прошел. Именно так говорят: прошел. Но пройти можно по чему-то. Час прошел по времени. То есть время — пространство. Пространство дня моего, моего пешего пути было пройдено на треть. Завинтив полегчавший термос, закинув за плечи рюкзак, я вновь пошагал на север. Догнал вскоре меня не Сашок, а, конечно же, поэт, поэт имени Лермонтова. Я сердито спросил:

— У тебя что, какие-то проблемы?

— У меня никаких, — отвечал он нагло, — сейчас будут у тебя. Ты почему не дождался награждения победителей?

— Потому что свободен, поэтому.

— И я свободен, поэтому догнал.

— Ну иди и молчи.

— Пойду. Но молчать не буду. Поэт есть синоним словоизвержения. Был я тогда молодым, дарил ей букеты из роз: белая роза — невинность, красная роза — любовь, желтая роза — измена, вся намокала от слез.

— Отстань!

— Ни за что! — заявил поэт имени Лермонтова. — Ты в Лавру, ты спастись хочешь. Один? Эгоист! Тогда спасай и меня. И не говори, что спасение утопающих дело их рук.

— Ты-то утопающий? Да ты из любого события извлекаешь себе навар, накрутку, как вы говорите. Какая у вас котировка? Свобода! Ваша свобода в литературе увеличивать число болтунов и уровень самонадеянности.

— А для тебя что есть свобода?

— Не для меня, для всех православных: свобода в том, чтобы освобождаться от пороков.

— Тогда тем более не надо на меня сердиться, — вывел отсюда поэт. — Может, я к тебе приставлен, чтобы ты через свое терпение меня и через воспитание меня улучшался. Сейчас на выставке, после награждения, подошли ко мне два русско-

говорящих лица кавказскоязычной национальности и спросили, не я ли написал актуальные строки, предупреждающие: "Не спи, дитя, во тьме ночной чеченец ходит за рекой?" Так что очень, очень ответственно носить высокое имя русского поэта.

— А твое какое имя собственное?

— Ну что ж, я согласен говорить по еврейскому вопросу.

— Мне бы в русском-то разобраться, — отвечал я.

— Но мы же, если послушать Вопилова и Астраханова, виноваты во всех ваших бедах. В самоваре нет воды, значит, выпили жиды. В самоваре есть вода, значит, плюнул жид туда. Разве не так?

— Я это слово не употребляю.

— Помилуй, да только его мы и слышим в кино и на тиви. Про одни погромы на дню по шесть раз напоминают.

— Сами же вы и напоминаете.

— А как иначе? Я-то не чистый, я полукровка, какой же я чистый, если, пока до язвы не допился, пил, на русской был женат. Но сейчас, брат, слушай. Русская жена — это столбовая дорога, а еврейская жена — это соковыжималка. Думаешь, это критика? Нет, правильно делает еврейская жена, заставляя своего Абрама выкладываться на все сто. Есть у тебя талант — отдай, нет — найди.

— А если совсем нет?

— Она найдет. Я же ушел от Серафимы, пришел к Симе. Ты же не знаешь, сколько радости — раз в год можно и нужно напиваться до любого состояния, и никто не заругает. Пусть язва — пей. Попробуй, не пожалеешь. Свечи будешь зажигать за восемнадцать минут до заката.

— Я за секунду зажгу.

— Ты не понял. До заката. А остальное, Хануку, Пурим, Песах, Йомкипур легко выучить. Мацу стал есть.

Я остановился. Наконец-то дома и заводы остались позади. Машины неслись по шоссе, но все-таки гораздо реже, чем в городе. Я спросил поэта имени Лермонтова:

— Но имя-то у тебя есть?

— Есть, — печально сознался он, — я тоже Сима.

— Сима, можно я дальше один пойду? Ты же мне все равно не объяснишь, почему Голда Меир, Меир — фамилия, а Меир Кахане, Меир — имя? А если хочешь, ты ж можешь приехать в бывший Загорск на электричке.

— Ты как старуха Изергиль, суров. Изгоняешь. Камю живется весело, вольготно на Руси, Камю, Альберу Камю, его много издают. Ладно, отчепляюсь, иду к Рюноске, напишем в сноске, что речь о носке бумажного носка. Иду, мой удел — катиться дальше, вниз. Утром водки застаканю, занимаюся у-шу, если Симочка изменит, в два приема задушу.

— Си-ма! — решительно сказал я.

— Напоследок жалоба. Я им говорю: я тоже еврей, говорят: нет, ты русский еврей, а мы еврейские евреи. Но взаимовыручка — м-м! Хошь миллион наличмана — тут же! Да, брат, кто родился с умом, того не перевоспитать. Мне говорят: встань в профиль, по профилю, говорят, не подходишь. Золото, говорят, не нужно, нужны те, кто его имеет.

На прощание Сима сообщил, что очень трудно жить в стране, которую обязан ненавидеть, что вот он меня познакомит с тетей Хасей, которая в России души не чает и что послала Беню, который за ней приехал из Израиля, к Бениной матери, что в честь тети Хаси он назвал свою собачку Хаськой, а что? зовут же барана Борькой. Напоследок он так тиснул мою больную руку, что я еще очень долго помнил Симу, получившего только что звание поэта имени Лермонтова.

ВСТРЕТИЛОСЬ В ПУТИ

Не очень-то вежливо я с ним попрощался, но ведь и выслушал, и времени сколько на него загубил. Как подумаешь, жалко евреев: вынуждают себя все время всем доказывать, что они лучше всех. А кто спорит, любая нация лучше всех.

Болела рука, да еще, прыгая через кювет, подвихнул немного левую ступню. Захромал, но потом разошелся. И вновь вернулось спокойное молитвенное состояние. Особенно легко шлось под слова тропаря святителю Николаю "Правило веры и образ кротости, воздержания учителю...". Ведь я и нынешний год ходил с

крестным ходом на реку Великую. Это, конечно, главное событие каждого года, эта июньская неделя.

Я сел у корней березы, и мне представилось, что, если бы еще убрать шум машин по Ярославке, будто бы я сидел под березой где-то перед входом в Медянский бор, уже на обратном пути из Великорецкого.

— Отец Анатолий, — испуганно говорит полная старуха, — ведь в бору-то змеи-медянки, бор-от из-за них прозвали Медянским, чего хоть делать-то, если укусит.

— А ты ее тоже кусай, — отвечает, не открывая глаз, молодой отец Анатолий.

— Змеи что, с палкой иди, вот и все, а вот медведи тут, это да, — говорит другая старуха. — Нынче, писали в областной, корову задрали частно-фермерскую. Вот медведь-то навалится, дак как реагировать?

Отец Анатолий открывает глаза, расправляет могучие молодые плечи, глядит на спрашивающую:

— Корову задрал? Корову. А ты кто? Он же разбирается, кто есть кто. Да и чего в тебе есть, один хребет рабочего класса и крестьянства. Ну что, Николай, вставать?

Николай, несущий икону святителя, смотрит на спокойное солнце:

— Да, надо бы поспевать.

И снова встаем, снова прикладываемся ко кресту, к иконе, певчие начинают "Символ веры". Шагаем. Вот и бор. Светлый, радостный, в нем так легко дышится, так оглушительно поют птицы, что кажется — ревнуют к певчим.

Рядом со мною шлепается в грязь старуха. Не дает помогать вставать и радостно говорит:

— Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Иду, дура, башку загнула, святитель-то меня носом и ткнул, иди, дура, к земельке.

Попадаются все время лужи, иногда такие огромные, что никак не обойдешь. Берешь в чащу и вправо, и влево, завалы валежника, баррикады из хвороста, а под ногами вода и вода. Старуха Маруся восхищенно говорит:

— Ползем, ползем — лужа, обойдешь — другая, по елкам ползем, думаешь: сейчас пузом на сучок наденешься и будешь висеть, ногами болтать, как жук. Птички-то, птички золотые как поют, Боженька послал для подбодрения.

И опять огромное зеркало воды. Но я замечаю, что от этих зеркал очень хорошо отражается молитвенное пение, слышно далеко.

— Такую лужу на катере надо переезжать, — говорит высокий старик.

— Тебе не катер, — поддевают его, — тебе баржу надо.

— А мы на Днепре всяко плыли, — говорит мужчина. — Сейчас хоть не бомбят. Киев освободили, а ведь я, молодой был, чего взять, даже в Печерскую лавру не сходил, теперь уж не бывать.

— Богу молись, на всяком месте будет Иерусалим.

Шли, шли и шли. В этот раз я шел в оба конца, как хорошо! Особенно на обратном пути. День в Великорецком незабываем. В купель трижды ходили окунаться. Как ухнешь в такую холодину — выскакиваешь как новенький. А ведь еще за это время, зимой, я тоже побывал в Великорецком. Спустились к занесенной снегом часовенке над купелью, разбили толстый лед. Я стал читать начальные молитвы, и вдруг — ну, не придумал же я, свидетели есть — с шумом сошел снег с крыши часовни. Тут уж даже и тот человек, что даже одной мысли ужасался, что мы будем погружаться в ледяную купель, тоже разделся и тоже троекратно, во имя Отца и Сына и Святого Духа совершил воскресающее омовение.

Шли, шли и шли... И комары были, и жара, и ночью холод. Последние две ночи вставали, одну в час ночи, последнюю ночь вообще в полночь. Встали на молебен и вышли в час. Надо было пройти последние, самые тяжелые сорок километров. Почему самые тяжелые? Потому что по шоссе. Справа, слева кюветы, залитые водой, где посидеть? Сидели прямо на обочине. Гравий, бетон, асфальт. Тяжелые машины туда и сюда, трасса Горький — Киров, то есть Нижний Новгород — Вятка.

— Ой, в лесу легче, — говорила Маруся, — в лесу сам думаешь, с какой на какую кочку прыгать, а тут идешь и — ноги, ноги, ноги.

Еще не то было плохо, что машины обдавали пылью и гарью, самое плохое, что их рев глушил певчих, плохо было слышно общую молитву, от этого идти было еще тяжелей. На привалах мы с Николаем записывали имена идущих, чтобы потом отслужить благодарственный молебен. У меня сохранился черновик, я иногда перечитываю эти имена, вспоминая Крестный ход. Конечно, разве под

силу мне запомнить всех, никому не под силу, вот поэтому мы и верим, что никто у Господа не забыт, и только Он знает, за кого именно мы просим, когда пишем имена: Николая, Прокопия, Михаила, Владимира, Раисы, Алевтины, Валентины, Татьяны, Надежды, Нины, Натальи, Любови, Анастасии, Юлии, Виктора, Клавдии, Елены, Александры, Александра, Маргариты, Валентина, Анатолия, Нэлли, Георгия, Екатерины, Варвары, Тимофея, Антонины, Риммы, Зинаиды, Аркадия, Виталия, Серафимы, Людмилы, Фотинии, Раисы, Анны, Алексея, Леонида, Феклы, Марфы, Дарьи, Константина, младенца Марии, Ирины, Ираиды, Ангелины, Аполлинария, Ольги, Зои, Августы, Евдокии, Тамары, Таисии, Веры и иже с ними, только Господь знает, о ком именно мы просим. Ведь сейчас я вспоминаю имена, но многих лиц не помню. Мало того, ведь имена повторяются. Очень много Нин, Татьян, Галин, Маргарит, Николаев, но когда мы пишем о поминовении, упоминаем часто одно имя несколько раз, то каждое одинаковое имя означает какого-то особого человека. Мне так хочется, чтобы добрые люди помянули стариков и старух, мужчин и женщин, и детей, прошедших Крестным ходом эту никольскую великорецкую дорогу. И младенца Марию, годовалую крошечку, которую то несли, то везли молодые родители. Как ее забыть? Как она подпевала певчим! Опять же это не моя выдумка, любая из певчих подтвердит, что младенец Мария им подпевала, и всегда в тон.

Как забыть Медяны, как не поклониться медянским жителям, которые накрыли столы прямо на улице, я думал, что обопьюсь медянским квасом. Выпью кружку, отойду, лягу на траву, опять тянет. "Налейте, матушки: больно уж квас-то у вас хорош, как в детстве прямо". — "Пей заугоду, миленький, пей". Кружек десять выпил, не меньше. Еще бы — шли по жаре, часов восемнадцать шли. И только стали стелиться в сенях и на крыльце, как приползла древняя старуха: "Ой, хоть бы у меня попели, ой, хоть бы частичечку святителя". Батюшка благословил, пошли. Бедность старухиной избушки, но и аккуратность ее были поразительными. Чистые, заштопанные занавески. Под окном старик на завалинке курит, сын. Пропели начальные молитвы, "Символ веры", "Правило веры и образ кротости...", обратясь к картонным образочкам в переднем углу. Старуха совала копеечки, просила взять. Стала давать тарелочку с пряниками: "Ой, не брезгуйте старухой, возьмите, мне ведь, может, последний раз в жизни спели, я ведь легче помру".

Врач Нина бинтовала смозоленные, истертые ноги. Батюшка, которому доставалось больше всех, он ведь по многу раз на дню ходил подтягивать уставших, ноги сильно измучил и все-таки шутил: "Бинты берегите, вдруг война", — и договаривался с медянскими пчеловодами о поставке воска для свечей: "Нельзя же поросятинку в церкви жечь". — "Как это?" — спросил я. — "Когда делают свечи, добавляют животный жир. В церкви должен быть медовый запах".

Шли ночью. Оглянешься — вроде много, человек двести (а до Великорецкого шло человек пятьсот), вроде много, но как представишь, насколько же нас мало по сравнению с миллионами и миллионами безбожников, как представишь... Песчинка мы малая. "Не песчинка, а закваска," — поправил батюшка. "Мы идем, — сказала Маруся, — так в церкви людям легче молиться, надо всегда идти".

А сколько же было радостных, трогательных моментов, когда любая неловкость, трудность оборачивалась в радость. Вот несется машина, шофер то ли пьяный, то ли воинствующий внук воинствующего безбожника, вильнул рулем, прямо на идущих. Мы шарахаемся от машины, но куда? Получается, что мы своих же сшибаем на обочину, в канаву. Те стараются не упасть. Старуха, попавшая в середину, вскрикивает от боли и тут же говорит: "Ой, хорошо с двух сторон жмякнули, а то с одной если бы, то б упала". А эти бесконечные рассказы о Божием промысле. Я ничего не записывал, шел, как все, но многие рассказы помню. Недавно один мальчик трехлетний прозрел. Он с рожденья был незряч. Набожные родители и бабушка молились и понесли малыша с Крестным ходом в Великорецкое. Где и ножками вели. Пришли, выкупали, отстояли молебен, причастились, сына причастили. Обратно. Вернулись домой, бабушка баню истопила, вымылись, сели пить чай. И вдруг малыш спросил: "Мама, это сахар?" Глядят, а он указывает ручкой на сахарницу. И спрашивает: "А почему вы плачете, разве это не сахар?"

Или, тут уж я сам свидетель, — мой знакомый Юрий Александрович, астматик тяжелейшей формы. Плюс к астме всего полно. И пошел. И тащил сам рюкзак. А больше трех килограммов врачи не разрешали поднимать. И шел, Богу молился. И день ото дня дышал все легче. Не знаю, как сейчас, но расставались мы с ним,

он крепко обнял всех на прощание и загадал: "Бог даст, до смерти буду ходить".

Или вот было со мной. Мы в Горохове в прошлый раз мечтали сделать подходы к чудотворному источнику. И нынче нас батюшка благословил после Монастырского идти вперед. Для работы мы тащили топор, который нес врач Анатолий. Когда старухи спрашивали его: "Ты зачем, батюшка, эку страсть на себе тащишь?", — то Анатолий с профессиональным врачебным юмором отвечал, что это для того, чтобы добивать отстающих. Так вот, то ли мы быстро шли, то ли как-то резко взялись за настилание гати на топком месте, торопились успеть, то ли сказалось предыдущее недомогание, я как-то резко ослаб и, когда подошел Крестный ход, лег около развалин церкви прямо пластом. И меня начало бить крупной дрожью, прямо трясло всего. То утихала дрожь, то опять вдруг колотило. Мне даже было страшно, что я не смогу пойти дальше, что буду в тягость. Не было никаких сил хотя бы отползти, чтоб никто не видел моей лихорадки. И вдруг старуха, остановясь, ласково сказала: "Это хорошо, миленький, все плохое и вытрясет". Тут от источника вернулся батюшка, похвалил нас за наши малые труды и начал службу. Послышались голоса певчих, и я вскоре, когда начали акафист Казанской Божией матери, встал совершенно здоровым.

У ЖИЗНИ ОДИН СЮЖЕТ — ПРИБЛИЖЕНИЕ СМЕРТИ

Писатели, писатели, собратья мои по бумажному цеху. Ох, сколько ж мы нагрешили, сколько навредили России! Я не говорю о сознательно пишущих наших оппонентах, нет, даже любящие Россию творцы художественного слова много настроили тупиков для доверчивых читателей. А этим губили себя. Да даже и классики. Ушла литература от летописей, былин, сказаний, легенд, слов, проповедей, ушла в вымысел, в обслуживание светских интересов, офранцузилась. Наиболее падшая призывала революцию и добилась ее. Наиболее порядочная старалась честно описать происшедшее. Но спросим себя: смогли ли б мы прожить без таких великих произведений, как "Тихий Дон", "Солнце мертвых", "Щепка", "Окаянные дни", "Колымский дневник"? О, скажет любой читатель, как же тогда представить нашу литературу, что от нее останется? Теперь спросим иначе. Но разве не было бы лучше для России, если б не случилось тех событий, которые описывают эти произведения: кровь и братоубийство, голод и разруха, мерзость и запустение? Конечно, было бы лучше. Но мы всегда отстаем, мы всегда боремся с уже происшедшим. То-то над нами бесы ржут: эти мастера кисти и пера возмущаются, трясут кулачками: не допустить повторений! Да как же мы их не допустим, если всегда сидим в прошлом. Но спросим: а как же сидеть в настоящем и будущем? Богу молиться.

Примерно так я рассуждал, а сам все подвигался по обочине Ярославки. До чего же быстро пролетают, мгновенно, воспоминания и как долго их пересказывать.

Вообще-то это последнее дело — говорить о кухне профессии. Но если я постоянно думаю, что хожу в числе тех, кто морочит людям голову, тогда как? Слава Богу, уже давно ничего не выдумываю, так как однажды послушался мудрого человека, сказавшего: "Ты думаешь, что художественный образ — порождение твоего ума? Нет, это штука бесовская". Еще бы — называть нечто человеческим именем, приписывать ему якобы им произнесенные слова, поступки. Кто он? Где родился, где крестился, кто он, что это такое? Где его могила? Но он назван. Он есть, он бестелесен, но он есть. То-то все эти призраки поджидают своего автора, своего творца, чтоб спросить: откуда, зачем и для чего ты вызвал нас, кто мы, за что мы носимся в этом тумане полусна, полуяви, когда конец нашим мучениям? Они спросят: читал ли ты отца Иоанна Кронштадтского о разбойнике и писателе, о том, что разбойник прощен, а писателю никогда не простится? Ну, и так далее...

Но если есть дар слова, если Господь спрашивает не за что-либо, а именно за то, как ты использовал, не зарыл ли в землю данный тебе талант? Но кто сказал, что надо выдумывать, строить драматургию, сталкивать выдуманные характеры, пыжиться возводить их в типы? Надо служить пером Господу. Как? Может быть, так. Например, написать: "Солнце начинало вставать, а мы шли уже четвертый час". Можно добавить, если посмотреть по сторонам: "Роса блестела, свечки на сосне золотились, а соловьи все не умолкали". Конечно, чтоб написать такую фразу, нужно встать за четыре часа до восхода солнца, а напишется само. Это и

второклассник напишет: “Отец Анатолий сказал, что сделаем остановку у родника, но родника в этом году не было, и мы пошли дальше, к заброшенной деревне, и остановились у колодца. Вода в колодце подступила прямо к поверхности земли, и легко было зачерпывать”. И далее по тексту...

В жизни сознательной я прошел три рода отношения к литературе, к ее назначению. В бессознательной жизни, лет почти до тридцати, я был продуктом идеологии: вся литература была обслугой политических и экономических идей, это современная (всякие времена вперед, битвы в пути, гидроцентрали, танкеры дербенты, цементы), а вся дореволюционная классика готовила революцию, сюда и Пушкина записали, да и Некрасова; Достоевский, естественно, объявлялся реакционером и мракобесом, Горький был небожителем, ну, и так далее.

Когда же я начал продираться к самостоятельному зрению, то литературою для меня было *свидетельское показание* пишущего о том, что он видел. Написано о том-то так-то, но я же знаю, что было не так, а так.

Второй этап я прошел, когда сообразил, что никто ничего нового миру не сообщает, что уже все сказано, что не жалко жизнь загубить на пропаганду Достоевского, Пушкина, русской поэзии, былин, русской истории (равно как и мировой). То есть назначение литературы я увидел в том, что она должна служить внедрению в жизнь достижений национальной и мировой культуры.

Но время шло. Занимающийся историей России не может не видеть, что бесполезно заниматься историей России без понимания роли Православия, без того, что с момента прихода в мир Иисуса Христа вся история становится следствием отношения ко Христу. Особенно сейчас. Без Бога ни до порога — эта истина, повторяющая библейское Божье слово о том, что ничего мы, смертные, не сможем сделать без Божией помощи. То есть любое дело, затеянное не во славу Божию, обречено. И теперь, уже насовсем, литература для меня — средство и цель приведения заблудших (и себя самого) к свету Христову.

А всякие сюжеты — это для сытых. Ужасен отзыв для писателя, когда ему говорят: читая Вас, большое удовольствие получил.

Но к делу, к дороге, к молитве... Тот последний день Крестного хода был тяжелым не тем, что мы шли по бетону и щебенке, оглушались ревом моторов, отравлялись выхлопной гарью, нет, не этим. Горе было в том, что Крестный ход заканчивался. Да и ноги были смозолены в кровь, плечи и спина онемели, поясница была, как не своя, после привалов еле вставали, но, Боже мой, Боже милостивый, все мы шли от радости в прежнюю жизнь. И как не хотелось в нее. Помню последний привал у Трифоновского источника, в Трифоно-Успенском монастыре. Печальны мы были, но печаль наша была простительна, она была ради Бога. И вот мы доковыляли до Серафимовской церкви, где начался молебен. Крест наш был занесен и поставлен в алтаре, образ святителя Николая встал на свое место. Сиротливо стало. Я спросил Николая, есть ли ему где ночевать, а он подумал, что мне негде ночевать, и стал звать с собой, к его родственникам. “Нет, ты не понял, это я тебя к матери зову”. Назавтра он уезжал в Великорецкое. На церковном дворе пустело. Я сидел на скамье, чувствуя, что силы мои иссякли полностью, что мне уже не встать. Из церкви пришли и сказали, что начинают помазывать елеем от Гроба Господня. Среди служащих священнослужителей я увидел и нашего отца Анатолия. Смиренно подходили мы за великой наградой, начертанием на лбу священным елеем знака креста — знака того, что мы — воины Христовы.

ТЕТЯ ХАСЯ, ЗАВ. СЕКЦИЕЙ

Ну вот вам — он снова здесь, Сима.

— Большой привет с большого БАМа, — закричал он, — а ведь я тебя точно вычислил! Я уже и у святыни побывал и еду полный цурюк. Но я же не товарищ фашист, чтобы бросать друга в бидэ. Изящно пошучено?

У меня физически ощутимо боль из руки поднялась в голову, стало ломить лоб, затылок. Сима возбужденно продолжал:

— Извини-подвинься, но зачем же достижения науки и техники, зачем колесо? Я уже съездил, ты все тащишься. Такой способ надо на выкинштейн. Но, видимо, у тебя чисто русское, отсталое мышление. Но как же тогда товарищ Гоголь, украинский русскоязычный письменник, с его любовью к быстрой езде? Испортив тебе настроение, я вновь быстро помчусь по рельсам судьбы, ибо сегодня пятница, у православных пост, а у нас любимая передача о поле чудес в стране

дураков. О, прелесть какая — смотреть на Лёню Зондершулера, как он устало и надменно издевается над очередным быдлом...

— И как он тонко и бодро шестерит перед знаменитостями, — подхватил я. — Это что — есть люди, которые жизнь умудрились прожить, рассказывая о новостях в спорте, да еще и такие есть, вроде Поцнера, который открыто радовался бомбежкам Ирака. Но ведь кошка скребет на свой хребёт.

— А сколько ж в Биробиджанской стране евреев? — перевел разговор Сима. — Четыре процента или четырнадцать? Дискуссия была намедни по ящику. Я тут для себя пишу, как я их называю, мудриночки, иду в фарватере за Исаичем, у него коротышки крохотные. Привезли Исаича, вещает умно, стремится в том уверить, в чем все уверены давно. Он что, не видит, какая тут у нас главная партия — катастрофисты, а он все борется с брежневским застоем.

— Сима, — сказал я, — иди, куда хочешь, уезжай, улетай, только отлипни. Но на прощание...

— Нет, нет, нет! — закричал Сима. — А про тетю Хасю, а про Беню, а про Бенину мать. Я отскочу, я отойду, мы знаем, что нельзя русских доводить до пределов терпения.

— Увы, Сима, — сообщил я, — эти пределы опять отодвинуты. Вот доказательство. Шел я мимо пня, на нем газетенка московских сексуальных комсомольцев. Думаю, вот хорошо, пойду по большой нужде, пригодится. Но одно место бросилось в глаза, мне захотелось редактору по морде дать...

— Не тебе одному, — сказал Сима. — Это Пашу только возбуждает.

— Но много ему чести, чтоб его морда коснулась моей руки, даже омоновец и тот не посмел прикоснуться, только через дубинку. Так вот, у меня, у всех русских есть все основания подать на эту бульварную проститутку, я имею в виду газету, в суд. В статье какой-то Барыкиной написано: "Не могут русские сдержать натуры, воруют, подлецы". Подумай, если Паша — русский, то он вор и подлец, как и эта пишущая. А если они не русские, то для них все русские воры и подлецы. Конечно, я легко могу сказать и имею право ответить оскорблением на оскорбление, что не может газета "Московский сексомолец" сдержать своей собачьей натуры — брешет, сука, но что это даст? Органы чувств, особенно совести, у них отсутствуют, еще более озлобятся на "эту страну", я лучше напомню им библейское "невозможно не придти соблазнам, но горе тем, через кого они приходят". Подействует?

— Вряд ли. Спроси их. Вряд ли.

— Ну, прощай.

— А про тетю Хасю? — завыл Сима. — Я все ж таки поэт имени поэта, выслушай и иди. Таки уже да? Так и у жида. Начну без разрешения. Тетя Хася — не моя тетя, она тетя Бени. Бенина мать в Израиле, остальные Бенины кровники соответственно. Беня послан за тетей Хасей. Он-то уже давно там, да ты его мог видеть, когда евреи всех стран играли в КВН, он то ли немецкий еврей, то ли американский, то ли еще от какой страны. Текстики, кстати, у них неважнецкие, я мог бы получше сбацать. Не зовут. Ждем-с. А то у них один наглеж, а искусства — ноль. И этот Беня ломается, как лох последний. Ну ладно, — оборвал себя Сима, — это во мне комплекс национальной неполноценности. Начнем продолжать. Приехал Беня, говорит тете Хасе: "Тетя Хася, без тебя не уеду". — "Еще как уедешь", — отвечает тетя. — "Тетя, меня же вздрючат, — плачет Беня, — кагал не простит". — "Дрючить тебя полезно". — "Но, тетя Хася, у меня для дрюченья есть жена, она-таки уже такая стерва, что прекрасно с этим справляется. Тетя, поедем!" — "Я из России ни шагу назад, — отвечает тетя Хася, — я патриотка России!" А тетя Хася, забыл тебе сказать, зав. любой секцией, ей можно все доверить, она может всем управлять, она-таки ценный кадр. М-да... думал мысль разбудить, — сказал вдруг Сима. — Пока будил, забыл, зачем будил. Ну-ка, ну-ка! — постучал он себя по лбу: — А, да! Любой секцией! Любая же кухарка управляет мужем и государством, но не любая может управлять мебельной секцией или секцией трикотажа, или секцией, допустим, обуви или мягкой игрушки, так, да? Что ты — тетя Хася прибрала бы к рукам пол-Израиля. Не едет! Почему? Объясняет Бене: "Столько дураков, как здесь, я нигде не найду." — "Но погромы, тетя Хася?" — "Беня, ты больной или прикидываешься? Ладно ли с тобой? Какие погромы? Мы тут все свои". Я присутствовал, — гордо сказал мне Сима. — "Все свои, нам обманывать некого, погромы мы изобрели сами. И кто бы о них говорил, если бы сами специально не говорили". — "Но все-таки, тетя, а вдруг?" — "А на вдруг у меня три Иван Иваныча куплено-перекуплено, и два Петра Петровича в

долгах как в шелках. За пазуху засунут, да еще будут спрашивать, тепло ли мне там. А Израиль, Беня, место теперь арафатистое, хоть он и семит первостатейный". В общем, не поехала тетя Хася, Бене велела ехать и передать, чтоб богатые евреи поднатужились и сделали свое, еврейское телевидение. "Как, а разве оно уже не создано?" — спросил Беня, и я спросил. "Да, но не до конца, — сказала тетя Хася, — местное население долго терпит, но сколько же можно смотреть одних нас? Надо своим свои передачи. Конечно, для удобства праздника мы конституцию велели назначить на день хануки, но местный народ понимает это не весь с одобрением". И тетя выгнала нас, прекратила доступ к своему телу. На сегодня заканчиваю. — Сима сделал ручкой.

Я ТОГДА ТЕБЯ ЗАБУДУ, КОГДА ЗАКРОЮТСЯ ГЛАЗА

Все посылается нам не случайно и во вразумление. Любая встреча, любая поездка. Сидел у обочины какого-то поселка, подошла тихо маленькая старушка в плаще и резиновых сапогах. И как-то сразу мы с ней заговорили.

— На старости лет в Освенциме живу.

— Как это? Это ж не у нас.

— У на-ас, — протянула она, — у нас. У крематория живу, палят день и ночь. Завод и завод. По графику едут, очереди никакой, все к печке, та все прожирает, только дым столбом. Днем с фамилиями жгут, ночью бомжей свозят. Валят, как в прорву. Вот за молоком ездила да автобуса жду. Вы тоже?

— Нет, посижу да дальше пойду. В Лавру подвигаюсь.

— И слава Богу! — нисколько не удивилась старуха. — От меня поклонись, — перешла она на ты. — На, на свечку.

— У меня есть. Как имя ваше?

— Нет, за свечку надо платить самому. Прасковья, конечно, я, Прасковья. У меня, ведь, сынок, горе, такое горе, так навалилось, и все навалка не кончается. У меня ведь сына сожгли, сына Юрочку, всего-то сорок восемь лет. Звала всю жизнь Юрочкой, а надо поминать Георгием. Он уехал в армию восемьдесят один килограмм, а вернулся — купили костюм сорок шестого размера. Говорит, что ж ты меня, мама, не выучила пить, курить, ухаживать за девушками не умею. Другие — пить, в карты играть, развлекаться, я — работать. Больше всех и нахватал рентгенов. Без меня приговорили сжечь, мне пепел выдали, я его к мужу подсыпала. А его ли выдали, не его ли, мучаюсь. Мужа легче похоронила, а сына... не приведи Бог. Как ты рассудишь — мой это грех?

— Без вас же решили.

— И вот мы, старухи, сколь нас живет около этого ада, собрались в кассу взаимопомощи. Нам никто не поможет, нас в костер свалят, только кости сбрякают. Мы с пенсии вносим. У меня на эти новые деньги моего счету не хватает, я отделяю примерно половину, лучше я вся в ремках буду ходить, но такого страху — жечь — не дай Бог. Всыплют в пакет, да в стену, о-ой!

Вдалеке показался автобус. Мы встали.

— А надпись отцу он сам сочинил, Юрочка. "Как много нашего ты унес с собою. Как много своего ты нам оставил". Так теперь и лежат под этой надписью. Да если бы по-людски. Жгут людей, как собак заразных, не боятся.

Старухи, милые старухи, думал я, вновь расшагавшись, вновь включаясь в преодоление пространства дня, перешедшего за полдень, милые старухи, вами все держится. А ведь я съездил в обе свои поездки, и на север, и на юг, и за границу, и еще на юг, в Крым. Везде, везде, все держится старухами. "Кабы не было воды, не было б и кружки, кабы не было старушек, кто бы пел частушки?" — как спели мне старухи в далеком Подосиновском северном районе. И, конечно, спели, что "седая борода не годится никуда", и, конечно, доморощенные: "Мы на пенсию ушли, унывать не будем, все равно у самовара собираться будем", вспомнили хрестоматийную "Балалаечку": "Балалайка, балалайка, балалайка синяя, брось играть, пойдем гулять — тоска невыносимая", но более всего запомнилась старуха, которая топила огромные печи в огромной церкви. Шефы с завода сварили и привезли три чугунные печи. Приволокли на санях, а уж как затащили в церковь, дай Бог им здоровья, можно только вообразить. Стояли холода. Эта старуха в одиночку пилила огромные бревна, колола с помощью клиньев и кувалды на поленья и топила по очереди. Одна печь у алтаря, другая посередине, третья ближе к выходу. Было в церкви градусов десять. Мне в моем крепком кожаном

пальто было знобко, а старуха в одной изодранной кофте ворочала обледеневшие поленья. И чистосердечно радовалась, что я приехал так издалека, из самой Москвы. "Как хоть вы там живете, такие страсти, народ убивают, это ведь до чего дошло". Свечечки мои, которые продавала все та же старуха, добавили, наверное, тысячную долю градуса тепла.

КАК КРЕСЛАМИ МАХАЛИСЬ

Очень помогали в пути ржаные сухарики. В этом я и на крестном ходу убедился, дала мне ржаных сухариков в дорогу раба Божия Надежда. Сухарик маленький, а дает ощущение сытости надолго. Вот и сейчас я полез за сухариком и нащупал вдруг твердые листки бумаги. А! это ж рукописи, которые мне отдали просто так на ярмарке достижений демократии. Их там никто не брал. Выбрав для отдыха брошенный навеки бетонный столб, я взялся за первую. Ого! Да это же не так себе, это Борис Шергин... *"Как наш и американский начальники креслами махались не глядя"*.

"Американский руководец и наш анператор стали очень даже большими знакомцами, не разлей вода. Уж ежели когда в разлуке, то раз по пять в день перебрякнутся. Наше величие денег не считат, американец жмется. "Тебе звонить никто не запрещат, ты парламет в одночасье расшшолкал". — "Ты же и поощрил, — наш отвечат, — в интересах демократии и переделки армии для войны с людями. И ты расшшолкай, шта ли у тебя танков нет, не все же для устрашения планеты распихал". — "Танки-то есть, — тот отвечат, — но не поймут меня, сгонят". Наш совершенно не понимат американца. За имя тянемся, по имя равнямся, чего тут робеть. "У тебя шестерок, что ли, нет, народишка-то этого чернильного и говорящего? Пусь за месяц, много полтора втемяшат необходимость суровых мер".

Ну, поговорят, трубки покладут, идут играть, один на саксофоне, другой в теннис, мяч с оппозицией перебрасывать. Опять стоскуются:

— Ну, чего? — наш вопрошат, — парламент, или как там, все еще шеперится у тебя?

— Крику, как дыму, — жалуется американец. — На трибуну иду, только что не заплевывают. А надо за улыбкой морды следить, караулят для кино и портретов. Где покислей скосочебенился, тут и блицнут.

— Не знаю даже, как конкретно вообразить, — наш недоумеват. — Мои шестерки сколь у вас любят пастись, доносят: кругом и везде счастье в твоей Америке, нон-стоп проблем. Я ж сам приезжал, видел: в любое время дня и суток выпей и закуси, это, брат, большой вери гуд для употребляющих. Я бы в момент у вас порядок навел, все б по струнке забегали.

Американец за эти слова поймался и нашего умолят побыть за него хоть месяц. Ну, наш видит, что в своем хозяйстве порядок, народишко тихо вымират, решил Америке помочь. Но договорились такой грим сделать, будто ничего не меняется, чтоб везде думали, что начальник прежний и на месте. Договорились жен не брать, такие ли у обоих хичные фефелы, хоть отдохнуть от них. Ночью перелетели, сели в кресла и сидят. Нашему в Америке подписывать нечего, знай пей, ихнему у нас порато труднее — однех указов плодится по сотне в день. Но они же ж не дураки себя выдавать, печатки с подписью друг дружке оставили. Оставили и по десять речей. Наш выступат, ревет непонятно, ихние газетенки сообщают — ангина и затмение голоса. А раз непонятно, чего ревет, то чего и возражать. Парламент заскучал, кворума нет. Начальник к народу на лужайку не ходит, всех с этой лужайки велит гоу хоум, сам на лужайке лежит, хрюкат.

Друго дело — американец у нас. Вертится всяко. Журналисты пишшат от восторга жизни — начальник по-ихнему, по-американски заговорил. Но пишшали недолго: американец вытребовал цифры, сколь и чего сюда волокут из Америки, возмутился ужасно. Это, грит, такое дело не пойдет, чтоб народы травить, это, грит, мои сенаторы на меня жали, чтобы в Россию все залежалое сбагрить, а я, грит, убедился, что человеки здесь отменно хороши. Встречают, стул поддерьгивают, любезности оказывают. Прекратить, грит, таку-растаку торговлю. Перестать, грит, волокчи за рубеж стоящи товары, заколачивай, говорит, ворота, жить будем обстоятельно.

Но это он не сам дотумкал до такого патриотизма, это его хорошая девушка Дуся навела. Он ее на приеме полюбил и думал — эта русская краса-

вица моя добыча. А та ему по рукам. "Это, — говорит, — в Америке все покупается, и ты со своими брошками мне не льни. Я или по любви, или никак". В три дни узнала она все секреты маханья креслами и стала американцем по-русски руководить. Так вот.

Как глазом моргнуть, месяц мелькнул. Созвонились. "Лежу на лужайке, — наш сообщат, — все в пропорции, вот только ностальгия, мать ее так, заедат. Кабы не она, я бы еще желал лежать". Американец в ответ чуть ли не в обмороке — не хочет взад-назад: Дуся причина.

Все ж таки надо. Нашего вернули в состоянии, близком к песенному, стали на том же самолете, чтоб горючее сэкономить, американца выпихивать. Он упирацца, рукам-ногам скот, верешшит, зубам скырчагат: мне-ка в Америку неповадно. (Дуся же несогласна на роль любовницы при законной жене.) Нашему предлагат насовсем разменяться. Но наш тоже кой-чё раскусил, говорит: "Я за низкость почитаю муравейником управлять, мне в России желательно и любо у самовара встречать комариные закаты при концерте естественных соловьев".

Увезли американца. Пошел, бедный, выступать, его захлопали и затопали, с должности стаскивают — Россия очнулась, американцев выпиныват, лежалый товар отринула.

Вот какие Дуси бывают".

ВТОРАЯ РУКОПИСЬ

была на старинной желтой бумаге и именовалась *"Список наставления жене сиречь супружнице како надлежит во цвете добродетелей слыть и како подобает супруга для его же пользы содержать"*.

"После венчания слова о том де да убоится жена мужа своего следовает забыть и озадачить себя артикулом быть крепкою шеею, вращающею главою овамо и семо и каково заблагорассудится. Паче всего изображать пред мужем повиновение во всех экзицерциях времяпровождения, спрашивать совета умильно, но поступать всегда напоперек, потом говоря, что ежели б было поступлено по мужеву, то вышел бы гран-конфуз в свете, лихость кошельку и болесть телесная. И не трудясь отысканием доказательств сему утверждению, поступать всегда по прихотям, содерживая мужа в таковой мысли, что его ощастливили, а он, коварный, за то жену хуже всех водит, и жизнь ее им, злодеем, загублена. Ежедневно вставая от ложа, объявлять о всевозможных слабостях и напастях, коим виновник не кто иной, как благоверный и жестокосердность его.

В продолжении дня постоянно находить причины расстройств, коих содетель муж. Все неурядицы во всем объявлять от мужа проистекающими.

А буде муж, не возмогши пережить свое коварство, учнет пить в чрезмерную плепорцию, то следить, чтоб жалование при том нес исправно. Прииде из присутствия, ползя по ковру ужеобразно и объясняя сии маневры робостию топтати семейственный уют, обязан муж нести оброк хотя бы и в зубах. Следует перечесть гривны и полушки, взимая их без остатка. При малости их или недостаче бить себя в перси, а мужа в ланиты с криком великим: горе мне, злощастной, хотя мя муж уморити, раздети, разути, ославити. Таковое велегласие удобно свершать и при детях, коим внушать, что все доблести в них суть матернии, все же изъяны относить на мужево сродство.

Наипаче со всевозможной зоркостию следить следует, дабы не бе бы бабы какой посторонней у мужа, кроме себя единственной.

Произведя здравозахоронение мужа, выждать срок приличный таковому ущербу, явиться в свет в темном, к глазам идущем наряде, а новому мужу объявить: муж предыдущий был тираном, сатрапом, Навуходоносором и Аттилой, загонял меня, нещастную, во гроб. Или же, по обстоятельствам, предаваться плачу, говоря, что покойник был страстнопламенным, сгорел от любви, дабы этим заражая к повышению страсти нового".

Невольно вспомнил я, как на Крестном ходу одногодок мой Аркадий сказал старинную присказеньку: "Ох, бабы вы бабы, если б ума бы у вас было побольше кабы, вот бы не квакали бы, как жабы, были все Божьи ра́бы". Подивишься женской природе: такие хорошие девушки и такие вредные жены. Такие вредные жены и такие золотые старухи.

Спрятал я рукопись в карман рюкзака, достал термос и расположился попить чайку. Ноги, однако, постанывали. Успею ли за день одолеть дорогу? Бог труды любит, надо одолеть.

"СЫН, Я УТРОМ ПОВЕШУСЬ!"

Если б жизнь моя была в другое время, я б, может быть, стал священником. Я оттого так подумал, что мне обязательно все всё рассказывают, вываливают все свое горе на меня, загружают, как нынче говорят. А так как, по казацкой пословице, каждая хата горем напхата, то наслушался я за свои годы выше головы и давно захлебнулся в чужом горе. И вот и сейчас, будто все еще мало, вывернул из-за угла и попросил спичку немолодой, седой мужчина. Закурил:

— Сколько мне лет, как думаете?

— Пятьдесят пять?

— Сбавьте на десять. И кто довел, кто состарил? Родной сын.

Я вздохнул, понимая, что надо садиться на ближайшую скамью и слушать.

— Сын у меня игрок и вор. Я понимаю, что это мне так и надо, но за что? Разве я такой был? Подумайте, свой дом, свой дом обкрадывал!

— Если б чужой, было б легче?

— Он довел, что мне легче от позора повеситься. Я ему так и сказал: утром повешусь.

— Когда, завтра? Давайте по порядку.

Мужчина заговорил, как будто давал показания:

— Очень прошу не подумать, что сын довел меня до таких мучений оттого, что мне жалко украденное, вынесенное из дома. Мне страшно, что он погибает. Но ведь даже одно перечисление вещей утащенных — это целый список. Воровал не год, не два, три. Еще недавно вытащил у жены деньги на ремонт зубов, а через неделю деньги, отложенные на еду, на черный день. И лежали-то на дне сумки, в черной бумаге, ведь приходилось все от него прятать, ведь это заболеть можно — спать, кладя под подушку сумку. Но все равно выслеживал и крал. "Как ты лезешь в кошелек, как же не трясутся руки? — спрашивал я. — Тянется рука — укуси ее!" Молчит, моргает, проходит день, два — крадет. Дни зарплаты изучил, настораживался. Первый в роду такой! И в женином, и в моем. Я говорил ему, что нельзя спички горелой, неспрошенной, брать, что только ни говорил! А бить поздно. Раз я все-таки напинал его, — это когда человек десять подростков явились к нему за долгом, нам показали расписку на много тысяч. А у них, у подростков, законы самые сволочные, долги всегда с процентами, у них даже называется "ставить на деньги". Должен десятку, как называют десять тысяч, — не отдал вовремя, должен двадцать и так далее.

Сребролюбие — мать всех пороков. Я ему всяко вбивал: деньги ведут или к крови, или к тюрьме, говорю, как в стену. Для них деньги — все. Кругом деньги. Реклама, банки, телевизор — все о деньгах. Одеваться надо модно, а не как лох последний, как они выражаются, жрать в "Макдональде", травиться кетчупом. Говоришь, что от этого гибель желудка — бесполезно. Курит давно. Курит самые дорогие, выламывается перед девками. Друзья — шпана на шпане, кто из тюрьмы, кто перед ней, кто под следствием. Еще и гордятся, приблатненность такая. И какие-то все время игры, все время на деньги, проигрыши страшные. Чем отдавать? Не работает же, значит, ворует. Воровал дома. Начинал с колготок, потом пошли иконы, книги, шубы, шапки, драгоценности... Разве мы когда смотрели, что и как лежит. Заметили — ахнули. Но так искусно врал, так плел истории, что если не отдаст — убьют, а то друга спасал, и все время врал, что дал на время, что вернет, выкупит. Связался с перекупщицей краденым, давала деньги под заклад и под проценты. Она же первая и заявила в милицию, когда он взял спортивный пистолет и у него его отняли или он проиграл. Спекулянтка готова была его посадить. К ней ушло очень много.

Только не думайте, что я из-за вещей, нет, гибнет человек, вот какая пропасть. А эти его отъезды! Бегства с друзьями на неделю, на десять дней. А наши ночи, наши слезы. Там, в поездках, было нечисто. Унес видеомагнитофон у соседей под предлогом переписи фильма, продал спекулянтке, врал, что выкупит. Деньги за выкуп просадил, куда — и сам не помнит, а может, врет. Соседи заявление в милицию, а он уже там на учете. Мы стали гасить долг, а уже все жилы вытянуты, все в долгах. Так он приготовленные деньги украл и с друзьями на них уехал. Говорил, что там ему обещали орден Ленина. Для продажи, конечно. До этого украл орден у покойного деда.

Эти страшные ночи! Где он, что с ним? Этот страх подойти к телефону, этот мат, который раздавался, когда разыскивали его по притонам. Боже, откуда его

вытаскивали! Какие хари, какие непотребные девки, вот куда все уходило из его рук, все его куртки, все нажитое не им.

Я пронадеялся на два момента в его жизни — на гимназию, которая называлась православной, а оказалась хуже ПТУ, и на церковь, куда его позвал курящий регент церковного хора. Эта церковь была не из лучших по тем людям, которые около нее кормились. Я приехал на Пасху, я пасхальную ночь встретил в своей церкви, днем поехал к сыну — что я увидел, это страшно. Они пировали в вагончиках около церкви. Яйца в коробках стояли на заплеванном, забросанном окурками полу, какой-то местечковый табор. Сидят, лопают кагор, кощунствуют: "Патриарх давно уж в стельку!"

Этой церкви из-за границы валили ношеное барахло — гуманитарные подачки. Конечно, мы не могли одевать сына, как ему хотелось, а хотелось ему шикарно, вот он и зарился на тряпки.

И еще появилась в нем такая похвальба перед дружками, перед девицами особенно — рубаха-парень, при деньгах, девицы без ума, на деньги падкие, тем более что по радио и телевидению круглосуточно взахлеб о деньгах, о долларе говорят — у дикторов слюни текут, где тут подросткам устоять.

Тут биллиард, тут ночной клуб, тут угон машины, тут полная отсталость в учебе, такая, что даже из гимназии выперли, еле-еле устроили в школу, в хорошую, через год вышибли и из нее. Еле-еле устроили в вечернюю школу — не учится по-прежнему, так, через пень-колоду.

Глядишь в глаза: "Ты понимаешь, что ты гибнешь?" Не понимает. Сотни дней провел не дома, с дружками, там, там его авторитеты, там его интерес. В этих подвалах, на этих чердаках, страшно вспомнить. Дружок попался на краже, загремел под суд, пожалели, достали справку о работе, мать врала суду, что сын хорошо к ней относится. До того хорошо, что от него деньги в муку прячет, и там сыночек находит и выгребает.

Не понимал сын наших слов, слез, болезней, не понимал — и все. Наша смерть казалась ему естественной, и, думаю, он не особо бы расстраивался, он говорил где-то услышанные разговоры о наследстве, о стоимости квартиры. Деньги, деньги, деньги — все мерилось на деньги. Но ведь и то: выйдешь на улицу — торгаши, шелестят зелеными, по телевизору только о деньгах, о процентах, кто сидит по ресторанам? Кто жрет и пьет всех лучше? Денежные люди. Наворовали, награбили — молодцы, умеют жить! Вот какая психология у него появилась. Такие страшные времена мы прожили, жили в обворованной квартире, жили со слезами отчаяния, с молитвой, только она спасала.

Вы не думайте, я понимаю, что самоубийство — грех, и грех смертный. Это значит — и себя погубить, и душу погубить. Но вот однажды я подошел к его кровати; он спал. В комнате запах табачища и пива, он тяжело дышит, голова как-то завернута, стрижена под безобразную моду, под какого-то певца-уголовника, жвачка прилеплена к телефону в изголовье, пистолет-хлопушка на стуле. Кто это? Сын мой? Нет, чужой, глухой человек. Он не слышит нашего отчаянного голоса, он не понимает, что гибнет или уже погиб? Проснулся — глаза пустые, выцветшие, только об одном думает, как добыть денег и как скорее уйти из дома.

Плохо я воспитывал, сам виноват. Как плохо? Пальцем не трогал, но так же и меня воспитывали. Ведь продолжатель рода, ведь в роду моем и материнском только труженики, воины, врачи, учителя. Говорили ему много раз, что позорит род — бесполезно. Сглазили, говорят, порчу напустили. Но есть же пост, есть же молитва, есть же вода святая, нет, ему не хочется вставать на пути праведные, ему медом намазаны бильярдные, чердаки и подвалы, кафе и притоны. Он там — герой, а физику учить, языком заниматься — скучно. Говорили, что будет шестеркой у какого-нибудь вора в законе, что только ни говорили — не действует. Деньги в глазах, только о них мысли и разговоры.

Смерти нашей желает, вот еще что. Все у нас, как дурной сон, все страшно и неостановимо, и не можем проснуться — сын погибает. Теряем сына. Теряет он сам себя и не понимает этого. Все друзья его не работают, не учатся, родителей не уважают, зачем и он нас будет уважать, когда какой-нибудь его дружок матери говорит: "Чтоб ты сдохла!"

Мы даже до таких мыслей доходили, что пусть бы его посадили, пусть бы он посидел и подумал, может, какую специальность получил бы. А то ведь он думает, что воровство из своего дома не считается.

А эти ночи без сна. Где он? Поймали, мучают, убили? Он состарил нас раньше времени. Как жить, как людям в глаза смотреть: сын — вор, сын — куряка и

пьяница. Хвастун и обманщик. Да и человек ли он? Одни животные инстинкты, одни животные наклонности: пожрать, поиграть, покурить, поваляться перед телевизором. Но и животным не назовешь, животное не курит, не пьет, не врет. А он врет постоянно, врет, даже когда и врать не надо. Есть ли в нем хотя бы остатки совести?

Уже и воровать нечего, пришлось даже какие-то вещи к людям перевезти, позор-то какой!

Говоришь с ним о работе, по-хорошему говоришь, мол, и деньги у тебя будут, и человеком становятся через работу и учебу — не идет, ленится и боится. Не хочет работать, хочет жрать, пить и курить. И ничего не делать. Сытый, надменный, хитрый, трусливый. Прижмешь его, вроде для видимости позанимается, чтоб отвязались, потом опять к дружкам. Из двух школ выгнали с позором, за полную неуспеваемость почти по всем предметам.

И даже жалко его, так и идет его существование. Сердце его окаменело от вранья и жестокости, легкие почернели от дыма, голова черствеет от тупости занятий, один желудок растет да лживый язык. Отольются ему наши слезы, отольются. Пока ему на наши страдания наплевать. Но хотя бы Бога боялся, ведь главный его дружок, который, в основном, с ним воровал и проедал, пропивал, прокуривал ворованное, уже был под судом, этот дружок — крестный сын нашего сына. Крестник ворует и пьет с крестным отцом, страшно! Им кажется, что захотят — и начнут жить по-путевому, но давно не сигарета, не удовольствие у них раб, а они рабы греха, грех ими командует. Вот так и взрослеют. Скоро тюрьма или армия.

Я хочу, чтоб он скорее получал паспорт и уходил из дома. Что от него дому? Какие радости, какие заботы? Одни окурки да дерьмо. Но так просто выгнать нехорошо, надо дать и наследство. Дам и наследство. Перечислю все уворованное, а это — гигантские суммы, и подарю. Пусть не думает, что родители жадные. И не вещей нам жалко, а гибели сына. Он никому не нужен.

— А давайте в суд подавать, — сказал вдруг я. — Ваша вина большая...

— Да я же все работал и работал, не пью, не курю, — чуть не расплакался мужчина, — жена полумертвая, на двух работах...

— Но взыщется не за работу, а за детей, так сказано. Но все-таки, давайте в суд. Конечно, этим сволочам из кино и телевидения, радио и газет хоть в глаза плюй, но чтоб порядочные знали, что не только на Страшном суде, где растлителям не оправдаться, но и здесь мы их знаем. Гореть в огне табачным бизнесменам, гореть в огне рекламщикам спиртного, гореть в огне снимающим порнографию, гореть в огне негасимом тем, кто дает деньги на всякие конкурсы красоты. Смотри, сошлись два нормальных слова "конкурс" и "красота", их поженили, и родились дети: разврат и проституция. А уж как выли демократы на тех, кто был против: ханжество, пуританство, нет, не уйти им от Божьего суда, но и от суда мирского нельзя освобождать.

— Несерьезно это с судом, — сказал мужчина. — Если уж Конституционный разогнали, изнутри вдобавок просучили, чего ждать? Эти же демоняки — они же те же коммуняки, сколько ж еще пройдет, пока наворуются да детей приучат воровать. Правда, детей они подальше убирают, по Америкам. Но сын, сын гибнет! Сын! Что ему сказать? Вот сейчас, сегодня! Вроде все сказал — стена.

Я представил этого парня своим сыном и содрогнулся. Любить сына больше жизни и видеть его гибель. Это все равно, что сын тонет, а меня связали, я не могу кинуться на помощь и вижу, как он тонет.

— Сын, милый сын, кровный мой, наследник мой, в тебе вся моя надежда. Единственное, что есть у меня — это сын. Пусть голод, пожар, одиночество, лишь бы сын стал человеком. Сын, послушай меня три минуты. Ты скажешь, что все кругом так, что кругом воруют, пьют, курят, торгуют и никого не боятся. Но разве же всегда было так? Это в России никогда не поощрялся разврат, хотя и был всегда, но неужели ты не хочешь спастись, неужели думаешь, что душа смертна, нет! Ей-то за что мучиться за гробом? За твои удовольствия. Ты свою душу, данную тебе от Господа, ангельски чистую, зачернил своими делами, закоптил дымом, осквернил матерщиной, опутал паутиной греховных дел и помыслов, пропитал нечистотой поступков. Как все будет отскребаться, кем? Неочищенная душа будет гореть не сгорая. О, адский пламень, о, червь адский!

Нет, сын, не все в скверне услужения деньгам и похоти. Ты скажешь — плохое время на дворе? Будет еще хуже. И за что нам лучшее время, за какие заслуги? Именно тебе послана от Бога возможность спастись. Ты — любимый у

Господа, потому что ты — единственный для него. Господь все Тот же, что был при Сотворении мира и что будет при Страшном суде, Господь долготерпелив, но и грозен. Вспомни, как вздрагивает всякий, когда вспыхивает молния и ударяет гром, как сотрясается земля и "прелагаются горы в сердца морские", как исчезают царства и цари, и ты думаешь уйти от Суда? Вспомни Вавилон. Стены двадцать пять—тридцать метров толщиной, в высоту до ста метров, и что уцелело, что дошло до нас? Песок и ветер. А Карфаген? И где его мощь и слава?

Но если очистится твоя душа, то при последнем издыхании она не даст тебе упасть в бездну, вынесет, ибо будет спасена тобою и спасет тебя. Слабо сказано, не доходит? Закрыто ожестелое сердце для слышания. Ну тогда молись, отец, молись, мать, материнская молитва со дна моря достанет.

И еще долго, уже в одиночестве, шагал я и все думал о горьком горе нашем, об отторжении родителей от детей. И много ли надо — разбудить инстинкты, внушить, что не стыдно пить и курить, внушить, что животное сношение — любовь. Вот и все. И вот сказал бы я на суде: "Где же наши психологи и где эксперты причин преступлений? В любом, особенно подростковом, преступлении есть следы внушения виденного такого же преступления в кино и по телевизору. Телевизор учит преступлениям, наркомании, разврату. С наркотиками так боролись газеты, что подробно рассказывали способы их добывания и приготовления. Как убивать, какими предметами, как прятать следы преступлений — это все есть в нашей демпрессе. Горе соблазняющим!"

И шагал я, и шагал, укрепляясь молитвами и окружаясь облаком раздумий.

БЕЗ БОГА НИ ДО ПОРОГА

У русского народа не только летописи, предания, былины, легенды, песни правдивы и истинны, но и сказки. Вот одна из них.

Митрополит Московский Алексий к числу своих подвигов еще известен и тем, что исцелил татарскую ханшу Тайдуллу и этим приобрел для Руси большие блага. Но дело в том (дальше я пересказываю то, что слышал в Ельце), что Тайдулла по происхождению русская. Это совсем не удивительно: половиной Европы управляли русские царевны и королевы, красота русских женщин вообще все века держит эталон женской красоты, идеал ее, удивительное в другом — в уме Тайдуллы. Она, по рассказу, была женой елецкого дьячка, убитого в татарском набеге, и, взятая вначале в наложницы, потом стала любимой старшей женой хана. Забыт был дьячок или нет, не знаем, но, видимо, и хан был полюблен, и родина не забыта. Как женщин судить, это ведь или они сами или кто-то за них придумал пословицу: "увез силком, а стал милком", тут вообще загадка. А вспомним, как Потемкин, населяя Крым, привез с собой девушек из русских губерний, выстроил солдат и, проходя мимо строя, говорил: "Ты, братец, эту бери, ты, служивый, на этой женишься, ты, милок, вот с этой гнездышко вей, а ты, орел, эту орлицу веди под венец...". И что же? И ни одного развода, и детишек полон двор, и обошлись без социологов, сексологов и психологов.

Итак, Тайдулла стала слепнуть и ослепла. Никто не мог вылечить ее. Вспомнили о митрополите, широко известном тогда. И не просто вспомнили, а именно Тайдулла требовала позвать его. Чего не сделаешь для любимой жены, за митрополитом было послано.

Вызов в Орду означал, мог значить, то, что хотят выманить из Москвы и умертвить в Орде "главного попа", как называли митрополита. Ведь так и писал хан Чанибек великому князю Иоанну, отцу будущего Димитрия Донского: "Мы слышали, что небо ни в чем не отказывает молитве главного попа вашего, да испросит же здравие моей супруге". Но и это могло быть хитростью. Уже вызывали и мученической смертью убили князей Тверского и Черниговского, оба Михаилы, и боярина Феодора, уже отравили медленно действующим ядом Александра Невского, теперь же, боясь огромного авторитета Алексия, могли покуситься и на него. Напомним, что Алексий — крестный сын Ивана Калиты, современник и сподвижник преподобного Сергия Радонежского, воспитатель великого князя Димитрия Донского.

Перед отъездом митрополит отслужил молебен у гроба митрополита Петра. Вдруг сама собою зажглась свеча. Именно ее затеплил Алексий, когда уже в Орде начал служить молебен с водосвятием у постели слепой ханши. Она всем велела уйти, а митрополиту рассказала, что она из Ельца, русская, что притворилась

слепой и специально вызвала митрополита, чтоб вместе с ним подумать, что можно сделать для Руси.

Ханша стала прозревать. И прозрела. Чанибек был рад золотом митрополита завалить, но митрополит не взял золото, своего некуда девать, а только просил для московского князя особых ярлыков.

Всегда вспоминаю Елецкий собор, огромный, но такой легкий на взгляд, что кажется не построенным, а спущенным на время с небес. И такое ощущение, когда слышишь высокие слова: "Блаженни плачущие, яко тии утешатся. Блаженни кротции, яко тии наследят землю. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся. Блаженни милостивии, яко тии помилованы будут. Блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блаженни изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное...", что так и кажется — вот-вот храм с молящимися незаметно и плавно отойдет от земли и будет взят на небо. Мы же у черты последних времен, "близ при дверех" Страшный суд, и только верные будут "исхищены" от соблазнов мира.

Тяжко жить в миру в последнее время. Демократы суть бесы, обольстившие легковерных. В последние дни, по словам апостола Павла: "...люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, сластолюбивы..." Это из послания к Тимофею. Все так и есть, как предсказано.

Грешная наша жизнь. Земля, хотел сказать я, но земля ни при чем. Как земля дичает без ухода, так и душа человека приходит в запустенье без стремления к Духу Святому. Без Божьего промысла ничего не свершалось на Руси. Без Божьей помощи.

Жива ли была Тайдулла ко времени нашествия Тамерлана? Приезд к ней митрополита Алексия был за двадцать лет до Куликовской битвы, а Тамерлан пошел на обескровленную Русь в 1395 году. Казалось, победа его — дело решенное. Полмира у ног, столицы народов Азии завоеваны, сожжены, разрушены, впереди Москва. Обезлюдевшая в битве с Мамаем, разоренная два года спустя Тохтамышем, что она для Тамерлана? Но несут Крестным ходом из Владимира в Москву икону Заступницы рода христианского Владимирской Божией Матери. И там, где встречали ее, там сейчас Сретенский монастырь. И в это же самое время Матерь Божия является Тамерлану и повелевает ему уходить с русской земли. И в страхе ушел Тамерлан, ибо знал он, как велик Бог христианский. Именно так кричали отступавшие с поля Куликова мамаевы воины: "Велик Бог христианский".

И за что мы ни возьмемся, к какому событию русской истории ни обратимся, всюду видимые следы Божией милости к России. Свобода выбора, данная нам, не всегда использовалась нами для нашего спасения. Да и бес силен, обольщал всегда скорыми благами, сирены его сладкими голосами звали Русь идти по западному пути развития. Господь долго терпит да больно бьет, говорит русская пословица. Также вспомним и народную мудрость: чем заболел, тем и лечись. И еще одна истина, тоже в строку: "Кого Бог любит, того наказывает".

Прельстила нас Франция Вольтерами да Руссо, да манерами, вот вам и получайте — Наполеон идет французских лошадей в Русские храмы загонять. Захотели рая на земле, побежали за бесами марксизма — получайте революцию. Захотели демократии — получили.

Божия милость не оставляла нас ни в смутные времена, ни во дни сражений последних времен. Может быть, даже и для того была послана последняя война, названная не случайно Великой Отечественной, чтобы все поняли — без веры в Бога не победить. Ведь к началу войны Церковь не имела даже своего счета в банке, не имела юридического лица, была гонима и угнетаема.

Но разве не Господь сохранил среди превращенного в руины Сталинграда единственное здание — церковь Казанской Божией матери с приделом в память преподобного Сергия Радонежского. Так же и в Старой Руссе — город в развалинах — храмы стоят. В блокадном Ленинграде устояли все храмы.

Митрополит Ливанский Илия Салиб, скорбящий о бедах России, горячо и долго молился Божией Матери, прося Ее заступиться за нашу страну. Для молитвы он уединился в подземелье. И, наконец, его молитва была услышана, и Божия Матерь возвестила, что не будет победы у России, пока не откроются закрытые храмы, пока не выйдут из тюрем священнослужители. Через русское духовенство митрополит связался с правительством СССР. В осажденном Ленинграде был

отслужен молебен и икона Казанской Божией матери была обнесена вокруг города — фашисты отступили.

Икона была привезена в Сталинград, икона шла вместе с войсками до границ России. Открылись духовные семинарии, духовная академия, возобновился выход православного журнала. Одерживали победы танковая колонна "Димитрий Донской", воздушная эскадрилья "Александр Невский". Священнослужители шли с войсками. Теперешний старец Троице-Сергиевой Лавры Кирилл, бывший легендарный сержант Павлов, рассказывал нам, как много бойцов в тяжелые минуты приходили к Господу, как многие, особенно, например, в Курской битве, видели над войсками небесное воинство.

А Курская битва на Прохоровском поле была такая, что вода из колодцев ушла на целый год и привозили воду издалека. А в то, первое утро после победы, местные жители помогали убирать и свозить в братские могилы убитых. Мне рассказывали старухи в Прохоровке, что все наши воины лежали лицом к небу, а все немцы лицом вниз. Сейчас в Прохоровке возводится храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно в день их памяти, двенадцатого июля, была битва.

А война закончилась в Пасху сорок пятого, на Георгия-Победоносца.

Но когда, уже стариком, Илия Салиб приехал в Россию, он попал во времена хрущевских гонений на Православие. Храмы вновь закрывались, сжигались, превращались в склады, мастерские, просто в руины. Сохраненные для показа иностранцам, преобразовывались в бары и рестораны. Бесовская хитрость превращала алтари в отхожие места, языческие капища — "вечные" огни из газовых горелок зажигались на местах церквей и часовен. Но все равно сквозь слезы старец говорил "Россия не погибнет, Россия спасет мир".

Верить в Россию значит верить в Бога. Верить в Россию любящим ее легко: будет Россия, будем и мы, не будет России, зачем тогда нам жить?

Но она будет. Иначе зачем у нее такое великое прошлое, иначе зачем бы так любила Россию Божия Матерь, наша заступница пред Господом?

РУССКИЙ СТИЛЬ

Как и всякий другой, русский стиль имеет историю вопроса. Сама русская история создавала основу его, христианство его одухотворило. Историков древности, со страхом и любопытством бросающих взор на славянские земли, прежде всего изумляло отношение славян к смерти. Пушкин не случайно взял одним из эпиграфов слова поэта средневековья о нас: "Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому не больно умирать".

Это отношение к смерти, которое есть вообще главное в жизни человека и нации, и выделяет русский стиль из других. Наша, русская, жизнь не здесь, она в Руси небесной. Но это не значит, что русский стиль предполагает пренебрежение к жизни земной, нет. Земная жизнь есть пропуск в жизнь небесную. Чем выше качества души, тем выше она вознесется. Такие рассуждения, подкрепленные примерами, становятся убеждением русского художника и питают его в его дороге.

Но стиль вообще вряд ли связан с каким-либо именем. Русский стиль — дело соборное. Другое дело — инославные. Ходжа Насреддин, Шехерезада, Хайям — вот Восток. Акутагава — Япония, Лао Ше — Китай, Фолкнер — одна Америка, Хемингуэй — другая, а третьей и не доищешься, Сервантес, Лопе де Вега — Испания, Фейхтвангер — иудейство, Шолом-Алейхем — еврейство, Диккенс — католическая Англия, Агата Кристи — Англия для всех и так далее. Где совпадает нация и ее основная религия, где — нет, но стиль присутствует всюду. Деление религий, растаскивание их на секты, течения фундаменталистов, новаторов, традиционалистов и лжепророков вредят стилю, понижают его авторитет. Стиль готовит мировоззрение политиков, но политики у нас без мировоззрения, только с жаждой власти, отсюда все беды.

Образ жизни опять же глубоко национален, отсюда борьба русского стиля за его закрепление и продление. Индейка с яблоками на Рождество — вот и Англия, спагетти да пицца, да капучино — Италия, но Россия — не пельмени с медвежатиной, ее блюда многочисленны, русское обилие в еде предпочитало всегда гостей. Помещик Петр Петрович Петух у Гоголя искренне сетует, что гости, перед тем, как заехать к нему, по дороге перекусили. Помню по себе послевоенную нищету и голод, помню нищих, которые стеснялись войти в избу, если в ней обедали. Но

обедавшие помнили о нищих. А обилие свадеб, крестин, поминок, — все желанны за столом. Мы держимся за быт от того, что в нем любовь к ближним и дальним.

Убивание, высмеивание космополитами вышивки гладью и крестиком, репродукции "Трех богатырей" в колхозной столовой — все это было убиванием русского быта и стиля. Вышивка — символ. Нет у девушки в руках иголки с ниткой — давай сигарету в пальцы. Соцреализм вроде бы и не отрицал национального, но оно было во многом картонной декорацией, ряженостью, привязкой к месту действия, а действие было одинаково везде: строительство неведомого светлого будущего. Стиль же предполагает следование не за идеей, а за периодами жизни, их ритмом и гармонией. Стиль в семидесятилетних испытаниях сохранялся в мечте о нем. Вырастая в сороковые, пятидесятые и так далее годы, мы ведь не только "Битву в пути" да Полевого, да Паустовского читали. Одна русская сказка, одна застольная русская песня перевешивали всю тяжесть соцреализма. Нерусская культура для России как кукуруза, сеявшаяся по приказу за Полярным кругом — все равно вымерзнет, сама вымерзнет, даже времени на возмущение ею не надо тратить.

А еще повезло в тяге по русскому стилю, что в шестидесятые хлынуло на нас засилие иностранной литературы, неплохой, кстати. Но как ни хорош Фитцджеральд, а до Гончарова, например, ему как до звезд. То есть, все мы перемолотили, Гамсуна оценили, Ремарком побаловались, а мало их для русского, который уже прочел: "Как ныне сбирается вещий Олег", или: "Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром", "По небу полуночи ангел летел"... Для русского, даже не верующего, но просто любящего Россию, нет сомнений, что Господь был в России. И как иначе после Тютчева: "Утомленный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя".

Ведь если русский стиль был, а он был, существовал, то он и есть, он действует, он живет хотя бы в тоске по нему. Отсюда желание возврата к нему, отсюда обязанность русского художника его продолжать.

Проживать историю или жить в цивилизации? Но я никуда не денусь, я живу в цивилизации, но как писатель я живу историей. Я вхожу в общество потребителей, я просто обязан жить сегодняшней русской жизнью. Но надо видеть в бегущем времени проблески, пусть даже и гаснущие, вечности. Прогресс демократии вижу в одном — в прогрессе разврата, насилия, пошлости, в их агрессивности, в их лихорадочном румянце, в желании заразить всех.

Господа иностранцы никогда не поймут России, и не надо им ничего объяснять. Кое-что понимают те, кто понимают чувством, а всякие изыскания о России, об иконе и топоре — болтовня для сытых, справка для ЦРУ. Другое дело люди, полностью, по силе своей любви к России, начинающие ей служить: Востоков и Даль, Бодуэн де-Куртене... Здесь пунктик, когда ненавидящие Россию всегда вопят о частичках нерусской крови в Пушкине, Лермонтове и так далее. Дело разве в крови, дело же в любви к России, а значит, к Православию. Но вообще для иностранцев мы непостижимы. Прости, Господи, я не видел никого глупее и самоувереннее американцев. Вспомним к случаю и князя Волконского. В лекциях, читанных в Америке по русской истории и культуре, он замечает, что заставь иностранца говорить о России, и он непременно сморозит глупость.

В массовой культуре нет русского стиля, есть его знаки: "посидим, поокаем", рубаха навыпуск, присядка, калинка-малинка, казачок, но стиль — не этнография в костюме и рисунке танца, — это образ мыслей.

Но снисходительно взглянет на наши доводы в защиту русской культуры демократ-неозападник: "Как ни кричите вы, русские, о своем самобытном пути развития, а вышло-то все по-нашему. Всякие ваши веча да земства, да совестные суды — побоку! Приучили же вас к парламентам и спикерам, и никуда вы не делись. И префекты и плюсквамперфекты, и мэры и мэрии, и федеральность всякая уже хозяйничает в России. Ну, кинем вам кость, дадим Думу, так это все тоже наше, западное, иначе только названное. И выборы сделаем, какие хотим, так что можете не голосовать, командовать будем мы. И в экономике будете хлебать нашу кашу, будете всю западную заваль потреблять за большие деньги. И в образовании будем вас окорачивать, своих выучим, вашим — шиш. Деньги в красный угол поместим, молитесь. Все будем мерить на деньги. Культура только наша, то есть низкопробная, массовая, все сюжеты кино и театра о деньгах, насилии, роскоши, погоне за удовольствиями. Вся трагедия индейцев Северной Америки стала основой боевиков, вся история Европы — сюжетом для развлекательных фильмов, так же поступим и с русской историей. Ивана Грозного сделаем

чудовищем, Петра героем-реформатором, Екатерину самкой, Павла недоумком, Ломоносова драчуном и пьяницей, Пушкина волокитой, остальных соответственно. Посмотрят дети и взрослые десятка два лет, так и будут представлять русскую историю — в наших картинках.

Это нам решать, что русским пить и есть, что любить, кого выбирать, что носить, за кого воевать, русские сами не способны ни к чему. Правда, мы ни разу со времен царя Гороха не дали русским быть в своей стране хозяевами, но нам лучше знать, кому верховодить в России...".

Так примерно говорят русским демократы нового толка. Западный путь развития во всем, куда ни глянь. "Мы победили, — кричат они, — значит, мы сильнее, значит, наша идея жизнеспособней".

Но так ли?

ОПУСТИСЬ, ЗАНАВЕСКА ЛИНЯЛАЯ, НА БОЛЬНЫЕ ГЕРАНИ МОИ

Все нам героизма хотелось в детстве и отрочестве, вот и дождались. Все нам хотелось в героические времена бороться за счастье народное, вот и борись. Народ освобожден, но счастлив ли народ?

Освобожден от чего? От стыда и совести? От жизни праведной? Свобода для бесов — все позволено. Свобода для православных — возможность спасти душу.

Надо сразу оставить в стороне разные вводные, мы начнем вот с чего: не верящие в Бога и в нечистую силу, в ад и рай могут просто нас не слушать, всего доброго и до свидания. А свидание не за горами. Мы начнем прямо с того, что Россия, по обилию своих жертв, по величине своей святости — последний бастион, который не одолел Сатана. Говорить сейчас о чем-либо другом — непозволительная уже трата времени и даже преступление перед Россией. Только одно должно предстоять пред нашими очами, только одно должно биться в сердце: Россия, Россия, Россия. Спасем Россию — спасем мир.

И сразу, сообразно логике, спросим: тогда зачем же враги России ее убивают, если вместе с нею провалится в тартарары весь мир, то есть и они? Но они — народ подчиненный, они — люди команды, им велено уничтожить Россию, они и стараются. Им внушили, что именно они-то и спасутся, это им будет награда за гибель России.

Под именем "Россия" мы понимаем ее веру православную, ее народ, а не пространство, не территорию. Убить народ — земля останется, с нее, с русской земли, и думают кормиться наши враги.

А теперь познакомимся с врагом России поближе.

— Ах ты, море ясное, — вскрикивает собрат по оружию, — опять этот образ врага! Опять вам мерещатся агенты мирового капитала.

Не мерещатся, а так и есть. Сколько ни живу последнее, страшное время, все вспоминаю его, врага России. Он сам подошел ко мне, когда я сидел на одном из островов Средиземноморья и взирал на море.

— Красиво? — спросил он. — Мысли ужасные все равно душу омрачают среди цветущих долин и гор?

— Омрачают, — отвечал я. Я переживал неудачное выступление на вчерашнем симпозиуме. Говорил сбивчиво, торопливо, волновался; представляю, как меня напереводили синхронные переводчики. Говорил же о том, что если Россия погибнет, остальные погибнут автоматически, и почему же нас не любят, за что? За то, что предпочитаем материальному пути развития — путь духовный, что экономику выводим из нравственности, и тому подобное.

Но этот подошедший говорил по-русски превосходно, сказал комплименты моему сообщению и спросил:

— Хотите исповедь врага России?

— Это надолго?

Он даже засмеялся:

— Вы первый, кому это предложено, и вы куда-то спешите?

— Бесполезно, — отвечал я. — Кто мне поверит, что вы мне исповедовались?

— Отлично! — он потер ладони. — Значит, специалисты по гласности были правы. Наши специалисты, — объяснил он. — Гласность без нравственной ориентации — свальный грех, сплошной Гайд-парк. Вали все в кучу, замешивай политику постелями актрис, катастрофы спортом, трагедии сенсациями. Позво-

ляй болтать все, лезь в любые замочные скважины, обливай грязью мертвецов и живых, выворачивай историю наизнанку, ублажай рецептами еды сытых и гороскопами голодных, затыкай щели пасторами и мошенниками, ну и... чего тебе объяснять, — он перешел на "ты". — Все равно ведь меня-то выслушаешь. Это тебя не будут слушать. Хошь, миллиардный тираж устрою. "Исповедь врага России" — не хреново звучит. И что? И, как ты сам говоришь, не поверят.

— Знаете что, — отвечал я, — конечно, я вас выслушаю, или — тебя выслушаю, раз ты задаешь такой тон доверительности. Но что для меня Россия, ты можешь себе представить, она есть — и я есть, ее нет, тогда зачем быть мне? Шумно в мире, шумно бывает в церкви, но голос чтеца слышен, он идет над шумом и достигает всех слушающих. Россия — голос чистой молитвы, здесь спасение. В мире, еще скажу образно, всегда темно, но есть огни, к которым надо идти. Не блеск золота...

— Давай проще, — прервал он. — Ты что пьешь? Чай? — Он заказал чай, себе кофе. — Давай проще. Перед тобой враг России, враг многовековой. Деньги — плевое дело. Весь мир зарабатывает деньги для меня, весь мир я обложил данью, чтобы вести борьбу с Россией. Вначале мы покончили с Европой, потопили ее в болтовне и роскоши. Главное было — расчесать языки, как только зачесались языки — дело сделано. Какая разница, кто болтает: Руссо, Декарт, Вольтер, Ренан, вариант: Бердяев, Федотов... Миллионы читают, спорят. — Он засмеялся. — Сноски даже читают и примечания. Предисловия и послесловия читают и сами пишут. Институтов понастроили, университеты открыли, спорят, дураки, чья кафедра философии лучше, кто больше наплодил болтовни. Проходят жизни, поколения, время идет, нам того и надо, нам надо от главного оттянуть...

— От Евангелия? — спросил я.

Я попал в точку, он вздрогнул.

— Да ведь мы и Евангелие интерпретируем. Но продолжу. Все, что было у вас в России — все дело наших рук. Вся зараза всегда шла от нас: вольнодумство, декабризм, революции...

— Но Господь всегда нас спасал. Ответьте — для чего? Для вразумления вас, что бороться с Россией бесполезно, бессмысленно, отстаньте. Проблема в мире одна: идешь за Христом или идешь за антихристом, других проблем нет. За Христом — к бессмертию, за антихристом — к гибели, вот и все.

— Давайте договоримся, что вы не перебиваете, — он опять вернулся к обращению на "вы".

ИСПОВЕДЬ ВРАГА РОССИИ

Я кивнул и обещал, что буду молчать, если даже молчать будет трудно. Он приступил. Он старался говорить спокойно, но иногда и он не сдерживался.

— Русские завели историю мира в свои тупики. Душа! Русские, с их-то умом, с их-то скоростью прохождения исторических процессов!

— Последний раз! — пообещал я. — Мы прошли все круги познания всех цивилизаций, чтобы сказать: не ходите туда-то и туда-то, там потеря времени, там кровь, спасение во Христе. Молчу!

— У нас есть сектор отвлечения людей от мыслей о смысле жизни. А как же! Серьезная служба — борьба с Россией — миллионы и миллионы всякого золота, сотни и сотни тысяч сотрудников. Мы замусорили все ваше свободное время, мы внедрили почти во всякую семью своего агента влияния — телевизор, мы владеем психотронным оружием, оно вовсю действует. Вы не дитя, думаю, понимаете, что все эти смеси убеждений и верований, вся путаница понятий, смешение добра и зла не могли быть свершены просто так, это годы и годы работы. Только признаюсь, что долгое время мы упирались, да и до сих пор наши дураки упирались в то, чтобы подорвать Россию экономически. Но операции были блестящими: коллективизация, организация голода, сселение деревень, укрупнение колхозов, уничтожение колхозов, химизация полей, но это уж из сектора физического уничтожения и влияния на наследственность. А колорадский жук — блеск. Стали нажимать на чувства наживы, расплодили все эти фонды помощи и милосердия, а вся наша гуманитарная акция посылок поношенного барахла, залежалых консервов — тут толково сделано. За все это надо платить душами, не мертвыми, живыми. А целина? Каково? Убить землю целины и обезлюдить Россию. Даже и дуст — не пустяк, отрава. Глотайте, на обезьянах испытано. А бесконечные реорганизации, например, из МТС сделать РТС, а из РТС Сельхозтехнику,

таскайте, дураки, столы и стулья, переименовывайтесь из директоров в управляющие, убивайте время. Никита был самый управляемый дурачок на троне. Церкви разрушал похлеще Губельмана-Ярославского. Нынешние больше воруют, нежели разрушают. Хотя тоже наша работа. И представляешь — сопротивления никакого. Ну, восклицал какой-нибудь поэт: "О Русь, себя не кукурузь!" Но это ж несерьезно. Возьми нынешнюю оппозицию, как мы ее приручили и сделали частью демократии. Приехал Вопилов на русский полигон, а там американцы, завопил: низ-зя! Американцы довольны: вот теперь мы поверили, что в России демократия.

Когда начинают искать причины русских бед, мы им жидомасонов — жуйте, ищите, обличайте. Толпа ревет, толпа любит обличать. Тут Кинорухин обличает, тут Эдик Грязанов тоже обличает. Живут сыто, если рыпнутся, прищучим быстро. Масоны? — он уловил то, что я передернулся. — Конечно, есть масоны, уже и открыто. Всякие ротари, скауты, это что? Тут игра без проигрыша: всякое посвящение повязывает. Это ж как раньше компартия. Хочешь быть мастером, начальником цеха, завлабом — вступай в партию, так и тут — хочешь должностишку? банк, фонд, главк, администрацию — вступай. Тут мы и начальство куем. На диво куклы выходят. Берем косноязычный вариант Керенского, да если еще и пьющий — цены нет. Пусть рычит одно слово — "реформы", и хватит с него. У нас есть сектор толпы, сектор провокаций, сектор продвижения к власти, сектор разврата номенклатуры, сектор разрыва поколений...

— А тут как?

— Элементарно. Отобрать детей от родителей как можно раньше. Детсад, лагерь, улица. В стадо их, в стадо! В стаде инстинкты, борьба за место, лидер не по уму, а по кулаку. Семья нам страшна, в семье любовь, — проговорился он. — Вот я и назвал вам слово, страшное для нас — любовь. Да еще мы срезались на том, что Россия не подчинена общим процессам. Другой бежит за деньгами, а русский говорит: да ну и хрен с ними! И ничем его не возьмешь. Вот пример: явился русский купец, он говорит: я вам никакой не российский бизнесмен, я русский купец. Хорошее начало? Сделал огромные деньги, и что? Говорит: деньги не мои, моя обязанность тратить их во благо России. Что есть благо для России? Освободить ее от цветной блевотины телевидения, если пока нет сил изгнать оттуда бесов. Этот купец открыл контору (опять же не офис) по приемке телевизоров. Назначил большую цену за сдачу телевизора. Одно было требование — чтобы телевизоры были исправны и чтоб на вырученные деньги купить что-то полезное для жизни. Принимают телевизор, проверяют. Работает. Тогда получай деньги, но и полюбуйся, как при тебе же добрые молодцы орудием пролетариата — булыжником или молотом — расшибают это лупоглазое средство зомбирования. Отличное зрелище, я специально летал смотреть. Хрясть — и оттяпана одна башка у миллионноголовой гидры оболванивания, хрясть — другая. И так целый день и часто весь вечер. Открыл филиалы. Постояла такая контора по приемке телевизоров неделю в областном городе — климат улучшился. Женщины похорошели, мужчины поумнели, дети расцвели, благосостояние поднялось. Только если кто-то на вырученные деньги опять телевизор покупал, то добрые молодцы (это оговаривалось заранее) разбивали экраны прямо на дому. Бесы поникли: на их говорящие головы никто не смотрел, только они сами на себя. Но они же понимают, насколько они безобразны. Худели бесы, пищали: неужели вас не возмущает такое-то заявление президента, создание такой-то партии тимуровским хрюшей? Нет, отвечали, не возмущает, ничего мы об этом не знаем и знать не хотим. И масса телезрителей стала превращаться в нормальных людей. Их не толкали под руку, не учили, что покупать, что есть, что пить, болтовня сектантов, мистиков, экстрасенсов, спиритов, нлошников, — все на ветер, вся реклама — впустую. Все зрелища порока, садизм — в ничто. А тут еще явилась девушка, которая победила на конкурсе всяких мисс, вплоть до мисс мира, и устроителям не отдалась, и конкурсы закрылись.

Нам уже давно дважды приносили чай и кофе. Но враг разошелся, хотелось, видимо, ему выговориться.

— Самая легкая добыча — интеллигенция, — говорил он, — она так легко заменяет духовность душевностью. Бортнянского послушать, Березовского, Рахманинова, даже литургию. На выставку на религиозные темы сбегать, завести знакомого батюшку. Но ведь душевно можно и в кафе посидеть и пиво попить. А духовность нам страшна, духовность требует отказа от пороков: не сиди нога на

ногу, не ругайся. Куришь — перестань, пьешь — отступись, жену люби, будь с детьми, в Божий храм ходи, тут мы только зубами щелкаем от злости. А интеллигенция что, рубль десяток. Возьми ваши патриотические вечера: во что они превратились? опять же в часть демократии. Ищут хорошую демократию, будто она есть. Демократия в аду. Энергию выплескивают на обличение да еще и при этом живут очень неплохо. Да еще на бесов работают, ибо зовут к мщению, к баррикадам, то есть к крови. Да что интеллигенция, молодежь почти вся наша. Античность не только из-за многобожия погибла, от поклонения физической силе и красоте телесной. До чего доходило — требовали летоисчисление производить от олимпиад. Памятник дискоболу! Штангисту, например, за что памятник? Любой трактор больше любого штангиста поднимет. Зачем? Я понимаю, когда большевики, например, в Свияжске, ставили памятник Иуде Искариоту, тут идея.

— А еще, — продолжал он, понурясь, — мы пересолили с женским характером. — Слишком большие параметры падения заложили в него, забыли, что после падения восстают, что старость освобождает от соблазнов, что грехи вопиют к покаянию. Нам кого больше всех страшно — верующих. Идут твои старухи Крестным ходом, хоть ты всех враз убей, хоть поодиночке — от Христа не отрекутся. Золотом не осыплешь, отметут, ничем не купишь. А на демократов прикрикни погромче — обдрищутся. У них идол — нажива, благополучие. Как почувствует, что может потерять блага — мать родную заложит. — И вдруг он, подняв голову и глядя на меня, чуть ли не тоскливо спросил: — Но в Бога-то зачем верить?

— Но как не верить? — искренне отвечал я. — Кто мы такие, откуда? Все от Бога. Надо всем отдаться в руки Божии, растворить в нем свою волю. Только Господь знает, что мне полезно, как мне жить. Он для спасения нашего Сына Своего Единородного...

— Дальше политграмота, — сказал враг. — Нет, видно, не дано мне понять. Ты знаешь, у нас многие, которые всю жизнь работают против России, влюбляются в нее. Приходится их держать в интернатах. И не отравишь, у них у всех определители ядов. Не бомбить же. У них одна мечта — бежать в Россию, пасть там на колени и ползти, и каяться, и просить прощения.

— Может, и вы скоро испытаете такое же чувство?

— Мне нельзя, подрядили надолго.

— Но если вы поняли, что с Россией ничего не сделать, что она бессмертна, тогда что впустую жить?

— Но как же я это своему начальству докажу? — спросил он, улыбаясь и в улыбке оскаливаясь. — Еще запомни, как легко баранов делать из людей.

— Как?

КАК ДЕЛАТЬ БАРАНОВ

— Как делать? Как делают болванки, так и делать. Баран-покупатель покупает то, что внушила реклама, баран-зритель смотрит то, что в программе, баран-избиратель голосует за того, за кого велят, баран-студент читает готовые конспекты, баран-руководитель работает на того, кто его поставил, баран-читатель читает то, что подсунут, баран-политик талдычит то, что ему пишет референт...

— Значит, референт — не баран?

— Он — баран иначе, он мыслящий внутри задания. В общем, везде бараны. Демократия — гениально созданная античеловеческая система, российский ее вариант — административно-жвачная демократия. Я могу еще сказать, чего мы боимся. Да, монархии. Но ее надо заслужить. Построить общество, которое должен увенчать престол, а такого общества нет. Есть митингующие бараны. Сошлись, покричали, обличили, разошлись, думают, Россию спасали, а на самом деле наращивали количество злобы.

— Конечно, нам легче, — сказал он на прощание, когда закат позолотил осенние горы, отражающиеся в вечернем заливе, — легче от того, что мы разрушаем, а вы строите. Смотри, побеждают в этом мире не порядочные, а денежные и умеющие болтать.

— Нет, не будем возвращаться к началу, — возразил я. — Если разграничить на вас и нас, то можно сказать, что вы захватываете пространство. Можно так сказать?

— Почему же нет, можно.

— Вы захватываете пространство, а мы, русские, время. Но время для нас еще и пространство. Вот и думай.

— Я дам задание, — согласился он.

— Мир не смог подняться до русской культуры, до русской души и поэтому потащил к себе, вниз, к своему уровню, стал топить в деньгах и похоти. Но не приснился же нам Пушкин, Чайковский, хороводы, пасхальные ночи, победы наши, это же было. Не могу я даже и спросить: "Был ли Гоголь, была ли Россия?", она есть! Она все перемолола: смотри, какой могучий русский язык, он что захочет, то и захватит из любого языка. Понравился французский оборот, стал русским, шантрапа, например, фармазон — это ведь от французских выражений. Но важнее сказать, как карлики ненависти к России пищат, что Пушкин эфиоп, а Лермонтов из шотландцев. Да что же тогда эфиопы своего Пушкина на своем языке не родили, к нам отправили лучшего своего арапчонка, чтоб только в России, только через русский язык в обрусевших поколениях он стал Пушкиным. А Лермонтов? Ну где в Шотландии Лермонтов свой? Нету. Нужна была Россия для "Бородино", для "Пророка". И так во всем. И не можете без России, и ненавидите.

— Вы долго, — разошелся я, — долго готовились к русской революции, шли через парижские коммуны, через ослабление Франции. Вот радость немцев, что Франция разложена изнутри, вот битва при Седане, вот тут и притязания самой Германии на Восток. Но надо же ослабить изнутри — вот тебе, Ульянов, мешки золота, вот тебе пароход с ватагой Троцкого, разводи заразу в России. Россия больна, немцы снаружи, революция победила. Но победила не она — бесы. То-то попили русской кровушки. Вся история — грязь под ногами, грязь кровавая, гниющая. И так и дальше будете продолжать?

— Предопределено, — печально отвечал он.

— А над чем вы сейчас работаете?

— То есть, во что вкладываем деньги?

— Ну.

— Да все в то же: спаивание — дешевая, сжигающая желудок, убивающая наследственность, одуряющая водка, пропаганда курения, в том числе якобы безвредного, порча крови никотином и понижение уровня мышления через кровь, омывающую мозг, разврат, конечно, через кино, рекламу, газеты... Да что, вы сами все знаете. Все по Геббельсу: споить, одурманить махоркой, оставить балалайку, немного этнографии, разрешить немного плодиться...

— Но тут вы дальше Геббельса пошли, смертность выше рождаемости.

— Это освобождение от балласта, — хладнокровно отвечал он. — Мировая общественность в восторге от гибели России, но у нее слабые нервы, она душегубок больше не вынесет, пусть вымирание идет тихо и аккуратно. Ну-с, а из того, что я сам разрабатывал, это вкладывание средств в искажение представлений о плохом и хорошем. И по мелочам: крысы и змеи в мультфильмах — символ зла — уже симпатичны, и покрупнее: всякое выдрючивание всяких "истов", всяких Пикассо и черных и красных квадратов — все это объявляется гениальным, а русское реалистическое искусство — примитивом. Тут главное — вырастить пишущих на эти темы шестерок, но и это просто. Ну-у, — протянул он, — было б у вас время, мы б походили по секторам. Но скучно вам будет, противно. Главное, в том противно, что вы убедитесь, как легко обманывать.

— Я только одно замечу, — сказал я, — что доверчивость — это черта порядочного человека.

— Миленький, а подлецов мы не обманываем, — воскликнул он, — сами подлецы. Производим себе подобных, куем кадры, которые мать родную за валюту зарежут. Да и без валюты, для остроты ощущений.

— А Страшный суд? — спросил я.

— А у нас в аду демократия, — нехорошо засмеялся он. — Там у нас банк "Дьяволиада", вкладываем адские достижения, на них потом местечко потеплее.

— Будем прощаться, — сказал или спросил я. — Вы человек, — человек ли? — храбрый, ничего не боитесь, вам...

— Боюсь, — сказал он вдруг, — боюсь одного из двух: полюбить Россию или еще того, что она начнет действовать стихийно и нас сметет. Я своим говорю, что надо выделить группу, которая должна просчитать тот срок, когда Россия перестанет терпеть наши издевательства, чтобы вовремя отскочить. Нет, не слушают.

— А подчиненных много у вас?

— Полно.
— А начальников?
— Поменьше. Один у меня начальник, один. Кто это сказал, что последним к Богу придет сатана? Значит, я предпоследним.

КОЛОКОЛ ХЕРСОНЕСА

Странный звук, будто ударили в подвешенный рельс, разнесся над пустынной дорогой. Он внезапно напомнил колокол в Херсонесе. Этот колокол был увезен французами и был на соборе Парижской Богоматери. Русские моряки через пятьдесят лет стояли в Марселе на ремонте, ездили на экскурсию в Париж. И узнали по надписи, что это русский колокол. Да еще тем более с образом святителя Николая Морского. "Братцы!" Как они достали лошадей, дроги, как снимали колокол, как везли до Марселя, может, где это и записано. Но факт — французы не пикнули, а колокол вернулся в Херсонес. "Вот так и надо поступать с французами", — думал я.

Усталость ощущалась, ноги тяжелели. Но у меня в запасе было солнечное воспоминание, которое я берег на трудные минуты. Оно уносило меня "с милого севера в сторону южную".

Право, не знаю, когда у меня начинало сильнее биться сердце: когда я пересекал Керченский пролив из Керчи в Тамань или же из Тамани в Керчь. И когда обозначалась спичечка обелиска на Митридате, и когда обозначалась белая полоска лермонтовской лестницы в Тамани — это было одинаковое счастье. Но легко ли — Крым, и вдруг — заграница.

С этим я никогда не буду согласен. Уж как хотите, но Крым был, есть и будет моим и только моим. А як же иначе? Сроку владения моего Крымом свыше тридцати лет. Владею им по праву любви к нему. В первый год владения я успел отхватить Евпаторию и окрестности ее, тогда же Симферополь, Ялту, южный берег, Севастополь. А также Керчь и прилегающую к ней (через пролив) Тамань. Потом, ежегодно почти, все это повторялось, расширялось и добавлялось. Феодосия и Судак, Николаевка и Алушта, Алупка, Ливадия, Джанкой и Старый Крым... не перечислить всего. Сколько ж сотен километров исходил я босыми ногами по горам Карадага, по Балаклаве, Байдарским воротам, Генуэзской крепости, Ливадии, а подземелья Крыма, самое веселое из которых подвалы Магарача, а самое страшное — Аджимушкай и Старый Карантин, куда я ходил через тайный лаз в степи, один раз недалеко, другой раз порисковей.

Долгая теплая осень все не кончалась, и даже в октябре, правда, с содроганием, но и с радостью, вбегал я в чистые воды Черного моря, а в Пересыпи — Азовского. И не выдержал, и на третий же день отправился из Тамани в Керчь. О, пролив! Ведь здесь Мстислав зарезал Редедю пред полками касожскими, здесь, по твоему льду, шли танки на Крым, здесь разрывалось сердце у водолазов, когда они видели на дне лес убитых и утопленных солдат. Здесь прыгали всегда дельфины, громко и настырно кричали чайки.

Какой же я старый, думал я, ведь я еще помню, когда через пролив ходила БДБ, помню ее капитана, управляющего ею в шлепанцах. БДБ — это быстроходная десантная баржа. То, что она была баржа, не надо и доказывать, то, что она была десантная, это тоже точно — с таким рвением и с такой скоростью грузились на ее борт шумные полчища пассажиров с узлами, корзинами, собаками, козами, цыгане с ватагами цыганят, эти полчища еще быстрее выбрасывались на берег, не дожидаясь чалки. Но то, что эта баржа была быстроходной? По отношению к чему? К дельфинам, которым никто не удивлялся, и у некоторых матросов были свои знакомые дельфины, к тем же стремительным чайкам? По сравнению с ними баржа ползла. Но это было к удовольствию чаек и рыб, которым доставались объедки с барского стола, ибо на барже много пили и ели. Зачастую какой-либо подгулявший мужчина, не в силах участвовать в выброске десанта, засыпал в каком-то уголке баржи и, спящим, ехал назад, а проснувшись, выходил на берег, нисколько не удивляясь тому, что на причале стоит и ждет его кум, с которым утром обнимался на вечное прощание и с которым ночь целую сидел под грушей меж хатой и загородкой для гусей. И кум, совершенно не удивляясь, приветствовал кума, ибо знал, что тот вернется: горилка не допита, разговоры не кончены. А жены? А шо ж жены? Ще густа чупрына, ще можно довго ее вырывать.

Керчь — заграница? "Чем они думали? — говорит женщина о беловежских

сократах. — Ничего не понимаю в этих купонах. Задницей они думали".

Ночью был дождь, над Крымом еще не рассвело, и встала над ним такая радуга, какую видишь только в детстве. Одним концом вырываясь из песчаной косы, другим уходя к Аджимушкаю. Потом под нею возникла другая радуга и третья, получился туннель, в который мы неслись по тяжелой воде. Небо над Керчью было темным, но сзади, с востока, во всю мощь сияло огромное солнце, в его свете летали серебряные блестки быстрых чаек. Пройденная дорога пенилась и затихала. В какое-то время радуга продолжилась и в воде, и теплоход оказался окольцованным таким гигантским обручем, что сквозь него можно было прыгать всей Европе. Пошел дождь, я спустился в салон. Дождь усилился до того, что глушил работу двигателя. Ливень вначале залил окна, потом промыл. Серая шкура пролива стала серебристо-ворсистой. Уточки бодро вертелись среди волн, их головки с клювами напоминали перископы маленьких подводных лодочек.

Радуга стала съедаться темнотой, также и солнце задернулось, берегов не было видно. Только встречные суда белели оснасткой и качали нас на своих волнах. Но вот обозначился керченский берег. Ветер угнал тучи попастись в Турции. Вновь с палубы я смотрел на родные берега. Слева, не видно, но я помню там каждую тропинку, Эльтиген (теперь Героевское), за нею, если все по берегу, то и можно дошагать до Феодосии. Ближе сюда рыбзавод на косе, завод "Залив", площадка (керчане знают, о чем я говорю), агломератная фабрика, Аршинцево, Старый Карантин, стеклозавод, сама коренная Керчь, нескончаемая в своем очаровании, улицы-пояса на Митридате, с их садиками и собаками и проблемами с водой, дальше все новое, новое, новый рынок, автовокзал, Войково, Аджимушкай, Осовино, порт Кавказ... Почему, почему, спрашиваю я себя, не писал о том, что любил? Потому, что писать всю жизнь приходилось не по желанию, а по необходимости. Пришел пограничник, проверил вещи и паспорта, загремел трап.

Первым делом пошел в церковь, одну из древнейших в России, церковь Иоанна Предтечи. Шла панихида. Хор вверху пел: "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих... Упокой, Господи, убиенных воинов... Господи, упокой младенцев..."

Церковь возвращена Церкви шесть лет назад. А до того в ней был крупнейший в СССР лапидарий, то есть собрание древних, надмогильных памятников. Здесь поразила меня надпись: "Воин, сын раба, прощай!"

После молебна подходили прикладываться ко кресту при пении "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим". Батюшка чувствительно и целебно стукнул меня по голове Евангелием, окропил освященной водой.

Но надо было на что-то купить еды. Размен валюты был прост, ибо на подступах к банку меня перехватили добры молодцы и вопрошали, что на что и сколько я хочу поменять. Загруженный бумажками со многими нулями, я пошел по магазинам, где нулей было еще больше. А магазины были всякие, и "Сандра", и "Кассандра", и "Пантикапей", даже и без "Шарма" не обошлось, но набор был один — блеск и нищета винно-водочного товара. Было такое ощущение, что Крым, обретя самостоятельность, запил с горя иль с радости, а закусывать перестал.

Пошел на Митридат своими путями, через Никольскую, уже закрытую церковь. По случаю моего приезда керченские собаки выстроились у всех заборов, а многие сопровождали.

О Митридат, Митридат! Вспомни меня, молодого, влюбленного, юного мужа, еще не была твоя земля оскорблена асфальтом и бетоном. Как хорошо бродилось здесь по развалинам древнего мира, как хорошо думалось и дышалось. Здесь царь Евпатор отравил себя и дочерей, отсюда раб Савмак управлял полумиром. И странно, почему большевики ухватились за личность Спартака? Немцы даже целую партию назвали, у нас спортивное общество. От того, что был известен роман Джованьоли о восстании гладиаторов? Но что есть Спартак? Раб, бегущий с другими рабами от неволи. Дело благое, но Савмак — это социальные мотивы, борьба за справедливость, гигантский размах движения, многолетнее государство. Спартак два раза пересек Аппенины, был обманут венецианскими купцами и разбит правительственными войсками, Савмак долго и справедливо царствовал, чеканились монеты с его изображением, говорят, был мудр и спокоен. Нет, большевики не увидели в нем своего.

Теплый осенний ветер клонил и заставлял звучать длинное пламя из газовой горелки. Конечно, никакой это не вечный огонь и не так бы почтить память убитых здесь. А поставить огромный крест или часовню, чтоб видны были издалека.

Пошел вниз, стараясь найти точку, откуда бы враз были видны обе церкви, но не нашел. В магазинах вновь шелестел купонами. Не покупать же заграничную дрянь. Кстати, дети, хотите, расскажу, как делается заморский шоколад? Берется любое дерьмо, смешивается с жидким сахаром, или с испорченным повидлом, или с прокисшим джемом, перемешивается, нагревается, добавляются краситель и вкусовые экстракты. Вкусовые экстракты делаются так: сушатся гнилые фрукты, мелются в порошок, этим порошком сдабривается "шоколадная" масса, ее льют в форму, заворачивают в блестящую цветную бумагу и — гони монету. Производители такого шоколада его не едят, гоняются за нашим. Разве что на презентациях нового сорта, публично и картинно откусывают дольку, но не глотают, прячут за щекой, а в удобную минуту бегут в туалет отплевываться и полоскать рот.

И еще, кстати: один из ненаследных принцев русского зарубежья ехал по Волге и в Саратове объелся шоколадом кондитерской фабрики "Россия". Это показывает, что принц разбирается в шоколаде и мог бы по пути на картонный престол демократической монархии рекламировать русский шоколад. Но как будут демократы называть монарха? Царь? Свергли его братья-большевики. Нет, России нужна монархия, но ее надо заслужить, до нее надо созреть и просветиться, а пока все это игры и политика.

Солнце уходило в феодосийскую сторону. Феодосия — та же Керчь, только повыпендрежней, покурортнее. Керчь — город-трудяга. Если он что-то и имеет от отдыхающих, то плюет на это с высоты Митридата, Феодосия же знает, что без курортников не проживет. Но хороша и Феодосия, хороша, Старый Крым рядом, в Феодосии Айвазовский в год по триста картин писал.

Снова был пограничник, даже несколько. Стояла послеполуденная жара. Снова чайки. Дельфинов не было. Берег Крыма уходил. Еще долго виднелся Митридат. Я стоял у борта и думал, как же много мест успел я полюбить на земле. А ведь любовь — это долг, который есть благодарность. Чем отплатить мне Байкалу, Мурманску, Архангельску, Вологде, Великому Устюгу, Ельцу, Тарханам, Зарайску, Волоколамску, Киеву, Минску, Прибалтике, Смоленску, Перми, Оренбургу, Пензе, Барнаулу, Бийску, Костроме, Иванову, Владимиру, Новгороду и Нижнему Новгороду, Пскову, Сыктывкару, Ижевску, Симбирску, Орлу, Иркутску, Магадану за их кров и хлеб-соль? А тысячи и тысячи сел и деревень и поселков одной только моей Вятки, разве я вас забуду!

А сколько домов, квартир принимали меня. И совсем не странно, что не помню сотен многозвездочных отелей, а дома и квартиры помню. В гостиницах мерзкий запах дезодорантов, тебе рады от того, что ты им принес доход, в доме же, в квартире ли от меня сплошной расход: меня надо чаем напоить, накормить, на меня время губить, а мне рады.

И снова звук колокола раздался над моею дорогой, снова напомнил колокол Херсонеса. Вот место святое для нас. Помню, шел дождь, было холодно, в Херсонесе никого. Ни души, чуть не сказал я, но как можно так сказать? Как это ни души, если тут крестился великий русский князь Владимир с дружиною! Долго бродил я по улицам Херсонеса, вернее, по его раскопкам, по диковинным сохранившимся мозаикам; по их сверканию и чистоте легко было вообразить очарование города. Выбрел к месту крещения. Это была круглая мраморная, огромная чаша. На дно ее был накидан разный мусор, ветки, банки, пробки. Я спрыгнул и стал убирать. Потом маленькой дощечкой стал разглаживать темный мокрый песок. Потом, окончательно вымокнув, сел на дно и поднял к небу лицо. Медленно сеялся моросящий дождик, лицо стало влажным. Над Херсонесом летали чайки. Вдруг колокольный звон раздался, да такой сильный, хотя и нескладный, что я не знал, на что и подумать. Тут внезапно появился служитель музея, стал стыдить меня на украинском наречии за нарушение правил посещения, тут я и на русском не мог оправдаться, что убирал от мусора крещальню, тут я и штраф заплатил рублями, отказавшись от сдачи купонами. Служитель побежал к колоколу. Там были ребята — подростки, они камешками кидали в колокол, вызывая звучание, вот откуда шел звон. Служитель прогнал их. Остался только маленький мальчик, который силился и не мог добросить до колокола свои камешки. Я кинул своим, легоньким. Колокол отозвался. Но мальчику хотелось самому попасть. Тогда

я поднял его на руки повыше, и он стал бросать. И колокол звякнул. Я ссадил мальчика и сказал: "Расти. Вырастешь, язык приделай и на колокольню подними".

СОН РАЗУМА ПОРОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ

Пространство времени дня заканчивалось. Усталость меня одолела. Такого меня и нищие костылями победят, думал я, мечтая об отдыхе. Только молитва подкрепляла. Наконец, увидел заброшенную автобусную остановку. От нее сохранилась часть крыши и часть скамьи. Сел на скамью и сразу задремал. И представились мне и дивные и дикие образы. Будто кричит и машет шашкою кубанский казак, зовет на освобождение русской истории. Мы за ним. А история и в самом деле занята. Там живут не русские идеи. Они визжат и показывают документы: "Мы тут живем! Мы прописаны! Нас сюда поселили!" Садится заседать походно-полевой суд. Что делать с жильцами-пришельцами в русской истории? Они визжат, что без них нам не жить, но прокурор говорит, что мы всегда жили без них. Решение: дать этим идеям самим умереть.

Потом открылось шествие Павликов Морозовых, детей демократов. "Воруют наши отцы и деды! — докладывали Павлики. — Мой завод своровал, мой шиферу на две крыши, мой магазин, а мой акции". — "Что же вы, Павлики, думаете по этому поводу?" — "Мы тоже будем воровать", — отвечали Павлики.

Шли многоголовые ученые, пишущие новые "Вехи". Они популярно объясняли евразийцам, что расстрел Верховного Совета подтверждает их ожидания. Что новые события должны подтвердить их лимоново-зиновьевскую теорию гибели России. Раз сказал Зиновьев, что Россия погибла, она и обязана погибнуть. Сменовеховцы-демократы кивали головами: "Не коммунистов мы свергали в августе и убивали в октябре, мы убивали Россию. Коммунисты — наши друзья. Коммунисты помогли нам собрать собственность воедино, нам легко было перераспределить ее. Собственность всегда была не у народа, теперь она у мошенников. Но мы их быстро сковырнем, собственность наша, деньги — наши, войска будут наши, власть мы у мошенников отнимем, но и народу не отдадим. Выморозим, выморочим, замучим Россию".

Поднимались над Россией осьминоги-банки, всякие "Манхеттены", они не чикались с отдельными вкладчиками, они ворочали другими банками. Желтым паяцем прыгал по просвещению и культуре фонд Сороса, раздавал морковки своим ставленникам. Шли делегации логопедов с плакатами: "Картавость Ленина и Троцкого — в демократические массы!" Тащились призраки фильмов разврата и порока, катились бациллы холерного и чумного бунта, в обнимку шли родные сестры — проституция и реклама...

ТЫ РУССКИЙ? ТЕРПИ

Невольный стон вырвался у меня, когда я вставал — ноги плохо держали. Но потихоньку, полегоньку, помаленьку расшагался. Вечернее солнце ударяло слева и сзади, в тени деревьев в низких местах поблескивал лед. Тихие желтые листья медленно тянулись к земле. Движением и молитвою прогнал кошмары короткого сна.

И вот — блеснули и засверкали главы вначале колокольни, затем и церквей Лавры. Тут со мною случилось маленькое чудо. Я нес с собою термос с чаем. Ввиду конца дороги решил допить чай, чтобы в термос потом налить святой воды. Отвинтил крышку, допил чай. Переходя мостик, решил вытряхнуть остатки чая. Перевернул термос и тряханул, и изнутри выскочила сердцевина термоса — белая хрупкая стекляшка. Внизу было высоко и камни. "Боже мой, как же я без воды?" — воскликнул я. И представьте — сердцевина термоса, которая, и с метровой-то высоты упадя, разобьется, тут уцелела. Разве не чудо?

Весело зашагал я, получив такой добрый знак. Шел и думал, что очень нужен нравственный кодекс русского человека. Ну не кодекс, а правила поведения, может быть, мера жизни и поступков.

Ты русский? значит, тебе не на кого надеяться, только на Бога и на себя. Ты — русский? твое спасение в семье, в детях. Ты русский? твое спасение в знании русской истории. Ты русский? пойми, что русских мало, береги свой народ. Ты русский? носи крестик и неси крест, и радуйся, что именно в твое время тяжело

России, что именно тебе выпала честь ее спасения. Ты русский? значит, ты лучше всех знаешь, что жить надо не по телесным инстинктам, а по душе. Ты знаешь, что у тебя два пути: в ад или в Русь небесную.

Но даже и в конце пути меня поджидали препятствия: Нострадамус и пьяный омоновец Сашок плюс Сима загородили тротуар. Я поздоровался, крепко пожимая их руки своей правой рукой.

— Плохим людям — плохие гробы, — сообщил Нострадамус. — Хорошим врагам — хорошие гробы.

— Я ж тебе-таки не договорил про тетю Хасю, — сказал Сима. — Я же ей говорю: что же, тетя, нас нигде не любят? Что ж мы-таки дожили до того, что нам нигде не рады?

— Жили же мы без вас, — отвечал я, — и жили. А сейчас вы внушаете, что без вас никуда?

— Нет, тетя Хася трактует иначе, она говорит, что очень чрезмерно чересчур любим себя, поэтому.

— Это от плоскостопия ума, — вмешался Нострадамус. — Ответь, — это мне, — как так: девяносто четыре процента за чертой бедности и якобы восемьдесят процентов одобряют реформы, как?

— Все врут, — сказал качающийся Сашок.

— Идемте, раз приехали, — позвал я. — Русских обманывать можно, но обмануть нельзя.

— Но тетя Хася — молоток. Она вводит конституционную монархию, такую опереточную, велела всем нашим подсуетиться, дворян подключить, — сказал Сима.

— Вот в этом-то все наше отличие от вас, — сказал я. — Вы хитрые, поэтому суетитесь, мы умные, поэтому спокойны. Вы захватываете пространство, мы — время.

— Полvчай, фашист, гранату, — икнул Сашок. — Пожалте бриться.

— Так идете или нет? — спросил я. — Всех же зову.

- - А кто же за меня предсказывать будет? — спросил Нострадамус.

— А кто же за меня с горя пить будет? — спросил Сашок.

— А мне надо у тети Хаси спроситься, — ответил Сима. — Она так меня инструктировала: пока, говорит, они кричат, митингуют, обличают, свергают, они, говорит, на нас работают, злобу наращивают. Пока, говорит, думают, что демократия может быть хорошей, тоже все в порядке. Пока всякие Евразии сооружают, тайны всякие разоблачают, атлантистов всяких тут — пусть. Пусть даже их оппозиция к власти придет, пусть и Борю спихнут, ничего бояться не надо, все равно мы командуем. Оппозиция родит оппозицию, мы их опять стравим. А вот когда они телевизоры начнут выключать да Богу молиться, тут тетя Хася задрожала. Говорит, когда они курить перестанут, пить, нога на ногу перестанут сидеть, — тут нам хана. Когда, говорит, нас вышвырнут из коммуналки истории, тут... тут тетя Хася пролила крупные слезы.

— Умный ты, — сказал Нострадамус Симе, — голова у тебя, как у Ленина ботинок. Констатирую — перегородки дошли до неба. И небо поделили.

— Как? — качнулся Сашок.

— Так. "Балтийское небо" — не суйся, балтийское, это авиакомпания, но смысл-то каков. "Татарстанское небо", "Байкальское небо", "Чеченское небо", "Среднеазиатское небо" и так далее.

— Иду пунктиром по эпохе, — закричал Сима, поэт имени Лермонтова.

— Я пошел, — резко сказал я. — Я свою дорогу не сам выбирал, это русская дорога, не мешайте мне.

— Шапки вон, голову наголо! — крикнул Сашок.

Перекрестясь, я прошел сквозь них и больше не оглядывался. Лишь бы успеть, пока не закрыли.



ЮРИЙ БОРОДАЙ

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА*

1. Этнос и нация

В современной социологии, начиная с Фердинанда Тенниса, общепринятым стало противопоставление так называемых натуральных, как бы самой Природой заданных, "естественных общностей" (Gemeinschaft) и исторически образованных, можно сказать, в какой-то мере сознательно сконструированных политическими и экономическими средствами собственно социальных форм "гражданского общества" (Gesellschaft). Первые — это отношения родовые, общинные, племенные, этнические — непосредственные продукты антропогенеза. В этот же ряд "естественных" ставят обычно и отношения национальные, что приводит к недоразумениям не только теоретическим, но и сугубо практическим, попытки распутать которые посредством прямых политических действий чреваты подчас большой кровью. У нас смешение этих понятий (этнос и нация) вплоть до их полного отождествления стало нормой после выхода в свет замечательных книг Льва Гумилева. Я и сам поклонник этого автора, но для меня очевидно: этнос и нация — вещи, конечно, родственные и, вместе с тем, принципиально разные. С точки зрения общей концепции этногенеза (еще шире — антропогенеза), этой разницей можно было, наверное, пренебречь, что и сделал Л. Н. Гумилев, который пытался дать понимание этнических феноменов, целиком оставаясь в рамках методологии естествознания. Он строил свою концепцию "в пику" ненавистному марксизму, стараясь по возможности исключить в качестве объясняющих факторы социально-экономические и государственно-правовые. Этнос как организм чисто естественный с помощью этой методологии объяснить оказалось возможным. Нацию уже никак нельзя было рассматривать только в качестве естественно-стихийной организации людей, как их антропогенетическое качество, поэтому она осталась за бортом теории этногенеза Гумилева. Но в эпоху кризисную, во время разрыва старых "имперских" связей и попыток конструирования новых геополитических реальностей неучтенная разница начинает бить нам не только в глаза, но и прямо по голове. Неправомерное отождествление, освященное популярным научным авторитетом, превратилось в политическое оружие. Трагикомизм ситуации заключался в том, что к научным идеям великодержавного российского патриота в первую очередь обратились не российские интеллигенты, но самостийники всех мастей, пытающиеся использовать эти идеи в качестве идеологического динамита, способного разнести на куски страну. С этим мне приходилось сталкиваться в Прибалтике, Казахстане, Армении. На поклон к Гумилеву ездили и калмыки, и татары из Крыма... И ведь, вроде бы, и возразить им нечего. Кто сегодня посмеет не уважить принцип национального самоопределения? Вплоть до полного отделения!

БОРОДАЙ Юрий Мефодиевич родился в 1933 году в Ташкенте. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг "Принципы историзма в познании социальных явлений", "Воображение и теория познания" и других, а также ряда статей. Работает в Институте философии РАН. Живет в Москве.

* Данная публикация — заключительный раздел книги Ю. Бородая "Эротика — смерть — табу (Философские проблемы антропогенеза)", которая издается Институтом философии РАН тиражом 500 экземпляров.

Я с величайшим почтением отношусь к самоопределению — вплоть до чего угодно. Вместе с тем позволю себе задать вопрос: ну а что, если каждый этнос, возомнив себя зрелой нацией, станет претендовать на строительство суверенного государства? Что получится? Думаю, не получится ничего, кроме моря грязи и крови — крови, напрасно пролитой, ибо локальный этнос сам по себе не в состоянии прочно удерживать государственный суверенитет, даже если он его и добьется на время.

Государственное самоопределение — это святое право только и только нации. Но в отличие от локальных замкнутых на себя этносов первый важнейший признак нации заключается в том, что она исходно, по природе своей полиэтнична, или, точнее — надэтнична. Например, кто такие современные англичане? Исходно—романизированные кельты, смешавшиеся с германскими племенами англов и саксов, завоеванные потом офранцузившимися норвежцами, то есть норманнами. Потомки всех этих очень разных в прошлом этносов считают сегодня себя англичанами и соответственно действуют в мире. То же самое можно сказать об итальянцах, немцах, французах и т. д. А русские? Более зубодробительного этнического смешения, из которого выросло (и еще по сей день растет!) органичное национальное единство, можно искать разве что в современных США. Или в древнем Китае? К этому необходимо добавить, что секрет национального единства заключается отнюдь не просто в политическом, то есть принудительном объединении разнородных этнических элементов в рамках единого государства. Например, англичане, сами став нацией, завоевали Индию, на три века включили ее в состав империи, но при этом уже отнюдь не смешались с аборигенами, не стали относиться к ним так же, как к самим себе. Имперский принцип объединения столь же принципиально отличен от национального единства, как и сама нация отлична от этноса.

Я думаю, что Гумилев был совершенно прав, рассматривая этнос как "естественную общность" (Gemeinwesen) — фундаментальное антропогенетическое качество человека. А это значит, что этнос сам по себе не нуждается в государственности, поскольку этническое единство исходно основывается не на искусственно сконструированных рациональных юридических нормах, но на самобытных, стихийно сложившихся обычаях и присущих данной общине бессознательных представлениях — архетипах. Эти этнические "коллективные представления" (Леви-Брюль) — самобытные представления о добре, зле, о том, чего надо стыдиться, чем гордиться и т. д. — составляют основу оригинальной этнической нравственности, которая и является подлинным регулятором внутриэтнических отношений. Право здесь ни при чем — сам по себе этнос может легко обойтись без суда, полиции и каких-либо писаных правовых норм. При этом у каждого этноса свои нравы, то есть свои особые коллективные представления о тех трансцендентных ценностях (Бог или "суперэго"), ради которых можно и должно поступаться собственным эгоизмом — вплоть до самопожертвования. Например, старозаветный чеченец не простит себе (его просто совесть замучает), если он не зарежет кого-нибудь из семьи обидчика своего родового клана, хотя его могут казнить за это, как обычного уголовника. Совершенно иная нравственная мотивация будет двигать поступками православного самосожженца-раскольника. Староверы, кстати, давно сложились у нас в особый субэтнос с особенными поведенческими стереотипами. Вводимые государством всеобщие юридические нормативы могут сдерживать специфические этнические реакции, но не они составляют их существо. Нельзя искусственно сконструировать угодный начальству этнос — природную, естественную общность — посредством административного творчества, путем установления каких-нибудь особых государственно-правовых норм, касающихся данной избранной группы людей.

Другое дело нация — полиэтническое и надэтническое единство. Без элементов рационального государственно-правового регулирования, общего и одинакового для всех граждан, нация немыслима. Из этого не следует, что нация тождественна империи. Напротив. Так же, как этнос, нация — органическое единство. В отличие от этноса, нация, конечно, складывается не совсем стихийно и не без элементов насилия, но при этом, в отличие от империи, она строится все-таки по моделям и формам "естественной" или "соборной общности", хотя уже и не сводится только лишь к этим формам. Так же, как и культура не сводится к

культу*, общенациональное право — к сумме местных обычаев, а искусство — к фольклорно-этнографическому материалу или традиционному ремеслу, хотя во многих из развитых языков слова "искусство" и "ремесло" еще сохраняют один общий корень (в английском — art).

Наличие многослойной полифоничной оригинальной культуры, претендующей на мировую значимость, — признак национальный. При этом для культуры подлинно национальной обязательна именно многослойность, гармоничное хоровое звучание, сохраняющее в глубине исходную этнографическую многоцветность. Такова, например, культура российская, а не просто русская в узко этническом смысле этого слова. В глубине российской культуры сохраняют жизнь и мотивы этнически-русские, белорусские и мордовские... Для меня, например, Пушкин, Гоголь — поэты российские, а Кольцов — поэт чисто русский, Шевченко — украинский. То же самое можно вычленить и в культурах иных: во французской гармонии могут звучать и лады особенные — провансальские или бретонские...

Поскольку нация по природе своей полиэтнична, она немыслима без сочетания элементов соборности и принудительной социальности**, или, если применять терминологию Макса Вебера, — сочетания "горизонтальных" и "вертикальных" связей. Горизонтальных, то есть этнических, субэтнических и общинных, конфессиональных, корпоративных, и вертикальных, то есть общих для всех принудительных государственно-правовых норм и прямых административных распоряжений власти. Только органичное сочетание горизонтальных и вертикальных связей может обеспечить объемность и полноту жизни национального организма. Одностороннее доминирование "соборности" (горизонтальных связей) даст многообразные тенденции к сепаратизму; стремление все отношения подчинить государственной "вертикали" — путь к превращению живого национального организма в плоскую тоталитарную структуру. И если всерьез ставить задачу определения системы национальных интересов, то отправной точкой, на мой взгляд, должно стать определение оптимального варианта сочетания горизонтальных и вертикальных связей, то есть оптимального государственно-общественного строя нации. Подчеркну: оптимального не вообще, а именно для данной конкретной исторической ситуации. В другой конкретной ситуации и для другой самобытной национальной общности оптимальным может стать другое сочетание. А это значит, что возможно лишь оригинальное решение задачи, исключающее ориентацию на заемные схемы.

Перед локальным этносом таких задач история не ставит, ибо, повторяюсь, сам по себе локальный этнос не нуждается в государственности. Государство — функция межэтнических отношений. Разумеется, это не исключает попыток создания абсурдных моноэтнических государств по принципу: "а чем я хуже всех других — великих и высокоразвитых, я — тоже сам себе нация!" Сегодня, в эпоху общероссийского национального кризиса, такие попытки мы видим в каждом углу общего нашего дома. Но разрушительны, болезненны они не только для великого общероссийского единства. Это кровавый и, что еще хуже, тупиковый путь прежде всего для самих локальных этносов. Хотя просторы России велики, в ней нет уже достаточно обширных территорий с моноэтничным населением. А это значит, что моноэтническая государственность (абсурдная сама по себе) может осуществляться только в форме апартеида — образования непрочного и в наше время малоперспективного. В апартеидных формах этнического сосуществования не стоит задача определения оптимального сочетания "вертикалей" и "горизонталей" — сочетания разного типа относительно самостийных соборностей и государственной принудительности. Все соборности, кроме "коренного" этноса, подлежат распылению. Единственной реальной задачей моноэтнической государственности может стать прямое подавление и порабощение всех "инородцев", и даже шире — всех тех, у кого иные нравы, даже если эти "инонравные" свои по крови. Например, читаю в газете: "Всякий эстонец, которому нравится Достоевский, неполноценный эстонец"... Вам смешно? Смотрите нынешнюю эстонскую прессу или украинскую.

---

* Как правило, опорным ядром развития новорожденной культуры становится не местный языческий культ, но национально освоенный, преобразованный и приспособленный к национальным нуждам вариант мировой религии. Таково русское православие.

** Подробно об этих двух разных принципах организации общности см. в моей работе "Тоталитаризм: хроника и лихорадочный кризис" ("Наш современник", 1992, № 7).

Конечно, здесь возникает законный вопрос: а каким другим способом этнос может развиться в нацию, кроме попыток строительства собственной государственности? Ведь нация — это синтез двух различных начал: многих стихийно возникших этнических общностей и принудительной государственно-правовой упорядоченности. Как же тут обойтись без своего государства? Если стремиться к прогрессу.

На этот вопрос можно ответить целым рядом вопросов. Захочет ли этого сам этнос? Например, украинцы, белорусы, когда они на собственной шкуре поймут, наконец, что для них означает такой "прогресс". Речь, разумеется, не о политиканах, разыгрывающих этническую карту в шкурных своих интересах, — те никогда ничего не поймут.

Более общий вопрос: нужно ли каждому этносу вообще "развиваться" в нацию? Может быть, это для этноса вовсе не благо, а смертный крест?

Что понимать в данном контексте под словом "развитие"? Уместно ли здесь оно? Говорят о желательности сохранения самобытных этнических качеств народа. Но применительно к этносу сохранение и развитие — вещи не только разные — противоположные. В процессе социально-экономического прогресса по мере повышения уровня грамотности населения, его всесторонней мобильности самобытность этнических качеств стирается. Это общий закон. Этногенез — процесс инерционный. Это значит, что в ходе развития этноса происходит не умножение и усиление своеобразных этнических качеств, но их размывание и утрата. Лучший способ сохранить этническую самобытность — оставить народ в состоянии первобытной дикости. В свое время об этом прямо так и писал наш великий реакционный мыслитель Константин Леонтьев, которому очень нравились этническая многоцветность и яркие экзотические, резко очерченные характеры. Ему был ненавистен быстро деэтнозирующийся Запад, превращающий народы в серую однообразную цивилизованную толпу одинаковых. Леонтьев был логичен. Исходя из своих эстетических пристрастий, он выступал против всякого развития вообще, в том числе и национального — ему удалось достаточно убедительно показать, что, вопреки намерениям, подлинным результатом политических националистических движений современности становится в конечном счете космополитизация.

Стирание своеобразных этнических качеств по мере развития — это закон, нравится это нам или не нравится. В нормальных условиях это процесс эволюционный, относительно медленный. Но он становится очень быстрым, революционным, если этнос берет на себя труд строительства нации посредством создания своего суверенного государства.

Тут интересны два пути.* Первый — на территории полиэтнического контакта временный "победитель" пытается строить свою моноэтническую государственность апартеидного типа. С точки зрения перспектив образования здесь национального организма, это путь тупиковый, ибо из ненависти и насилия соборность не вырастает. Неизбежна серия катастроф и в конце концов подчинение территории одному из сильных соседей. Такова, на мой взгляд, судьба бывшей советской Прибалтики.

Второй путь — это исходная установка на строительство надэтнической государственности. В реальной истории образования наций в разной мере совмещались обе тенденции, но успех достигался лишь там, где доминирующей становилась вторая. Общий вывод: этнос может "развиваться" в нацию лишь путем создания надэтнической власти. Но что означает этот единственно продуктивный путь для самого этноса-созидателя? Что, кроме креста смертного? Тут, как с библейским зерном: чтобы прорасти и умножиться, само зерно должно умереть.

На земле по сей день живут еще многие сотни вполне самобытных оригинальных этносов. Они сохранились, поскольку не начинали "развития" в нацию. Но где сегодня, например, белокурые голубоглазые франки, давшие свое имя французам? В конечном счете после удачного завершения национальной стройки от самого этноса-созидателя в качестве памятника чаще всего остается лишь этно-

---

* Кроме типичных двух возможны и варианты иные. Например, редкостная удача, когда территория с моноэтническим населением получает возможность самостоятельно определиться в форме квазигосударственного (общинного по существу) образования вроде современной Финляндии. Великой нации с мощной глубокой культурой на этом месте не вырастет, ибо нет исходного многообразия, но обустраивать свою жизнь уютно этнос какое-то время может. Если только соседи позволят. Жизнь в таком государстве целиком зависит от соотношения внешних сил.

ним, ставший именем нации, и лингвистическая структура общенационального языка.

Таким образом, перед этносом, вставшим на путь развития в нацию, неизбежно встает дилемма: либо хранить свою этническую самобытность от всех посягательств, употребляя для этой цели, если удастся, силу государственной власти — апартеид; либо, будучи самым сильным среди окружающих, вместе с тем и вполне сознательно двинуться по пути этнического самоотречения. Ведь чтобы действительно сделаться объединяющим надэтническим центром, сам этнос—строитель нации неизбежно вынужден отказываться от своего узкоэтнического своеобразия. Никто ему не простит претензий на какие-либо собственные права. А не простит, значит, и не сольется с ним в органичную национальную целостность. Подчиниться может, но это уже другое дело. Исключительно силовым способом, путем покорения чужих наций и этносов созидались древние деспотические этнократии, а затем империи, но не нации. Собственно нацию (которая и сама может со временем встать на имперский путь) не построить без жесточайшего самоограничения этноса-созидателя. Все вокруг до последнего будут бороться за свою "особость", будут отстаивать право на свой собственный, данный природой нрав, и их всех нужно понять — полюбить!* — и пойти всем навстречу, принимая и утверждая по мере возможности все многообразные этнические претензии как свои, конечно, в разумных пределах, очерченных общенациональным государственным интересом. Именно так поступали наши предки, русские люди. Говорят, что у них был широкий характер. Эту способность понять, полюбить и принять чужое этническое своеобразие Достоевский назвал "всечеловечностью". Но я думаю, это не специфически русское качество. Без такого качества, присущего этносу-созидателю, не могла быть построена ни одна нация. Другое дело, что срок жизни такого рода "всечеловечных" этносов не очень велик: такое плодоносное этническое зерно должно умереть, чтобы прорасти, зацвести, скреститься с иными этносами и умножиться в совершенно новой — общенациональной форме.

Я полагаю, что в отличие от уже сложившихся западноевропейских наций Россия — грандиозная по своему замаху, но не зрелая, молодая евразийская нация, далеко еще не завершившая процесс своей стройки. Впрочем, замах был, видимо, слишком широк. Тем более после Петра национальный принцип строительства был отчасти совмещен с имперским, а после Октябрьской революции вообще подменен мировой тоталитарной утопией. Все это стало причиной глубокого национального кризиса, который мы переживаем сейчас.

Сегодня перед Россией стоит дилемма: назад или вперед?

Назад — значит принять установку на отход в рамки "этнически чистого" русского государства, то есть начать движение вспять к денационализации под каким-нибудь идиотским лозунгом вроде "Россия только для русских!" Здесь, во-первых, совершенно неясно, до какого предела придется пятиться? До Московского княжества времен Калиты? Но ведь с этнической точки зрения и сама Москва — это уже отнюдь не чисто русский город. В этом плане проблемы московские не уступят проблемам казанским. А, с другой стороны, в далеком Казахстане две трети населения в большей степени, чем москвичи, ощущают себя россиянами** и, надеюсь, они не позволят, чтобы от них так легко отмахнулись.

Вперед — значит вопреки всем бедам делать ставку на продолжение созидательной общенациональной работы, очищая стройку от чужеродных национальному принципу утопически-коммунистических и имперских конструкций, — именно в этом, мне кажется, надо искать ключ к разрешению национального кризиса. Это путь реинтеграции большей части СССР в форме новой России. Я думаю, первыми на этот путь будут вставать хлебнувшие самостийного лиха наши братья из Казахстана, белорусы, украинцы. Это они, сами, я надеюсь, избавятся от своих местечковых политиканов и начнут давить на предательский московский центр, требуя объединения, ибо иначе им просто деваться

---

* Способность понять, полюбить и принять чужое этническое своеобразие Л. Н. Гумилев обозначил несколько вычурным термином "комплиментарность". Он считал, что без этого фактора комплиментарности невозможен генезис новых органических общностей.

** На самом деле гораздо больше, ибо значительная часть и так называемых "этнических казахов" живут в смешанных браках, воспитаны на российской культуре и общероссийский менталитет для них стал родным.

некуда. Ведь не с Китаем же объединяться Актюбинску и не с Турцией Крыму.

Я думаю, что дилемма — вперед или назад — ложная, ибо этногенез нельзя повернуть вспять. То, что уже веками складывалось в форму единой нации, нельзя искусственно разъять на составные этносы, их в прежнем архаичном виде уже давно нет.

Наряду с экономическими, политическими и социальными взаимосвязями, в какой-то мере обусловленными географически, важнейшим национальным объединяющим фактором является культура. Что это за культура — общероссийская? Европейская? Азиатская?

Россия — не Восток, не Запад. Это самобытная национальная целостность, опорным ядром культуры которой стал синтез местных языческих культов с восточным византийским христианством. В отличие от христианских наций Западной Европы Россия — евразийское единство с собственной оригинальной ментальностью. Но с западной классической культурой у россиян, при всем национальном их своеобразии, связь глубочайшая — теологически-архетипическая. Корни этого общего с Западом архетипического элемента российской ментальности следует, очевидно, искать в моральной доктрине раннего христианства — христианства до национально-церковного разделения и противопоставления.

2. Общий теологический корень христианских национальных культур

Евангельская легенда вошла в плоть и кровь европейской культуры. Она стала ядром господствующей религии и в течение многих столетий формировала не только обыденные народные представления, но и служила исходной моделью для бесчисленных художественных композиций и рационально-философских построений, уже не связанных непосредственно с религией. Достаточно вспомнить Фейербаха, который доказывал, что вся классическая европейская философия, несмотря на свою пылкую критику официальной религии, так и не вышла за пределы христианского мифа и лишь по-новому рационализировала его, пытаясь сводить в логически непротиворечивые системы все те же исходные основоположения христианства. В этом пункте с Фейербахом был согласен и Маркс, заметивший, однако, что и сам Фейербах в своей собственной этике давал изложение все тех же евангельских принципов, только совсем уж в наивной интерпретации.

По существу, только в XIX веке это положение стало радикально меняться. Религия потеряла свою безусловную значимость. И все-таки мы еще продолжаем жить в атмосфере, насыщенной образами древней традиции, впитывая их бессознательно, как, не замечая того, дышим воздухом. Обряды для многих из нас стали просто экзотикой, культ — суеверием, люди все больше верят в науку, и вроде бы не осталось уже ничего священного. Но образы и идеи древнего мифа все-таки прочно вросли в основание наших детских, самых простых — само собою разумеющихся — эмоций, оценок, суждений; они проявляют себя в устоявшихся обиходных словечках, оборотах речи, нарицательных именах. Нет надобности разъяснять, например, что такое предательство, проще сказать — Иуда. Эти образы и идеи — "эйдосы мифа" — продолжают жизнь и на верхних этажах культуры. Они проникают в нас звуками Баха, красками Рафаэля, логикой Канта, грезами Достоевского... Чтобы адекватно понять смысл таких крупнейших феноменов нашей общеевропейской культуры, наряду с общепринятым, специально искусствоведческим, логическим или социологическим разбором, необходим также и серьезный анализ мифологически-культовых элементов в творчестве великих мастеров прошлого. При этом целесообразно рассматривать эти элементы в их исторической ретроспективе, пользуясь схемой: от культа к мифу, от мифа — к рационально-философским построениям, почти не имеющим уже теологической окраски. Применение к подобным культурным явлениям вышеуказанной схемы показывает: если классическая европейская культура — уникальный исторический феномен, то в своем роде не менее уникальным был и тот миф, который задал этой культуре исходный набор ценностей, образов, знаков, стал первым ее символическим языком. Я попытаюсь продемонстрировать эту связь на примере категорического императива Канта и глубоко связанных с кантовской этикой духовных поисков Достоевского. Но начнем с Канта.

Итак, категорический императив — это всеобщий нравственный закон, который, по мысли Канта, должен определять все многообразие практического

поведения человека. Но это очень странный закон. "Он, — пишет Кант, — касается не содержания поступка и не того, что из него должно последовать"*. В отличие от всех известных нравственных или моральных "кодексов" этот закон не вменяет человеку никаких конкретных обязанностей и ничего не запрещает. Он требует одного: во всех своих поступках ты должен исходить из автономии собственной воли, то есть ты должен принимать решения самостоятельно. "Принцип автономии, — утверждает Кант, — есть единственный принцип морали"**.

Что же можно вывести из такого единственного всеобщего принципа?

Основная проблема любой моральной доктрины — это ответ на вопрос: что есть добро, а что — зло? Согласно Канту, принцип автономии воли означает, что нет и не может быть никаких окончательных и готовых ответов на эти старые, как мир, вопросы. В каждом конкретном случае они — продукт творческого решения личности или группы личностей, которые идентифицируют себя с данным моральным решением. Впрочем, Кант решает проблему на уровне именно единичной личности, а не группы: он не ставит проблему "соборной личности", то есть проблему этногенеза.

Итак, главный принцип — свобода воли. Конечно, человек может проявить слабость и покориться "необходимости". Может, хотя и не должен. У людей — двойственная натура: животный страх и естественный эгоизм столь же присущи каждому, как совесть и альтруистические порывы. Поэтому человек в меру собственной слабости может поддаться соблазнам или струсить и уступить насилию. Но и при этом в качестве нравственного существа он по меньшей мере обязан не обманывать самого себя и не сваливать собственную вину на других людей или на "обстоятельства". Ибо хотя последние и могут подталкивать к определенного рода практике, из этого еще не следует, что именно эту практику следует принять за образец высоконравственного поведения вообще.

Обстоятельства вообще могут многое навязывать и ко многому принуждать. Можно покориться им, терпеть их, принимать как "факт", раз уж нет сил и смелости взбунтоваться. Но оценку происходящего человеку нельзя навязать ни извне, ни свыше. Проблему "что есть зло, а что — добро" в каждом отдельном случае каждый призван решать самостоятельно и, следовательно, сам должен брать полную меру моральной вины как за все собственные поступки, так и за все, что делается вокруг, ибо, кроме прямой вины, есть еще и вина невмешательства, то есть вина молчаливого соучастия. Поэтому, согласно Канту, для человека с развитым чувством совести нет и в принципе быть не может нравственного покоя. И нельзя оправдать себя тем, что "так поступают многие", "так требуют", "так принято", "так приказало начальство"... А где твой собственный разум? И воля!

Принцип моральности — это, по Канту, принцип вечного беспокойства, поиска истины, это есть принцип творчества.

Человек, полагает Кант, как моральное существо должен творить добро. Но нельзя творить по указке. Бездумная и слепая покорность всегда зло, даже если это просто покорность собственной лени или своим страстишкам, страхам — побуждениям собственного естества. Зло — бездумное и покорное подчинение чужим мнениям, силе, власти, обстоятельствам и... судьбе! Нет никакого рока, сам во всем виноват!

Так можно изложить кантовский "единственный принцип морали", из которого выводится и всеобщий нравственный закон — категорический императив человеческого поведения. Отсюда становится относительно понятной и формула категорического императива.

В самом деле. Если единственным принципом мы полагаем автономию воли; если, следовательно, с нравственной точки зрения нет у тебя никакой иной опоры, кроме собственного разумения; если призван ты всегда сам решать, что — добро, а что — зло, и соответственно поступать; если при этом не уйти тебе и от личной ответственности за все то, что делается вокруг, то тогда поступай так, как если бы ты был сам бог, то есть так, как если бы от личных твоих деяний зависела бы судьба всего мироздания. Вот она — кантовская формула императива: "Поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы".

---

* Кант И. Соч. Т. 4, ч. 1, с. 254.
** Там же, с. 284.

Итак, дерзай! С верой в собственные силы, с надеждой на творческую мощь и ясность собственного разумения. Конечно, можно сетовать на то, что ты всего лишь человек, не бог — всевидящий и всемогущий. Поэтому есть основания для опасений. Ты можешь опасаться своим вмешательством наделать еще больших бед?.. И все-таки моральный закон Канта требует: не оставайся равнодушным — дерзай! Кант утверждает: "...существенно хорошее в этом поступке состоит в убеждении, последствия же могут быть какие угодно"*. Ибо всякое творчество — риск, способность к риску есть мера творческого таланта.

В свое время я пытался уже показать**, что последнее положение (необходимость идти на риск применения собственных произвольных схем независимо от последствий) было у Канта отнюдь не только моральной доктриной. В форме концепции произвольности всех исходных познавательных актов это положение составляет суть кантовского учения о продуктивной силе воображения, развитого еще в "Критике чистого разума". Согласно этому учению, исходным пунктом не только моральных решений, но и всех творческих актов вообще, в том числе и познавательных, является способность субъекта пойти на риск применения собственной произвольной конструкции ("синтетическое суждение априори") в качестве аксиомы — основоположения всех последующих дедуктивных выводов разума. Но сейчас я не буду подробно останавливаться на теоретико-познавательном аспекте этой проблемы. Я попытаюсь продемонстрировать, что вышеописанный общий принцип философии Канта — принцип произвольности — есть, по существу, принцип теологический. Это — принцип свободы воли, то есть главный принцип Нового завета, в противоположность Ветхому завету с его принципом предопределения.

В отличие от всех прочих — теоретических — антиномий, Кант в своей этике не оставил без практического разрешения этой теологической антиномии: он отверг предопределение и осуществил рационализацию евангельской доктрины, исходя из самой глубинной ее идеи. Чтобы доказать это, поставим вопрос следующим образом.

Уникальная особенность кантовской моральной концепции состоит в том, что, основываясь на принципе автономии воли, Кант отвергает все содержательные "правила добра", навязываемые человеку извне, в том числе и от имени бога, что превращает его категорический императив в чисто формальное долженствование. Этот стерильный формализм — самая парадоксальная черта кантовской этики, которая категорически требует от нас все силы положить на борьбу за добро и в то же время вводит строжайший запрет на какое бы то ни было его содержательно-теоретическое определение. Казалось бы, какое отношение этот кенигсбергский парадокс может иметь к Евангелию?

Однако поставим вопрос: имеются ли в евангельских текстах*** какие-либо содержательные определения добра? Твердые правила, как его делать так, чтобы не вышло зла?

Вот у Матфея написано: "Блаженны миротворцы". А в другой главе читаем: "Не мир пришел я принести, но меч" (Матф., V, 9; X, 34).

Сказано: "Благотворите ненавидящим вас", "Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?"; "И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду"... Прекрасно! Но вот и другие, не менее ценные правила: "Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам", "Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями!" (Матф., V, 44, 46, 40; XV, 26; VII, 6).

Написано: "Почитай отца и мать", "Человек... прилепится к жене своей и будут два одною плотью"... Но говорит вместе с тем Иисус: "Враги человеку домашние его"; "Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее" (Матф., XV, 4; XIX, 5; X, 35, 36).

Говорит Иисус людям, жаждущим справедливости: "Не судите, да не судимы будете". Но вот обращается он к фарисеям: "Горе вам, книжники и фарисеи... да падет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле" (Матф., VII, 1; XXIII, 28, 35).

Утверждается: "Не противься злому". Но столь же категорично сказано: "Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают" (Матф., V, 39; VII, 19).

---

* Там же, с. 254—255.

** См.: Б о р о д а й Ю. М. Воображение и теория познания. — М.: Высш. школа, 1966.

*** Здесь и далее анализируются четыре канонических евангелия.

Согласно юридическому принципу две противоречащих статьи лишают закон силы. Если этот принцип применять к евангельским правилам, что останется?

Вот, например, сказано: не убий! Ну а если у меня на глазах убивают безвинных... Что теперь? "Теперь, — говорит Христос, — продай одежду свою и купи меч" (Лука, XXII, 36).

Значит, случается так, что можно и убивать. Не только можно, но — нужно! Кто же призван это решать: когда можно, когда нужно, а когда — нельзя?

Похоже, что вопрос этот очень смущал апостолов — учеников Христа. В отличие от недвусмысленных юридически точных законов Ветхого завета, которые они привыкли не задумываясь исполнять, Христос дает указания парадоксальные. В ответ же на просьбы учеников "не оставлять их во тьме" он начинает рассказывать им про раба "лукавого и ленивого", вся добродетель которого заключалась в бездумном повиновении, в буквальном исполнении приказов господина своего. И спрашивает Христос: "Станет ли он (господин) благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего нестоющие" (Лука, XVII, 9—10).

Значит, нет никакой заслуги в смирении? В бездумном повиновении? В исполнении заданного извне? Но чего же тогда ожидает от человека Бог? Ведь Христос говорит: "Кому дано много, с того много и потребуется" (Лука, XII, 48).

Что дано? На это Христос отвечает знаменитой притчей "о даре божьем" — таланте: "Ибо он (Бог) поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился" (Матф., XXV, 14—15).

Значит, дана мне творческая способность, талант — частица божественной сущности и возможность дерзать — поступать на свой страх и риск. Только... если я не хочу рисковать! Там, где дело идет о добре и зле. Разве нужен особый талант, чтобы стать человеком просто порядочным? Жить, ни во что не впутываясь...

Один раб такой, "лукавый и ленивый", — рассказывает Иисус, — убоялся риска. "Господин! — говорит этот раб богу, — я знал тебя, что ты человек жестокий: жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое" (Матф., XXV, 24—25). Бог берет у раба сбереженный талант и велит передать тому, кто успел разменять десять (Матф., XXV, 29). "Богатому да прибавится, у бедного да отнимется", — заключает Господь.

Что приумножится? Что отнимется? Речь идет о "даре божьем" — способности к творчеству. Этот дар нельзя зарывать в землю, его нужно тратить, пускать в оборот. А судить будет Бог... по плодам? Значит, действуй! И бери на себя всю ответственность за "плоды". Каковы они будут на вкус? Этого никому не дано знать заранее, человек не провидец, здесь ему остается только надежда.

Ну а если хочется мне сохранить незапятнанной душу свою?

Христос непреклонен: "Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее" (Лука, XVII, 33). И войдя в дом к фарисею, берегущему душу свою, сажает вместо него на почетное место "женщину того города, которая была грешницей". Говорит народу: "Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много" (Лука, VII, 47).

Значит, тяжкий грех — стремление избежать греха, праведником прожить, уйти от ответственности за творящееся вокруг. Отправляясь в "чужую страну", Бог вручил тебе, человеку, свое достояние — свой талант демиурга, творца. И отныне ты должен действовать так, как если бы сам стал Богом, или, как выражался Кант: "как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы"*.

"Итак, — говорит Христос, — будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный" (Матф., V, 48). Будьте сами как боги живые, как Иисус Христос.

Но кому по плечу эта заповедь? Кто вместит ее? Вот главный вопрос евангелий. Кант сформулировал его так: "Как возможен категорический императив?"

Впрочем, сокрушался и евангельский Иисус: "Много званных, а мало избранных", — сетовал он. Званы все! Но "подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее" (Матф., XX, 16; XIII, 45—56). Это очень похоже

---

* Кант И. Соч. Т. 4, ч. 1, с. 261.

на то, что утверждал еще Гераклит: "один больше тысячи, если он лучший".

Кто же может стать драгоценным избранником? Есть желающие испытать силы свои? Званы — все!

Нет, воистину, чтобы стать добродетельным в рамках этой "моральной системы", нужно очень крупный талант иметь! А ведь кто не хотел бы добра?

Леонид Андреев приводит предание, как однажды черту тоже захотелось добра. Таланта к добру черт не имел, поэтому стал искать твердых правил, чтобы не промахнуться. Древнегреческий, древнееврейский вызубрил, изучал священные тексты, сличал и вконец запутался. Обратился с недоумениями своими к попу. Мудрый старенький попик стал разбираться в евангельских текстах и схватился за волосы:

— Вижу я, — сказал он, — иногда хорошо любить, а иногда хорошо ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя били, а иногда хорошо, чтобы и сам ты кого-нибудь сильно побил. Вот оно, сударь, добро-то.

— Тогда я пропал, — мрачно заявил черт. — Для себя вы как хотите, а мне дайте правила.

— А слыхал ли ты, чтобы для красоты были правила?

— Какие-то, говорят, есть.

— Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии какие-то правила, сотворить красоту?

— Какой у меня талант? Нет, не могу.

— А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький, для добра-то требуется еще больше, да. Тут такой талант нужен!

Черт даже засвистал.

Вот как обстоит дело с правилами добра в евангелиях. Единственное непреложное правило: добро можно лишь как красоту творить — с талантом. И возникает вопрос: может быть, у красоты и добра один корень — творчество?

Посмотрим, как согласно евангелиям сам Иисус поступал. Он дерзал вести себя в мире так, будто сам он творец всех законов природы (Кант), и за все на свете потому с него первого спрос. Так обычно только художники поступают по отношению к собственному творению — на себя целиком возлагают вину за мир вымышленных ими героев и обстоятельств. Но художник ответственен только за мир своих фантазий. А Христос пытался точно так же действовать в мире действительном! Даже на крест добровольно взошел за грехи мира этого — мира, им же созданного. Он ведь считал себя воплощением Бога — Творца! Потому и описывается в евангелиях явление его как величайшее чудо. И действительно, головоломный вопрос: откуда человек, по имени Иисус, мог черпать веру в столь необыкновенное предназначение свое?

Иисус утверждал, что он — сын Бога, и на этом основывал свое мессианство. Основание вроде солидное, но остается недоумение: сын... какого бога?

Все правоверные иудеи в силу таинства обрезания (символическая кастрация) считают себя детьми бога живого — подлинного отца своего. Согласно иудаистской религиозной традиции считается, что после Авраама, эрос которого был лишен самостоятельной детородной силы, у иудеев уже только матери разные, а отец для всех общий — сам Иегова. Считал себя Иисус иудеем? Если считал, то зачем же ломиться в открытую дверь? Подумаешь — сын божий! Это не чин среди иудеев. Самый последний из неудачников, если только он верующий иудей, искренно мнит себя сыном родным Господа — в буквальном смысле этого слова*.

И Иисус считал себя сыном того же Господа? Или речь там шла о разных отцах — разных богах?

Еще Иисус называл себя Спасителем, пришедшим "освободить иудеев". Но от кого он взялся освобождать этот народ? В политику он наотрез отказался вмешиваться: "Кесарю — кесарево..." Значит, пришел он освобождать духовно. "И познаете истину, — говорит он, — и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово** и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: "сделаетесь свободными?" (Иоанн, VIII, 32, 33).

Резонный вопрос. Иудеи не признают над собой никакой власти, кроме духовной власти Отца своего. От кого же взялся освобождать их души Спаситель,

---

* Подробнее см.: Розанов В. В. Ангел Иеговы. Спб., 1914.

** Эвфемизм! После кастрации Авраама — "семя Господне", что подтверждается дальше в этом же тексте устами самих иудейских начетчиков.

величающий себя, как и все правоверные иудеи, сыном Бога? Какого Бога? Другого?

Вот разговор Христа с иудеями: "Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего... На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога" (Иоанн, VIII, 38, 41).

Так. Значит, и Иисус — сын Бога, и правоверные иудеи все — тоже? "Одного Отца имеем". Но сказал им Христос: "Ваш отец диявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи" (Иоанн, VIII, 44).

В какого бога веруешь?

В самом деле. Чему учит евангельский Иисус? "Не лги! — призывает он, — ни словом, ни делом, ни жестом своим". Это не просто. Чтобы не лгать, нужно усилие творческое: всегда легче употребить слово чужое, жест заученный — ими душу нагую свою прикрыть. Ибо не любят грешные люди слишком яркого света. Но Иисус тем не менее неустанно зовет к истине: к максимальной душевной открытости, к воплощению мысли, идеи, духа и во внешнем телесном облике, и в поступках, в деле. Он зовет к ясному, видимому для всех выражению "внутреннего своего". Но совершенное внешнее воплощение внутреннего (в красках, звуках, словах, поступках) — цель художника. Тождество идеального и реального — это прекрасный образ — "эйдос". Отсюда и взлет изобразительного искусства в христианском мире — иконопись. И все это прямо противоположно установкам ветхозаветным.

Ведь Иегова учил совсем другому. Он изображать себя запретил — самый строгий его закон. Ветхозаветный бог — бог безликий, безóбразный, скрытный. Поэтому и искусство религиозное у иудеев со времен Завета ограничивалось абстрактно-геометрическими композициями — только шифр, намек, но не более.

Считал ли себя Иисус воплощением ветхозаветного бога-отца? Правда, согласно евангельским текстам, явился Иисус на землю как Спаситель Израиля. Но духовно спасают лишь падших. Потому и явился на землю Спаситель — в виде редчайшего исключения, ибо Бог небесный обычно не вмешивается в дела земные. Тут, однако, вмешался, даже на крест взошел, ибо как же иначе мог спасти он человечьи души, кроме примера самопожертвования... Но каким образом сила небесная (Дух Святой) в обыкновенного смертного человека могла воплотиться?

Иудеям было легко в зачатие от самого Иеговы верить: они представляли отца своего существом волшебным, но всецело посюсторонним, с земными страстями, потребностями, телом.

А Христос величается сыном Слова и Света (Иоанн, I, 1—15). Слово — Логос, то есть "мысль божественная". Да и Свет тоже, надо полагать, не простой, а потусторонний, тот, который быстрее света видимого и приборами не фиксируется, — дух. Как же может от света потустороннего или от мысли в чреве женщины обыкновенный человек зародиться? Очевидно, только посредством зачатия непорочного... Идея невероятная! Многие засомневались*.

Правоверные иудеи считали, что Иисус просто-напросто незаконнорожденный, в Талмуде он именуется Бен-Стада, Бен-Пантера, то есть буквально — "сын неверной жены", "сын девки". Поэтому он вынужден вращаться среди иноплеменников, бесноватых, блудниц, отверженных; чаще всего он среди страждущих и больных — практически все чудеса его заключаются в исцелении от болезней.

Но опять-таки непростой вопрос: разве это благое дело — исцелять больных?

Согласно ветхозаветным догмам, болезнь — "след перста божьего", "печать греховности", "справедливая кара"! Хорошо ли это — исцелять?

Наследникам христианской моральной традиции ответ на последний вопрос кажется "само собой разумеющимся", всякому теперь ясно: милосердие — благо! И все-таки так представляется далеко не всем. Ветхий завет основывался на принципе справедливости, эквивалентного обмена с Господом и исключал милосердие.

Утверждалось: будь добродетельным, то есть твердо держись правил, и получишь за то награду — силу, здоровье, удачу, телесную красоту... Но берегись преступить запреты! Будешь отмечен за это уродством, проказой, чумой, разоре-

---

* Моя версия мифа о непорочном зачатии опубликована в кн.: Опыты (Лит.-филос. ежегодник). М., 1990. С. 190—209.

нием. Страдание — верный признак измены Господу, эпидемия — доказательство массового порока, безбожия. Поэтому заболевших, то есть грешников, выдворяли толпами из городов, селений, гнали в пустыню, заточали в каменоломнях. Есть свидетельства, что их массами топили в Красном море. Все это обычное дело для тех мест, где странствовал Христос.

Болезнь воспринималась иудеями как позор, печать греховности. Поэтому страдание не вызывало сострадания, ибо нельзя сочувствовать пороку.

А Иисус взывает к милосердию, он лечит прокаженных! Кто дал ему право отменять приговор самого Господа? Даже апостолы, ученики Христа, в смущении. Вот, например, человек перед ними — слепой от рождения. "Ученики его спросили у него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его" (Иоанн, IX, 2—3).

Это — новость; рушится принцип эквивалентного обмена с богом, то есть принцип справедливости — краеугольный камень традиционной нравственности, отнюдь не только иудейской.

Оказывается, очень часто грешники благоденствуют, а страдают невинные — как кому повезет. Ибо нет на земле воздаяния по заслугам. Характерно, что последнее положение — главное в этике Канта. Нет воздаяния — хороший поступок сам по себе награда.

Но зачем тогда бог? Как бог может терпеть безобразия и не вмешиваться? Может быть, и не зря укорял его раб, отвергающий дар божий творчества на свой страх и риск. Ведь условие этого дара — невмешательство Бога потустороннего в земные дела, то есть отказ немедленно воздавать по заслугам. Если нет от Господа непосредственной земной мзды за благие дела, то и бога совсем не надо. Значит, нет его! Все дозволено — так рассуждает ленивый и лукавый раб.

Евангельское разрешение этой проблемы состоит в следующем. Бог небесный, раздав таланты свои, предоставил людям действовать по своей воле, но остался потусторонним свидетелем. Он все видит в каждой из душ: доброту и злобу, красоту, прямодушие и трусливую подлость. Сострадает оболганным, оскорбленным, безвинно замученным, но не вмешивается! Терпит все, ибо цель его научить раба, бездумного исполнителя, подчиняться не палке, но собственной совести, или, как выражался Кант, превратить его "в субъекта моральных суждений". Чтобы совесть собственную пробудить в людях, нужно их опеки лишить. Потому Бог и стал невидимым, устранился от дел земных. Таков евангельский ответ. По существу, таков он и у Канта.

Конечно, очень трудно грешному человеку уверовать в Бога невидимого. Чтобы верить, учат евангелия, нужно покаяться (metanoite — передумать), привести себя в соответствие с собственными представлениями о *должном*, и тогда перестанешь скрывать себя от себя и других. Иначе ненавистной станет сама мысль о свидетеле потустороннем всех твоих неблагоприятных дел.

По Иоанну, Бог есть свет незримый. Но "всякий, делающий злое, ненавидит свет... а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его" (Иоанн, III, 20).

Для преступника ничего нет важнее на свете, чем убрать свидетеля. А главный свидетель для верующего — это Бог. Следовательно, надо убить Бога в душе, преступнику необходимо уверовать, что при жизни нигде, никогда не объявится свидетель, после смерти же — просто черная пустота... бездна. Поэтому, как объясняет Христос, грешник страшится потусторонней жизни, встречи с Богом всевидящим, как величайшей беды, разоблачения. Он сам желает, жаждет полной смерти себе, уничтожения своей души, и он верит в то, что она смертна.

Очень трудно поверить в невидимого Свидетеля. Но "только верой в Него спасен будешь", — говорит Иисус. Верой в то, что свидетель есть, что он видит все! И тогда стыдиться начнешь любого позерства, унижения сможешь достойно перенести и поступки научишься великодушные не на показ совершать. Не на показ! В этом пафос и кантовской этики. Но каковы основания для веры в такого Бога — потустороннего свидетеля, который нигде, никак и ни в чем себя не обнаруживает? Таков главный вопрос кантовской "Религии в пределах только разума".

В ветхозаветного Господа верилось легче. Он был страшен, но справедлив — диктовал народу свою волю и внушал: исполняй законы, скрепленные договором, и получишь мзду, а ослушаешься, станешь мудрствовать, своеволие проявлять —

берегись! Голову оторву, чуму напущу, искалечу... Никаких человеку моральных хлопот, полная ясность.

Конечно, не на всякий случай из жизни — правило, всего законами не охватишь. Но и тут был выход. Кроме правил справедливый Господь давал людям еще и знамения: благоденствие и удачливость знаменуют "богоугодность", значит — "так и держать!" — готов прецедент. Страдания и несчастья указывают на грех. Без знамений не обойтись рабам божьим, как же иначе угадать волю Господа в сомнительных случаях...

И вот приходит Иисус, про которого говорят, будто он — Спаситель. "Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения" (Матф., XII, 38—39).

Нет от нового Бога знамений, кроме явления Иисуса Христа, возвещающего благую весть: человеку даровано богоподобие — свобода нравственного суда. "Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" (Матф., XVIII, 18). Только там, на небе, будет окончательная оценка плодов. На земле же может быть только суд мирской, только мнение, ибо только Бог единый знает всю подноготную, видит все непредвзято. Поэтому никто не смеет, не должен судить на земле человека именем Бога! Судят именем Кесаря или Республики на основании общих законов и правовых норм, насильно навязанных всем. Совесть же может решить только свободно, и она поэтому — личное дело каждого, как и отношения с Богом. В отношениях человека с Богом невидимым, как в делах совести, места нет для посредников, иерархии духовных маклеров. Все жрецы, помазанные в священство,— лишь хранители традиционных обрядовых форм, надежда спастись с помощью их колдовских действий — суеверие.

В религиозных обрядах есть, конечно, свой смысл. Как сказал поэт: "Мало плакать! Надо стройно, гармонически рыдать..." В церкви принято рыдать по нотам, на разные голоса. Это звучит красиво, а к красоте Христос призывал. Стройно хором запеть — дело трудное: требуется вековая традиция, отточенность формы и толковый грамотный капельмейстер — жрец. Когда безыскусственный крик многих душ живых, одинокие всхлипы их сливаются в гармоническое хоровое рыдание, создается культ, а из культа растут культура и искусство... Как же без них? Разлагаться начнет и народ, и культура его без многоголосого хора разных людей, одинаково верующих.

Каждая органическая человеческая общность начиналась как собор одинаково чувствующих и верующих. И каждая церковь (собор) веками оттачивала свой культ — ткань общепринятых интонаций, знаков, священных символов, жестов; так возникал многоголосый хор со своим особенным музыкальным строем. И каждому человеку, независимо от того, верующий он или нет, близок свой родной хоровой лад, свой язык, обычай, традиции, в большей части сохранившие еще печать архаического культового происхождения.

Соборность необходима. Без общепринятой оригинальной культуры народ рассыпается. Каждый призван в общем хоре участвовать и по возможности не фальшивить. Но разве можно заученным механически ритуалом душу свою оживить? Для этого, вслед за евангельским Иисусом учит Кант, кроме участия в хоре общем, нужно собственное усилие, не по указке, на свой собственный страх и риск — своя собственная мысль живая с мукой раскаяния; это раскаяние (передумывание) претворить надо в бескорыстный поступок и, если духу хватит,— в подвиг... Так и делали христиане первых трех веков после проповеди Иисуса. В их общинах были люди, своим подвигом жертвенным заслужившие преклонение, были мудрые, были святые, но "священников", то есть особо уполномоченных комиссаров господних, не было. И никто не имел права на суд "именем Бога". Все это началось, когда церковный клир стал претендовать на земную власть, стал подобием государства (IV век) и, сохранив формально имя Христово, возвратился, по сути, к вере в ветхозаветного Иегову. Так свершилось "дьявольское" искушение — Богу снова стали поклоняться страха ради и в расчете на земную мзду...

Не зря уподобившаяся государству церковь не дозволяла мирянам касаться священных текстов, не зря запрещала их перевод на живые, народные языки. Только ведь нет ничего тайного, что не стало бы, наконец, явным. В огне Реформации ценою бесчисленных жертв духовный наследник христовой благой вести завоевал право взять в свои руки "святыню", чтобы черпать непосредственно из

источника; сражаясь за это право, он был глубоко убежден, что начертанные в евангелиях слова Иисуса содержат истинные правила добра, нравственные законы, которые надобно просто принять к исполнению, и тогда... воцарится всеобщая благодать.

Сбылись самые мрачные опасения правоверных католиков. В огне Реформации родился не голубь истинной веры, а червь сомнения, дух необузданного свободомыслия; этот неукротимый демон повлек христианский мир к ниспровержению всех и всяческих авторитетов — к замене религиозной богобоязни дерзостной предприимчивостью (промышленность), углубленным самосознанием (философия) и стремлением к всестороннему самовыражению (искусство).

Конечно, кроме атеистического свободомыслия, Реформация породила целый букет новых "евангельских"— протестантских церквей. Но вот удивительный парадокс: все эти новые "истинно христианские" церкви, начав "во здравие", тоже кончали "за упокой": все они — без исключения! — в поисках твердого основания вероучений своих были вынуждены апеллировать не столько к "новому слову" Христа, сколько к ветхозаветным текстам. Иначе и быть не могло. Церкви надо было — хоть где угодно! — отыскать данные свыше "твердые правила", ибо если нет таковых, значит, нигде на земле невозможен и суд "именем Бога". А какая же это церковная организация — без права на высший нравственный суд? Чтобы просто порядок установить, достаточно расторопной полиции и мирского суда — именем Короля, Республики, Соединенных Штатов Америки... Ну, а нравственный суд, что-де — каждый волен вершить над собою сам?

Если нет данных Богом и для всех обязательных твердых нравственных правил, значит — свобода совести, значит, и отношения с Богом — личное дело каждого. Да ничто не свершится на земле больше "именем Бога", только собственным именем твоим — человек. Таков вывод Канта. И вывод этот несовместим ни со старым католическим, ни со всеми новыми протестантскими вероучениями.

Кантовская интерпретация новозаветной этики направлена прежде всего против традиционной анонимности. Отныне на каждом общественно значимом деянии должно быть начертано имя автора (имя "авторского коллектива"), отвечающего за сей труд со всеми его "плодами". И если плоды эти горькими оказались на вкус, не на кого вину валить, не проходят ссылки вроде — "Бог так велел" или "черт попутал". С точки зрения Канта, сомнительны ссылки на небесное провидение, на судьбу... на объективную надобность, необходимость, на слепые законы Истории. Не История виновата, а люди. Что же касается объективных закономерностей природы, то и их, по мнению Канта, наука открывает каждый раз новые... по потребности. Во всяком случае, в своей "Критике чистого разума" Кант доказывал, что и законы природы люди тоже отчасти "делают сами".

Но вернемся к разбору евангельских текстов.

В этом мире нет воздаяния по заслугам, ибо "царство мое не от мира сего" (Иоанн, XVIII, 36). Значит, можно страдать и не будучи грешным. Но тогда нет позора в страдании! И в земном благоденствии нет знамения богоугодности, удача — не признак нравственного достоинства, не повод к самодовольству. Поэтому не поклоняйтесь успеху. Не гните спину пред сытым самодовольством, властью, мирским судом.

Такая проповедь не могла не увлечь массу отверженных, и многие были готовы уверовать в то, что Иисус — Христос (букв.— мессия, т. е. Спаситель). Правда, были сомнения. Согласно евангелиям, сомневался в предназначении собственном даже и... сам Иисус!

Вот он в пустыне, один, брошенный всеми, голодный. "И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами". В самом деле, если ты воплощение Бога, разве трудно тебе сотворить чудо? Тогда и сам насытишься, и все поверят в тебя, как овцы пойдут за тобою, смиренные. Ибо поклонится человек тому, кто вдоволь даст ему хлеба насущного. Но ответил Иисус: "Не хлебом одним будет жить человек" (Матф., IV, 2—4). И отступил искуситель. Но не надолго. Остался все же вопрос: Бог я или же нет? Как бы это... проверить?

Иисус в Иерусалиме. Но не веруют здесь в него иудеи, гонят, стараются опорочить. И вот он уже на грани самоубийства! Залез Иисус на крышу храма, а искуситель шепчет ему: "Если ты Сын Божий, бросься вниз!" Дьявол начитан в писании, он обосновывает предложение ветхозаветным пророчеством о невредимости Мессии: "Ибо написано,— шепчет искуситель,— ангелам своим заповедает

о тебе (Господь), и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею". Если только действительно ты — Спаситель. Почему бы не проверить? Но опомнился Иисус, приказал себе: "Не искушай Господа" (Лука, IV, 6, 7).

И еще не раз посещал Христа искуситель, предлагал, например, бороться за власть, за право на суд земной. Ибо очень трудно только личным примером самоотверженности, состраданием и любовью направлять людей на тернистый путь свой. Другое дело — власть. С ее помощью почти все возможно. Все! За исключением "пустяков"— свободного уважения и согласия добровольного, потому что насильно ведь мил не будешь, это Христос знал твердо. Знал, и все-таки был соблазн (Лука, IV, 8, 9).

Иисус отвергает соблазн, не поддается дьявольскому искушению. Но оно — все-таки было! Да и как не быть ему, если все вокруг требуют: дай знамение, сотвори чудо, прояви мощь свою! Вот тогда и уверуем, что Спаситель ты. И Христос поддается минутному искушению, иногда творит мелкие чудеса: то воду в вино превратит на свадьбе, чтобы продлить веселье, то пешком прогуляется по морским волнам, но в целом все-таки выдерживает принцип не принуждать к вере насилием, проявлением своего могущества. И здесь евангельские тексты опять-таки соприкасаются с кантовскими. Лучше всего пафос моральной философии Канта передается следующими евангельскими словами: "Если бы вы знали,— говорит Иисус ученикам своим,— что значит: **милости хочу, а не жертвы**" (Матф., XII, 7).

Это стоит поярче представить себе и понять. Кто просит милости у людей — Бог!

Кант понял, что это значит. "Ни один,— пишет он,— не может принудить меня быть счастливым так, как он хочет (так, как он представляет себе благополучие других людей)"*. Многие многое могут мне навязать насильно, могут даже потребовать, чтобы я на лице своем радость изображал, по команде... изображу. Но нельзя насильно заставить сердце мое возрадоваться, если мне самому не радостно. Вот почему никто, даже сам бог, не может насильно мне навязать свое представление о добре, о благе, то есть о радости!, ибо какое же это "благо", если оно у меня вызывает печаль? Значит, это только твое, а не мое благо, ну и заботься тогда о нем сам, хлопочи, приказывай. Разве спрашивают у рабов согласия? Другое дело, если я сам приму твое предложение, твой идеал разделю, соглашусь с ним сердцем и собственным разумом, но это должно быть мое согласие добровольное, милость моя, а не жертва, не результат вымогательства, подкупа или угроз. Даже если ты сам Господь Бог, ты не можешь требовать большего. Так возьми меня, Господи, голым! Если хочешь ты моей милости и любви, а не жертвы и рабской унылой покорности. Я могу стать всецело открытым перед тобой, ибо сам ты просил милости у меня, из любви ко мне, смертному, отвергнул себя и взошел на крест, неотразим этот крест твой...

Только то, что я делаю сам, по собственной своей воле, есть благо подлинное. Таков тот "единственный принцип морали", из которого Кант, основываясь на евангелиях, выводил свой всеобщий моральный закон практических действий. В России Канту вторил Достоевский: "Человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела"**.

И Кант, и Достоевский в своих духовных поисках выходили далеко за рамки общепринятых церковных вероучений, пытаясь воспроизвести исходный смысл евангельской этической доктрины — доктрины, адресованной непосредственно каждой отдельной личности, воля и совесть которой не связаны никакими внешними нормами "коллективного представления", в том числе церковными или соборно-этническими, ибо "нет перед Богом ни эллина, ни иудея...". Но в своем первозданном виде эта евангельская доктрина оказывалась утопической мечтой, годной, может быть, лишь для горстки "избранных", что и вынужден был констатировать Достоевский: "Ты,— обращается Инквизитор к Христу,— возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен

---

* К а н т И. Соч. Т. 4, т. 2, с. 79.

** Д о с т о е в с к и й Ф. М. Соч. Т. 4, с. 153. М., 1956. Сам Достоевский хорошо знал тексты Канта и неоднократно к ним обращался. Глубинную тесную связь духовных поисков Достоевского с философией Канта убедительно показал Я. Э. Голосовкер в кн. "Достоевский и Кант". М., 1963.

был человек решать впредь сам, что добро и что зло...". Но — "Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы... Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее... И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей... и обременил мучениями душевное царство человека вовеки"*.

И действительно — парадокс. Великий принцип свободы совести, там где он утверждался в качестве для всех обязательной юридической нормы (например в США, где этот принцип был установлен законодательно, поскольку иначе невозможно было сосуществование в разноплеменном колониальном котле массы различных религиозных конфессий и агрессивных конкурирующих протестантских сект),— принцип свободы совести вел не к подъему духовности, но к постепенной утрате людьми всякой совести вообще, к замене ее правовым полицейско-судебным сознанием. В таком либеральном обществе самые разные нравственные установки могут приветствоваться и поощряться, но при этом они уже и не принимаются в расчет во всех деловых юридических отношениях. Конечно, по инерции, наряду с ужесточением полицейской, по сути юридической регламентации, власти могут взывать и к совести. Но по мере ее "гуманизации" она теряет всякое реальное значение. Освобождаясь от соборно-культовых оков, совесть перестает быть реальным регулятором человеческих взаимоотношений, утрачивает свою исходную антропогенетическую функцию. Конечно, и в "гражданском обществе" наряду с принудительным ограничением эгоцентризма каждый волен еще и самоограничиваться, вплоть до самоотречения — самопожертвования. Однако со временем такое донкихотство становится смешным. В либеральных западных странах такие понятия, как долг и совесть, все больше становятся темой пустых риторических упражнений. Такова цена реального воплощения утопичных этических принципов полной моральной свободы отдельной личности.

И Канту, и Достоевскому было ясно: без Бога в душе нет и совести. Вопрос для них заключался в другом: возможна ли абсолютно свободная внесоборная вера в Бога? Чисто личная нравственность? Кант таким образом формулировал этот главный вопрос своей этики: как возможен категорический императив? Можно этот вопрос сформулировать и по-другому, как Достоевский: осуществимо ли в мире этом первозданное — истинное — христианство? И Достоевский, и Кант оставляли вопрос открытым. Но в реальной истории все конфликтующие христианские национальные церкви давали всегда однозначный ответ — инквизиторский. И не по злому умыслу. Этот "земной" церковный ответ глубоко обоснован исходной природой соборно-нравственного человеческого сознания, в значительной мере принудительного по своей сути.

Конечно, живая духовность — достояние личности. Но и глубоколичностная духовность нуждается для своего выражения в общепринятом языке. А языки у разных народов разные. Так же, как без системы общезначимых понятий невозможно индивидуальное мышление, без конкретного соборного культа моего народа невозможно нравственное сознание. Соборная нравственность, не лишенная принудительности,— это дисциплина для моего духа. И так же, как без дисциплины мышления (общезначимой логики) сознание деградирует, так и без постоянной борьбы с безграничной своеобразностью своего "эго", без жертвы, самопожертвования ради соборного "суперэго" нравственный дух угасает. Разумеется, прямое сопоставление религиозных ценностных представлений с познавательными понятиями мышления не совсем корректно. Последние подлежат проверке и легко становятся достоянием всечеловеческим — они легко переводятся с одного языка на другой. Но в отличие от в потенции своей космополитического рационально-научного языка подлинно национальный духовно-культурный язык всегда глубоко самобытен. Машина бесстрастно переведет мне русскую "честь" на польский "гонор"— ей все равно. Не все равно мне, поскольку я ощущаю себя русским, а не поляком. То же самое происходит и с "переводом" древних этических парадигм на различные национальные языки с церковно-богословской интерпретацией исходных священных евангельских текстов. При этом канонизированная в рамках данной конфессии интерпретация священного слова становится

---

* Там же. Т. 9, с. 320.

важнее самого первоисточника. Результат? Вроде в Европе все — христиане, но интуитивно-нравственное взаимопонимание русских с поляками столь же затруднено, как и испанцев-католиков с англичанами-протестантами.

Анализируя евангельские тексты, я сознательно отвлекся как от реальной истории христианского культа, так и от церковного богословия. Я постарался изложить здесь кантовскую интерпретацию Нового завета, которая отнюдь не совпадает ни с католической, ни тем более с протестантской церковными традициями. В особенно резком противоречии эта интерпретация находится с кальвинизмом. Дело в том, что Кальвин через Августина возродил ветхозаветный принцип предопределения и сделал его важнейшим догматом своего вероучения*. А весь пафос Канта основан на утверждении абсолютности свободы воли и, следовательно, открытости, незаданности будущего. Кант рационализировал самый глубокий пласт евангельской доктрины, сделав ее последовательной, подчиненной единому исходному принципу. По существу, он возродил идеологию раннего революционного христианства, находящегося в самой резкой оппозиции по отношению ко всем реально-историческим христианским культам.

Наиболее консервативной, бережно сохраняющей смысловую связь с исходной евангельской парадигмой стала восточная христианская церковь. Особенно это относится к русскому православию. Характерно, что содержанием первого, собственно русского крупного богословского сочинения, написанного в XI веке, стало развернутое обоснование принципиальной разницы между жестким диктатом ветхозаветных принудительных предписаний и освобождающей человека — его совесть — Благой вестью Христа. Это был именно тот круг идей, который потом развивали каждый по-своему — художественно и логически — Достоевский и Кант.

Великое "Слово о законе и благодати" митрополита Илариона сформулировало этическую доминанту молодой древнерусской нации. В отличие от западного христианства, вооружающегося этосом непримиримой ветхозаветной нетерпимости, русское православие было больше склонно отстаивать принцип внутренней свободы человека, исключающий принуждение к вере насилием. Поэтому на Руси не было инквизиции и церковь русская не инициировала ни вселенских крестовых походов, ни религиозных войн.

Различные вплоть до несовместимой противоположности церковно-богословские интерпретации священных библейских текстов становились индикаторами резких национальных различий. И уже в XIII—XIV веках римско-католические крестоносцы называли православных "схизматиками, от которых самого Господа Бога тошнит". Аналогичным становилось и отношение православных к еретикам — и католикам, и протестантам. Так раскололся "христианский" мир, который, впрочем, с самого начала не был единым.

3. Чем определяется этническая совместимость? Национальная геополитика

Жизнеспособное национальное государство, в рамках которого уравновешиваются интересы разного рода естественных общностей и социальных групп, может строиться только на принципе надэтническом. Стремление этноса, способного на экономическое, социальное и политическое доминирование, сохранять в исходной чистоте свою самобытность и исключительность несовместимо с задачами национально-государственного строительства. Ярким примером исторического воплощения такой непреодолимой несовместимости стал Вечный Жид — мощный и многочисленный пассионарный суперэтнос, вечно гонимый, вынужденный расселяться по всему свету, но при этом на протяжении тысячелетий свято хранящий свое исходное древнее своеобразие, кристаллизованное в жестких культовых формах иудаизма, основанного на вере в богоизбранность еврейского народа и запрете его смешения с иными общностями.

Это к евреям на рубеже новой эры обращался Христос со словами: "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода" (Иоанн, гл. XII, 24). Услышавшие и принявшие эти слова переставали быть евреями, становясь проповед-

---

* Подробно о специфике протестантской этики, и в частности кальвинизма, см. в моей статье "Почему православным не годится протестантский капитализм" ("Наш современник", 1990, № 10).

никами Благой вести, основателями новых полиэтнических конфессий — зародышей будущих христианских наций. Те, кто остались верными древним своим этническим нравам, еще плотнее замкнулись в броню традиций, придав им форму священных культовых предписаний (Талмуд), подчинив им буквально все проявления своей жизни вплоть до мелочных бытовых норм. Неколебимая устойчивость этих культовых норм сделала иудейский этнос бессмертным.

Вечно существовать, не меняясь, среди живых — рождающихся, расцветающих, стареющих и умирающих наций — это проклятье, которое наложил Христос на тех иудеев, которые отвергли его новое слово. В этом суть легенды о "Вечном Жиде"— Агасфере. Земное бессмертие без исторической эволюции через смерть и рождение, без поиска новых форм трактуется в данном контексте как величайшая кара.

Культовая консервативность обрекла евреев веками жить как инородные вкрапления в порах чужих исторически преходящих национальных образований, беря там на себя выполнение подчас необходимых, но "неблагородных" с точки зрения аборигенов функций, морально осуждаемых местной нравственностью и церковными догматами. Такими неблаговидными занятиями в средневековой христианской Европе вплоть до Реформации и буржуазных революций считались работорговля, ростовщичество, спекуляция и магические колдовские искусства — астрология, алхимия и отчасти медицина. Степень еврейского влияния на жизнь самых разных древних и новых народов трудно переоценить. Иногда оно оказывалось роковым. Но при этом сами евреи везде хранили свою этническую неизменность, так и не став нацией. При всей их энергии, а иногда и прямом могуществе все усилия обустроиться в качестве национально-территориальной, то есть государственной общности сводились к попыткам создания жестко апартеидных образований, обреченных на катастрофу. Таковой была их древняя государственность в Палестине и на Северном Каспии — иудейская Хазария, таковым же является и современное государство Израиль. Все это не национальные полиэтнические государства, а этнократии.

Основой здоровой нации может быть лишь гармоничное сочетание разных этносов, объединенных в целостность надэтнической властью, трансэтнической социальностью и культурой. Но не все определяется трансэтничностью государственной власти, и не любое этническое смешение может стать благом для нации. Бывают и сочетания заведомо дисгармоничные — "химерные" (Л. Гумилев). Например, встреча европейских протестантов с американскими индейцами привела практически к поголовному истреблению последних — добродетельные кальвинисты начали с назначения премий за отстрел индейцев, как за отстрел волков. Несовместимость их с аборигенами оказалась столь велика, что даже рабов себе пришлось ввозить из Африки, чтобы не брать из местных. И в то же время испанцы при всей их жестокой воинственности спокойно женились на прекрасных индианках, покорных вождей племен возводили в дворянское достоинство, а рядовых туземцев наделяли землей и превращали в пеонов — полукрепостных крестьян. В результате в Южной Америке возникают не только новые нации — родился совершенно новый антропологический тип латиноамериканца.

Смешивать можно все. Но сочетание разных звуков может давать гармонию, может и дисгармонию. Условием полиэтнической национальной гармонии является архетипическая совместимость фундаментальных этических доминант, скрывающихся подчас за внешне совсем непохожими поведенческими стереотипами, стихийными верованиями и бытовыми привычками. Иногда за внешней похожестью может таиться принципиальная несовместимость, и, напротив, казалось бы, очень далекие разные элементы могут встроиться в один гармоничный лад. Так, например, наши славянофилы были категорически против включения своих кровных братьев поляков в состав государства Российского. Они не могли не учитывать очевидности того факта, что русским гораздо легче сходиться с мордвой, башкирами, осетинами, бурятами и т. д., чем с единокровными славянами-католиками. С точки зрения чисто церковной догматики, католицизм не очень сильно отличается от православия, но, вместе с тем, контакт православных с католиками — наследниками разных национально-культурных традиций (традиций Восточной и Западной Римских империй) — повсеместно вел к диссонансам. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть историю отношений сербов с хорватами. Ведь сербско-хорватский конфликт возник не сегодня. Противостояние этих внешне очень похожих этносов длится уже, по меньшей мере, шесть

веков. Для хорватской элиты духовно-культурными центрами притяжения были Рим и Вена, а для сербов — Византия, а потом Москва. Объединение их в рамках единого югославского государства после развала Австро-Венгерской империи было искусственным, что доказали уже события второй мировой войны, когда сербы ушли в партизаны, а отряды хорватских карателей под руководством немцев ловили и истребляли сербов. А сегодня весь Запад поддерживает хорватов. За внешней близостью (языковой и даже бытовой), казалось бы, родственных этносов скрывается несовместимость этических духовных доминант.

То же самое на протяжении многих веков выявлялось и в отношениях Западно-Римской Польши с русскими и с православными украинцами, белорусами. Поэтому российские славянофилы были совершенно правы, утверждая, что планируемое правительством слияние поляков и россиян в единое национальное сообщество сопряжено с чрезвычайными, практически непреодолимыми трудностями.

Славянофилы наши отнюдь не возражали против освоения Восточной Прибалтики, хотя и очевидно было, что прозападная ментальность местной элиты в еще большей степени, чем польская, чужда российской духовной доминанте. Но здесь работала уже другая логика — логика не столько национального, но чисто государственного интереса. Кроме забот о межэтнической национальной гармонии государству Российскому нужен был торговый выход к морю.

Таким образом, обнаруживается противоречие между государственными и национальными интересами. Образование нации немыслимо без государства, но у последнего возникает и своя логика развития. Например, с точки зрения интересов государства Российского освоение Восточной Прибалтики с переносом столицы в Петербург было шагом позитивным, может быть, необходимым. С точки зрения интересов национальных значимость этого шага скорее резко негативная. В частности, одним из следствий этого шага стало засилье прибалтийских немцев в российской правящей бюрократии, что оказало сильное деформирующее влияние на многие стороны жизни нации, в том числе на стратегию и тактику российской геополитики — национальные интересы стали все в большей степени подменяться имперскими. Соответственно стал меняться сам характер геополитики — ее фундаментальные основоположения.

Чтобы избежать недоразумений, здесь уместно сказать несколько слов о самом термине "геополитика". Представление о национальной геополитике, которое здесь предлагается, имеет мало общего с рядом известных доктрин, призванных формулировать и обосновывать принципы государственной внешней политики, способы и направления государственно-имперской экспансии. Эта становящаяся ныне модной у нас "классическая" геополитика, развитие которой на Западе связано с именами основателя политической географии Ратцеля, английского географа Маккиндера, немца Хаусхофера, американского географа Спикмена и т. д., практически совершенно не принимает в расчет проблем этнической совместимости. Я полагаю, что в отличие от такого рода популярных имперских доктрин, базирующихся на географии, фундаментом национальной геополитики должна быть этнография.

Отправной пункт любой геополитики — это проблема границ и так называемых "сфер влияния" за пределами этих границ. Но главный вопрос в том, какие границы имеются в виду.

Я позволю себе сформулировать такой тезис. Хотя становление нации невозможно без государства, в реальности государственные границы не обязательно совпадают с национальными. Последние могут быть много шире или уже первых. Так, границы Российской империи и ее наследницы СССР были, видимо, шире национальных. Напротив, сегодняшние российские границы чудовищно заужены. Какой из двух вариантов хуже (широкий или узкий), сказать трудно — оба взрывоопасны. И чем большей становится разница между установленными произвольно в данный момент государственными границами и незримыми органичными национальными, тем более велика вероятность катастрофических срывов: от деструктивной псевдодемократической катастрофии до российского варианта посткоммунистического фашизма с тенденцией к новой непомерной и агрессивной экспансии — на обратном движении маятника от развала к реинтеграции. О полнокровной нормальной национальной жизни (экономической, социальной, культурной) бессмысленно и мечтать, пока разрушительный этот маятник, сорвавшийся в нашей стране еще в октябре семнадцатого, не будет наконец оста-

новлен. Остановить его можно лишь посредством выявления и легитимации органичных национальных границ, что поведет к реальному отождествлению национальных интересов с государственными, к их претворению в четкую логику конкретных политических действий.

Но как определить границы подлинно национальные? Как отличить их от имперских?

Ясно одно: нация отличается от империи духовно-этической совместимостью составляющих этносов, если угодно, их стихийно заданной или же исторически наработанной взаимной комплиментарностью — их потребностью уживаться вместе, дополняя друг друга, и действовать сообща. Другими словами, предполагается относительно целостный этнографический ареал такой гармоничной взаимосвязанности (не только торгово-экономической, но культурно-духовной), в рамках которого выпадение любого из элементов "ломает музыку" — крайне болезненно сказывается на всех. Каким конкретно способом подобные системы складываются? Это проблема этноисторической теории, в которой еще слишком много открытых вопросов. Вот некоторые из них.

Насколько точно можно прогнозировать конкретные последствия этнических контактов? На чем основана этническая совместимость или дисгармония? Пока что мы имеем только ряд разрозненных попыток разобраться во всем этом. Так, Достоевский настойчиво пытался докопаться до этических корней несовместимости римско-католических и православных ценностных ориентиров. Общеизвестны западные работы о протестантской этике в ее связи с генезисом капитализма (М. Вебер, В. Зомбарт). С другой стороны, кое-что наработали и русские "евразийцы". Так, например, Лев Гумилев пытался объяснить возможность гармоничного сожительства русских со многими, казалось бы, во всем отличными от нас восточными народами (например, с монголами, бурятами, но — не с китайцами!) однородностью исходных нравственных доминант, таких, как прямодушие, бесхитростность, заданных, с одной стороны, древней "религией Бон" (восточный митраизм), а с другой — синтезом славянского язычества и греческого православия. И нам, и им (и русским, и монголам) в различной культовой форме когда-то было заповедано одно: Блаженны простодушные...* А между тем есть много народов, в том числе христианских, с совсем иной моральной доминантой. И когда различные доминанты сталкиваются, начинает искрить. Национальные границы призваны разъединить искрящиеся контакты, объединяя то, что совместимо, — хотя бы в обозримой перспективе. В этом суть этногеополитического подхода.

Но все это лишь общие теоретические догадки. А на практике у нас, в России, сегодня под ногами земля горит. Нужны конкретные — политические — решения. Теория пока их предложить не может. И становится ясно: чисто умозрительно, посредством кабинетных изысканий естественных границ национальной общности определить нельзя. Нельзя, но нужно. Сегодня — просто необходимо! И как можно скорее. Как?

Консервативно-реставрационные установки на глобальную реинтеграцию страны в форме СССР (левые реставраторы) или Российской империи (правые реставраторы), на мой взгляд, ущербны по двум причинам. Во-первых, они не учитывают давно назревшей потребности полиэтнического национального единения, подменяя его исторически исчерпавшим себя имперским. Во-вторых, имперская реставрация невозможна без прямого крупномасштабного силового давления со стороны центра, что сегодня практически нереально, учитывая мировое глобальное соотношение сил. Ведь за Прибалтику, например, воевать пришлось бы с НАТО. У московского центра сегодня нет амуниции для имперских амбиций — для непосредственного прямого вмешательства.

Другое дело — стихийный рост тенденций к реинтеграции с периферии. Это путь к органично-национальному, а не силовому имперскому единению. В такие процессы реинтеграции трудно будет вмешаться и внешним силам. А исходно стихийный характер таких тенденций — не порок, а благо, единственное основание для надежды на действительно органичное национальное возрождение. Географическая локализация такого рода достаточно мощных интеграционных тен-

---

* Эта ключевая евангельская заповедь была неточно переведена на церковно-славянский, что радикально исказило ее смысл: Блаженны нищие духом... Но русские интуитивно чувствуют подлинный смысл формулы. Напротив, католики, обладая правильным латинским переводом, эту заповедь вообще не восприняли.

денций за пределами РФ может послужить вполне надежным индикатором в определении естественных национальных российских границ.

Общие контуры такой грядущей национальной реинтеграции начинают уже обозначаться. И по мере того, как это происходит в так называемых "странах ближнего зарубежья", должна меняться политическая атмосфера и в центре. Чем более мощным становятся "низовые" периферийные тенденции к объединению, тем более неуютно чувствуют себя "антиимперские" демагоги, захватившие власть на волне тотального отрицания многовекового нашего исторического наследия. Уже сегодня "антиимперская" правящая элита, сумевшая развалить страну, дышит на ладан — она уже лишилась поддержки большинства российского населения. И я уверен, что никакое будущее руководство России не сможет стать хоть сколько-нибудь устойчивым и долговременным, если оно хотя бы чисто декларативно не сформулирует в качестве главной цели своей политики принцип национального объединения. Опорный стержень этого принципа уже ясен: без Белоруссии, восточной православной Украины и Новороссии, без Крыма и русской части Казахстана России не жить.

Возможно, что декларации окажется вполне достаточно — вовсе нет надобности в "силовых" мерах. Такого рода меры со стороны московского центра, наверное, были бы только во вред. При наличии морально-политической и, может быть, еще финансовой поддержки все смогут сделать сами наши "зарубежные" братья. Ведь за российскими пределами сегодня оказались миллионы россиян, иных по генетическим своим задаткам, чем те, которые живут в центральных областях. Не стоит забывать, что наиболее пассионарная, мобильная и способная часть русского крестьянского населения во время коллективизации бежала из центральных областей, осев в периферийных регионах. Сегодня они там — костяк военно-промышленного комплекса и местного инженерно-технического персонала, врачей, учителей, военных. Они ощущают себя всецело русскими, и им не по пути с местными самостийными политиканами.

Те миллионы россиян, которые сегодня оказались за пределами России, — это не просто резерв нынешней антиправительственной оппозиции. Это, если угодно, "штрафбат". "Штрафбат", который может пойти в первых рядах на штурм как собственных местечковых политиканов, так и московских. Вы знаете, с каким потенциалом жгучей ненависти к предательскому центру добираются в центральную Россию беженцы?

Конечно, процесс национального возрождения — это не просто механическое воссоединение. В отличие, например, от "русского Казахстана", гораздо сложнее обстоит дело с некоторыми кавказскими и особенно среднеазиатскими регионами бывшей империи, поскольку они начали вовлекаться в поле мощного притяжения обновленных исламских центров потенциальной национальной кристаллизации — как суннитской, так и шиитской (Иран). Правда, с другой стороны, в сознании населения бывших исламских советских республик (Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана) достаточно глубоко проникли стереотипы советской ментальности, неявно, но тесно связанной с ценностными парадигмами общероссийской — православной в своих истоках — культуры. А православие, как показал исторический опыт, оказалось более совместимым с исламом (в его правоверной суннитской форме), чем с западным христианством — и католическим, и протестантским. Теоретически этот тезис пытались обосновать евразийцы. Насколько это верно — покажет грозное будущее. Во всяком случае в исламских регионах бывшего СССР достаточно велик слой "коренного" населения, стихийно тяготеющий к России. И русское правительство не смеет предавать своих. И если эти регионы не вольются в обновленную Россию, они должны и могут быть сферами российского влияния.



“ПАМЯТЬ ПАВШИХ ЗАСТАВИТ НАС ОПОМНИТЬСЯ...”

Беседа корреспондентов журнала “Наш современник” с Председателем попечительского совета “Прохоровское поле” Н. И. РЫЖКОВЫМ

Корр. Николай Иванович, Вы — Председатель попечительского совета “Прохоровское поле”. Нашим читателям не надо объяснять, что это за поле, какое значение в Великой Отечественной войне имела битва под Прохоровкой — крупнейшее танковое сражение в мировой истории. Тем важнее узнать, как обстоят дела с возведением мемориала на поле русской воинской славы.

Н. Рыжков. К 50-летию Победы над фашистской Германией мемориал будет завершен и открыт. 3 мая в присутствии Патриарха совершится освящение храма. Собственно, торжества на Прохоровском поле станут прологом всенародного празднования юбилея Победы. 9 состоится праздничный парад в Москве.

Мемориальный комплекс состоит из нескольких объектов — большого и малого храмов, дома священника, дома причта, где разместятся трапезная, воскресная школа и библиотека (ее основу составят несколько тысяч томов, которые я, посоветовавшись с семьей, передаю из моего личного книжного собрания). К ним примыкает дом ветеранов войны — богадельня, говоря по-старому. Помню, на открытом заседании Совета в Прохоровке кто-то предлагал отказаться от строительства богадельни, выразив сомнение в том, что удастся возвести столько объектов за такой короткий срок (мы ведь собрались впервые в 1993 году, когда на Прохоровском поле, кроме танка Т-34, сиротливо стоящего на пьедестале, да блиндажа генерала Ротмистрова, ничего больше и не было). Но поднялась женщина из зала и говорит: “Если есть хоть какая-то возможность построить дом для ветеранов, хоть один процент, вы обязаны это сделать. Люди отдали Родине свои силы, свое здоровье, они достойны хотя бы поздней заботы”. Сейчас здания построены, идут отделочные работы. Часто поистине ювелирные. Особенно в храме. Люди научились работать красиво, мастерски.

Рядом с храмовым комплексом, который строится — подчеркну это — на народные пожертвования, возводятся памятник павшим (автор — известный скульптор В. Клыков) и музей. Эта стройка финансируется из федерального бюджета.

Корр. Замечательная идея — поставить на месте сражения храм. Вы возрождаете тем самым древнюю русскую традицию.

Н. Р. Наши предки построили храмы и на Куликовом поле, и на Бородинском. Храм под Прохоровкой станет символом народного подвига, символом нашей истории, памяти. Сейчас на настенные плиты наносят имена всех погибших в сражении. Это, между прочим, дорого стоит: одна буква — две тысячи рублей. Но что значат деньги, когда речь идет о самом святом — о народной памяти? Перед храмом на стеле будут выбиты имена сражавшихся здесь Героев Советского Союза, кавалеров трех орденов Славы, список частей, принимавших участие в сражении. Создаются также две книги: Книга Памяти, в которую занесены сведения о погибших (где и когда рожден, в какой части служил). Другая Книга — Благодарности — с именами пожертвователей и перечнем помогавших нам предприятий. Суммы мы не указываем: 100 миллионов и 100 рублей — всякое даяние благо.

Корр. Насколько нам известно, Вы — единственный политический деятель такого ранга, кто взялся за практическую работу по увековечению памяти павших в Великой Отечественной войне. Помнятся Ваши слова: “Готов сам стать прорабом на этой стройке”. Что побудило Вас к этому?

Н. Р. Две причины. Одна почти формальная: я бывал в Белгородской области, неплохо знаю ее. Приезжал сюда десять лет назад, когда строился металлургический завод в Старом Осколе. Разумеется, посещал и Прохоровское поле. В 1993 году побывал здесь вновь — по приглашению директоров местных предприятий и администрации Белгородчины. И что же я увидел на знаменитом поле — третьем, как называют его, ратном поле России (после Куликова и Бородина)? Тот же танк Т-34. Ничего за эти годы не изменилось. Заложили, правда, первый ка-

мень в основание церкви, теперь это "малый храм". Ясно было, что масштабы проекта далеко не соответствуют благородной задаче — увековечить память о легендарной танковой битве, не имеющей аналогов в истории. Да и темпы начатого строительства не позволяли надеяться, что даже небольшая церковь будет построена к 50-летию Победы. По существу, бился в одиночку один священник, переживал, пытался что-то сделать. Немного денег выделил Верховный Совет России, позднее расстрелянный. И все. Грустная, безотрадная и, казалось, безнадежная картина...

Меня попросили включиться в работу. И я согласился. Потому что, кроме причины формальной, была и другая, глубинная, побудившая меня действительно стать "прорабом" строительства на Прохоровском поле. Это — протест против развернувшейся в стране кампании по дискредитации нашей Победы. Чего только не писали тогда — повторять стыдно. И зачем-де 27 миллионов людей погубили, почему города не сдавали "цивилизованным" немцам. А для ветеранов других слов не было, кроме: "красно-коричневые", "покорное быдло". Сейчас эта гнусная кампания в прессе заметно приглушена, а в 1993 году она была в разгаре. Надо же умудриться так богохульствовать, так изолгать, испакостить свою родную историю. Ведь это наша история. Не безоблачная, трудная, конечно... А у какой страны вы найдете безоблачную историю?

Часто думаю: если бы поднялись из могил те 27 миллионов человек, что погибли, защищая нас, что бы они сказали! Впрочем, у многих из них и могилто нет: до сих пор далеко не все воины Великой Отечественной похоронены. Так и лежат по лесам, по оврагам солдатские кости...

Короче, я согласился. Обратился к авторитетным, известным на всю страну людям. Отдал обращение в "Правду". Но с публикацией вышла задержка — какое-то время газета не выходила... После публикации позвонил Вячеслав Клыков, предложил объединить усилия. Собрались несколько человек: Клыков, телеобозреватель Крутов, известный журналист Бекетов. Договорились, что работа над объектами мемориального комплекса будет вестись параллельно. Вырисовывались четкие контуры будущего целостного храмового комплекса. Чтобы не смешивать государственные деньги с общественными, сметы составили разные. А для координации строительства всех объектов создали попечительский совет. Председателем избрали меня, а Клыкова и опытнейшего строителя, бывшего председателя Госстроя СССР Баталина — заместителями, Бекетова — секретарем. Всего в совете 21 человек, в том числе главы администраций Белгородской и Орловской областей Савченко, Строев, митрополит Кирилл, архиепископ Ювеналий, молодой священник из Прохоровки отец Вячеслав, космонавт Георгий Береговой (он воевал здесь), дочь маршала Жукова Маргарита, писатель Альберт Лиханов. Мы договорились, что работаем на общественных началах, ни рубля не беря из общественных сумм (на окладе только секретарь совета). За каждым закреплено четко обозначенное направление работ. Первым делом составили смету.

Корр. И сколько же денег потребовалось?

Н. Р. Только храмовый комплекс обойдется в 5—6 миллиардов. Дом ветеранов — это еще 2 миллиарда.

Корр. Как Вам удалось собрать такие суммы?

Н. Р. Есть три источника. Первый и главный — частные пожертвования. Несколько тысяч человек прислали переводы. Они поступали со всей страны, из Америки (я дал интервью одной американской газете, сообщил наш счет), из Австралии. Братья Каричь из Югославии оплатили счет за кирпич для стройки. Однако мы соблюдаем одно условие: деньги принимаем только из стран бывшей антигитлеровской коалиции. Пробовали подключиться немцы — мы посоветовались с жителями Прохоровки на открытом собрании. Когда объявили о предложении, пришедшем из Германии, наступила тягостная тишина. Люди будто отшатнулись... Знаете, здесь в земле столько еще неразорвавшихся снарядов, мин, до сих пор случается: пашут поле и подрываются. Видно, они не только в земле, но и в памяти людской. Обычно достаточно жизни двух поколений, чтобы забыть о военной трагедии. Но Великая Отечественная не сравнима ни с какими другими войнами по своему трагизму, громадным разрушениям, по тому горю, которое она принесла народам. Прежде всего нашему.

Корр. Да, не из всяких рук можно принимать деньги. Мы в журнале "Наш современник" это хорошо понимаем... Но частные пожертвования вряд ли могут покрыть расходы на строительство — ведь требуется, как Вы сказали, не менее 7 миллиардов.

Н. Р. Да, есть еще один источник финансирования: пожертвования предприятий. Честно скажу: частенько помогают старые связи. Если денег у директоров нет — прошу материалы и технику. Многие приходят на помощь. Норильский комбинат выделил нам 27 тонн меди, а Кольчугинский завод бесплатно прокатал медные листы, за которые нам в прошлом году пришлось бы заплатить не менее 150 миллионов рублей.

Карелия дала отличный гранит. "Саянмрамор" бесплатно поставил плиты для пола храма. Алтай дал мрамор облицовочный. Ново-Уренгойские газовики прислали целую мехколонну — 13 единиц: самосвалы, краны. Автозаводы (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, ВАЗ) помогают автомобилями. Фирма ТВТ обеспечила дом ветеранов телевизорами, Липецк — холодильниками. Много помогают газовики страны (мы сотрудничаем с Р. И. Вяхиревым). Металлурги — Череповецкий комбинат, Магнитка, Рыбницкий завод из Приднестровья, заводы из Белоруссии — выделили более тысячи тонн металла. Это даже превышает наши потребности. Но зато мы расплачиваемся металлом со строителями. Как видите, в возведении мемориала участвует не только Россия. Большой вклад вносят предприятия Белоруссии, Украины, Молдавии. В Харькове нам помогает Николай Михайлович Иващенко. В его акционерное общество входит 20 предприятий. В одном из цехов танкового завода они организовали ковроткацкое производство. Харьков обеспечит ковровыми изделиями и дом ветеранов, и храм.

Корр. И все равно без живых денег стройке не обойтись?

Н. Р. Третий наш финансовый источник — коммерческие структуры, патриотически мыслящие банкиры. Выделяются внушительные суммы: 20, 30, а то и 50 миллионов. Мосстройбанк пожертвовал 100 миллионов. Кроме того, мы до сих пор надеемся на помощь профсоюзов, государственного страхового фонда. Обращались и к правительству. Вице-премьер Яров, похоже, болеет за дело. По крайней мере, я сочувствие в его глазах вижу. А вот позиция министерства обороны удивляет. Мы ведь стремимся увековечить память павших защитников России. И дать приют ветеранам. Сначала я по русской привычке себя винил: наверно, недостаточно активно вовлекаем военных в наше святое дело. Написал письмо Грачеву — он нас не принял. Пошли в управление по работе с кадрами (бывший ГлавПУР). Просил пожертвовать деньги на дом ветеранов. Или хотя бы технику списанную. Генералы вроде бы откликнулись, подготовили письмо со своими предложениями руководству. Оно попало к начальнику Генштаба. Так он на все предложения наложил резолюции: нет, нет, нет. Правда, недавно получил письмо от Грачева: все-таки какую-то списанную технику обещает выделить. Но надо все это согласовать с Чубайсом. А там такая бюрократия, что "прежним" и не снилась. Складывается такое впечатление, что для некоторых московских генералов и правительственных чиновников все это является какой-то ненужной обузой. Бросается в глаза большая разница в отношении к этому святому делу "верхов" и "низов". Стоит задуматься об этом... А времени-то остается все меньше и меньше.

Корр. И это единственный случай, когда вы натолкнулись на обструкцию? А что же "демократическая" пресса, неужели не попыталась мазнуть дегтем хотя бы подножие будущего памятника русской славы?

Н. Р. Вы знаете, тема, видимо, настолько святая, что даже эти господа боятся трогать. Замолчать — пожалуйста, но трогать не решаются. Хотя... была одна пасквильная статья. В "Московском комсомольце". Попечительский совет они умудрились назвать коммерческой фирмой.

Корр. Итак, материальные итоги Вашей инициативы весомы. Не менее значим и нравственный итог. Тысячи людей, сотни предприятий откликнулись на Ваш призыв, точнее, на голос памяти. Проявили забытые, казалось бы, в наши дни единодушие и бескорыстие, чувство патриотического долга.

Н. Р. Прохоровка — модель истинного возрождения России: всем миром, всем народом, в добром согласии. В движении этом — залог того, что мы не погибнем, не согнемся, не станем "колониальной демократией". Честно признаться, и мне с тревогой думалось, что в новых рыночных условиях, в которые мы со скрипом, со стоном, с болью втягиваемся, уже нет места нравственному началу. Однако в душе человека, особенно в русской душе, даже в самую трудную годину находит отклик просьба о помощи. Сейчас всем плохо. У директоров — предприятия едва живы, на ладан дышат, а дают, что могут. Недавно выступал в Орехово-Зуеве — подошла женщина, открыла сумочку, протягивает конверт: "Николай Иванович, возьмите на Прохоровский мемориал, здесь 80 тысяч от ветеранов города."

Нет, что ни говорите, а крепкая у нас оказалась нравственность. Как и экономика, — три года шатают, дробят, рвут на части по-живому — а она все держится. Так и нравственность: у нее большой запас прочности. У нас хорошие традиции. Как бы тяжко ни приходилось — русский человек подставит плечо благому делу. Таково генетическое наше чувство артельности, больше сказать — соборности, и ваш журнал правильно делает, что постоянно поднимает эту тему. Правда, другие ваши коллеги — даже "Новый мир", "Знамя" — похоже, поддались магии "западных ценностей", а в Российской истории видят лишь отсталость, покорность, тупость, леность...

Вообще, заметьте, какое идет напористое наступление на русские традиции, образ жизни, культуру и язык.

Нам говорят: Россия должна вернуться в цивилизацию! Но зачем нам "возвращаться" на Запад — у нас своя великая культура, своя вера. Между прочим, некоторые публицисты утверждают, что православие не подходит рынку. Это, скорее, "колхозная" религия, объединяющая людей. И вот ее компрометируют, унижают, чернят, в том числе слухами об "агентах КГБ" в иерархии и т. п. Настоящий моральный террор! А что на телевидении делается — по воскресеньям из пяти программ по трем часами вещают иностранные проповедники. У нас всего 18 тысяч священников. На всю Россию. А к нам в ближайшее время собираются прислать с Запада 180 тысяч проповедников. Целая армия духовной оккупации!

Это планы на десятки лет. Когда Горбачев встречался в Ватикане с папой римским, тот сказал, что в России "предстоит огромная работа". Вот они и работают. Но те люди, которых по телевидению показывают со свечкой в руках, — почему же они ничего не предпринимают, чтобы остановить духовную агрессию Запада? Неужели государство не может дать деньги, чтобы оплатить время на телевидении для представителей Русской Православной Церкви? Вот ведь как получается: я человек немолящийся, а считаю своим долгом защищать православие.

Корр. Так что же, есть ли у нас хоть какая-то надежда?

Н. Р. Есть. Все-таки разрушить народную нравственность до конца не удалось. Это заметно, например, по книжному рынку. При новой власти первые годы на нем господствовала агрессивная жестокость и порнография. А теперь? Все большим спросом пользуются книги по истории, философии, русская классика. Люди не могут согласиться со свинством. Они были одурманены, но теперь идет процесс отрезвления.

В этом русле движется и наша работа на Прохоровском поле. В масштабе страны это, конечно, не так много. Но параллельно ведут свою работу другие. Недавно встретился с одним издателем — он хочет выпустить Библиотеку русской классики, целых 300 книг! Прекрасное начинание. Поворот происходит в душах человеческих, в общественном сознании. Медленно, трудно. И наша задача — моя, ваша, всех, кто болеет за судьбу России, — работать для того, чтобы поворот этот совершился быстрее.

Вот вам еще один пример. Недавно я вновь побывал в Старом Осколе, на горно-обогатительном комбинате. Представляете — всего за 52 дня они построили чудесную часовню! Кто заставил? Потребность душевная побудила. И надпись над входом вывели: "Боже, сохрани Россию"...

Корр. Николай Иванович, Вы сами из директоров, долгое время возглавляли огромный коллектив "Уралмаша". Пока роль директоров в жизни страны невелика. Но однажды они показали свою силу — в Приднестровье. Когда тогдашние молдавские власти попытались разом сменить "русскоязычный" директорский корпус, те подняли свои предприятия. Превратили советы трудовых коллективов (до этого органы скорее формальные) в полноправных хозяев предприятий, наделив их в том числе и политическими функциями. Из них впоследствии выросли административные, хозяйственные, военные структуры Приднестровья. Фактически возникла новая республика, в трудной борьбе отстоявшая свою независимость. Скажите, могут ли российские директора сплотиться и, используя энергию трудовых коллективов, вытащить Россию из той ямы, в которую ее втолкнули?

Н. Р. Два года назад я бы ответил утвердительно. Сегодня не могу сказать однозначно. Слишком сильно изменился директорский корпус. Немало таких людей, как Федор Клюка из Старого Оскола. Таких, какими и должны быть директора в моем представлении. Это хозяева, отвечающие за все, всех обеспечивающие. Ко мне на "Уралмаше" до ночи шли люди со своими проблемами, младенцев на директорский стол клали: в ясли устройте! И я устраивал, как мог, решал их проблемы... Но в последнее время появилось немало директоров, отгородившихся от своих коллективов, занятых только своими личными проблемами. На моем "Уралмаше" уже 50 процентов рабочих за воротами. И никто не пикнет — сразу с работы вышвырнут. На многих предприятиях уже нет профсоюзов. Жаловаться в газеты, на телевидение бесполезно — кто туда рабочего человека пустит? Люди чувствуют себя брошенными, боятся, никому не верят. Рабочие, не скрывая горечи, говорят: "Мы становимся рабами".

Не видят они заступников и в существующих политических партиях. Я недавно беседовал с рабочими. На вопрос, кто выражает их интересы, только один ответил — РКРП. Пять человек сказали: мы никому не верим. И никому не позволим говорить за нас. Мы сами должны создать организацию для защиты своих интересов.

Корр. Продолжим поиск возможных опор, столь важный сегодня. Вы много ездите по стране, встречаетесь с главами областных, районных администраций. Не кажется ли Вам, что эти люди намного способнее московских чиновников высшего звена? Что они гораздо лучше знают истинное положение в стране, болеют за свой край?

Н. Р. Согласен с теми, кто пишет, что российская провинция будет в бли-

жайшее время оказывать все большее влияние на положение в стране. В Москве хоть и создают политическую моду, но не знают положения в России. Посмотрите, шесть областей в Центральной России — это крепкий орешек. На референдуме, на выборах они четко заявили свои политические позиции. Это здравомыслящие люди, и они еще скажут свое слово. Если, конечно, власти разрешат очередные выборы. Вы же знаете, сколько идет разговоров, что полномочия верховного лица будут, очевидно, продлены, как при Брежневе, — до самой смерти...

Радикалы — правые и левые — утомили народ. Он устал от лозунгов и криков. Вот у меня на столе социологические исследования, подготовленные коллективом академика Г. Осипова. Опросы общественного мнения продолжают фиксировать усиление особенностей нынешнего характера социально-политических настроений граждан. Ощущение тревоги, скепсис, разочарование в практике реформ стали устойчивым социально-психологическим явлением. Социологические данные свидетельствуют о смещении в негативную сторону подавляющего числа индикаторов — самооценок, характеризующих качество и содержание повседневной жизни россиян: 77% опрошенных стали реже, чем прежде, ходить в кинотеатры, 66% — посещать спектакли, концерты, 58% — заниматься спортом, 46% — встречаться с друзьями, 43% — читать газеты, 42% — выезжать на природу, 39% — читать книги, 28% — слушать радио. Лишь одна форма проведения свободного времени стала более популярна среди россиян — просмотр телепередач...

...Не видят смысла в своей жизни 14% населения, чувствуют себя одинокими — 11%, ни на что не надеются — 22%, считают жизнь очень тяжелой — 31%. Иными словами, около 20% россиян ощущают себя несчастными. Но все-таки лишь 20%! Так что главным в социально-психологическом самочувствии россиян все же остается ощущение содержательности, осмысленности, наполненности своей жизни.

Откуда происходит этот несколько странный в современных условиях “внутренний” оптимизм населения? Вероятно, он имеет глубинные, традиционные для российского характера корни. Его основу составляет первичность, особая ценность для граждан гармонии межличностного общения, дружества, то есть все то, что лежит в основе соборности, коллективизма, человеческой солидарности. Абсолютное большинство россиян не удовлетворены: своим здоровьем (51% опрошенных), материальными доходами (75%), развитием событий в России (77%), но они довольны отношениями в семье (57% опрошенных), отношениями с людьми (58%), с друзьями (68%).

Корр. Николай Иванович, Вы были одним из руководителей огромной державы, у Вас колоссальный опыт. В чем Вы видите просчеты Ваших наследников (если, конечно, считаете Ельцина и его команду своими наследниками)?

Н. Р. Нет, я их наследниками не считаю. Это люди, которые в девяносто первом году одурачили народ. Я и они всегда преследовали разные цели.

Я поначалу поверил в перестройку. Был за обновление строя, но за сохранение его социалистических основ. В самом деле, почему мы должны отказываться от бесплатного медицинского обслуживания, от образования (американцы теперь признают, что мы были тогда впереди)? А бывший партократ Ельцин, Гайдар стремятся до основания сломать прежний строй. Они бросили нас в дикий, начальный, хаотический капитализм, которого на Западе уже давным-давно не существует.

Второе принципиальное разногласие с нынешними руководителями. Я всегда считал, что Россия — великая держава. Географически, по своим природным ресурсам, по интеллекту, по культуре. Ельцин эту державу развалил, ведет дело к прямой колонизации.

Говорят, Советский Союз был империей. А я считаю, что никакой империи не было. Вот Великобритания была империей. Англичане имели колонии, откуда выкачивали, как говорят, все живые соки. За счет этого процветала метрополия. Какая же империя Советский Союз? Русские должны были бы кормиться за счет остальных. Но я совершенно ответственно вам говорю, что из пятнадцати республик бывшего Советского Союза только две республики (и прежде всего Россия) производили больше, чем потребляли. Все остальные были дотационными, то есть, попросту говоря, больше потребляли, чем мы, россияне, и меньше производили. По любому вопросу, начиная с жилья. Посмотрите деревню нашу и деревню прибалтийскую. Какая же это империя, когда метрополия, если ее можно так назвать, сама кормила окраины, развивала их?

Любому непредвзятому человеку ясно: болтовня об империи — это дымовая завеса, “теоретическая база” под развал Союза. Посмотрите, что происходит в последние несколько лет. Сегодня Украина объявила себя самостийной, а ее назавтра уже в ООН принимают, телеграммы приветственные шлют. Как же так? Где Хельсинкские соглашения? Там же зафиксирована нерушимость границ! Но в отношении России уже давно применяется “двойная мораль”... А разве “двойная мо-

раль" не привела нынешних лидеров к сегодняшней ситуации? Они были инициаторами разрушения СССР как единого государства, а теперь стали ярыми "государственниками" и используют для погашения ими же вызванных разрушительных процессов в России танки и бомбы.

Корр. Ликование Запада по поводу развала Союза понятно. С одной стороны, устранен мощный соперник. С другой, огромные ресурсы России постепенно и неуклонно ставятся под контроль Запада.

Н. Р. Да, западный мир привык жить за счет других народов. Американцы — они составляют 4% населения земного шара — потребляют 25% природных ресурсов мира. Наши нынешние власти ведут к тому, чтобы Россия стала колонией Запада. Посмотрите на структуру экспорта и импорта. Сегодня 70% продуктов питания в Москве иностранного производства. В новом году их будет 80%. Это позволит западным правительствам создать у себя новые рабочие места. Я уже не говорю о растущей угрозе экономического закабаления. Нам ведь придется расплачиваться сырьем, невозобновляемыми ресурсами. СССР производил 625 миллионов тонн нефти в год (из них 585 давала Россия). За рубеж мы продавали 112 миллионов тонн, то есть 1/6 часть. В 1994 году в России добыто 300 миллионов тонн (падение в два раза!). Но продана будет 1/3 часть, не считая поставок в ближнее зарубежье. Одна шестая часть и одна треть — есть разница!

В прошлые годы союзное правительство не раз упрекали, что оно выходило из затруднительных положений за счет нефтедолларов. Как мы их расходовали? Треть на закупку продуктов питания, треть на приобретение сырья, не добываемого и не производимого в СССР, а треть на капвложения в индустрию и село. Вся страна на "жигулях" ездит — ВАЗ, так же как и КамАЗ, построены на нефтедоллары. А сейчас все нефтедоллары проедаются...

Корр. Намерены ли Вы снова включиться в политическую борьбу?

Н. Р. Из политики я не ухожу. Не отмалчиваюсь. Я часто выступаю в прессе, езжу по городам. С телевидением гораздо сложнее. Туда меня просто не пускают.

На прошедших выборах в Федеральное Собрание три организации предлагали мне включиться в их список. Я отказался. Почему? Потому что сами эти выборы — дело несерьезное. Надо было в "скоростном режиме" провести подготовку к выборам на основе Конституции, непонятно кем утвержденной. А что было бы, если бы саму эту Конституцию не утвердили на референдуме (кстати, до сих пор не утихают споры, набрала ли она количество голосов, необходимое для одобрения)?

Вообще, нынче с "большой политикой" происходит столько странного, что только диву даешься. Возьмите казус с последними выборами в Ленинграде. Помните, как в годы перестройки в Верховном Совете СССР любил выступать "энциклопедист-законник" Собчак? Никому спуску не давал за малейшее нарушение регламента. Ныне же мэр Санкт-Петербурга самовластным распоряжением переносит сроки выборов в органы власти. Как, оказывается, легко отбрасывается всякая "формальная демократия", когда подпирает "революционная целесообразность"!

Как будет складываться моя судьба дальше, зависит от того, что будет с Россией. Я отличаюсь от многих политических деятелей тем, что они там, в сфере "большой политики", не были, а я уже был, и это очень существенно.

Поэтому проявлять рвение для того, чтобы снова надеть какой-то политический или государственный мундир, чтобы только занимать какое-то положение, не собираюсь. Но если случится так, что потребуются вновь люди знающие, трезвомыслящие, которые могли бы помочь стране выйти из трудного положения, я тоже в стороне не буду.

Корр. Сейчас многие предрекают России гибель. Верите ли Вы в будущее нашего государства?

Н. Р. Я верю в здравомыслие народа. К сожалению, люди видят лишь ближайшую перспективу. Я бы сказал, короткую дистанцию. Придут в магазин — есть продукты на прилавках, значит, жить можно. А завтра, когда проедим все ресурсы? Нужно объяснять народу, что нынешнее импортное изобилие — хрупкий фасад, за которым бездна. Надо проводить большую разъяснительную работу, чтобы народ окончательно осознал пагубность курса нынешнего руководства. Это должна делать в первую очередь творческая интеллигенция. Но интеллигенция сегодня, увы, разная...

Корр. Да, есть те, кто толчется в приемной президента, но есть и другие, кто остался с народом. Хотелось бы узнать, Николай Иванович, кто Ваши любимые современные писатели?

Н. Р. Василий Белов, Валентин Распутин, Юрий Бондарев, Федор Абрамов. И Виктор Астафьев — бесспорно, крупный писатель. Да только он в последние годы необъяснимо перевернулся, озлобился. Обидно...

Корр. Николай Иванович, что Вы пожелаете читателям "Нашего современника" в новом году, году пятидесятилетия Победы?

Н. Р. Чтобы нынешнее безумие поскорее кончилось. Надеюсь, память павших заставит нас опомниться.



ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



СИНЬ ОСЕННЯЯ

* * *

Все, что мечется вокруг:
страсти, домыслы, пожитки, —
вдруг схватило под микитки
и терзает, как недуг;
все, что мне питало грудь
суетой — не божьим смыслом —
дымом в воздухе повисло,
застилая сердцу Путь.
...Славный выдался денек,
синь осенняя над лесом.
Озираясь с интересом,
сядь смиренно на пенек.
Эта рдяная листва,
эти ягоды крушины,
эта радость без причины
и душистые дрова!
Чу, возник собачий лай:
там — крестьяне, путь их труден,
то — существенные люди.
Вот туда и ковыляй.

ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич родился в 1931 году в Санкт-Петербурге. Известный русский поэт. Автор многих книг стихотворений и прозы, в том числе “Поиски тепла”, “Возвращение в дом”, “Черты лица” и других. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

7 НОЯБРЯ

Одного — с голодухи качает,
а другой — бычью шею наел.
Властью прокляты Маркс и Нечаев.
А народ все равно величает
революцию, бунт, беспредел!

До седьмого библейского пота,
до кровавой расправы парной
власть имущим сегодня забота,
им сегодня работа, работа!
А у нас этот день — выходной.

Выходной, выплесной, вот и вышли
на просторы великой страны,
потому что распятый Всевышний
проповедовал дальним и ближним,
что пред Богом все твари равны.

Претерпели мы муку большую,
преступили черту, а черта —
роковая! И вот что скажу я:
спать спокойно в России буржуям
не придется уже никогда.

ДНЕВНИК

"Позавтракал... Возились на катке.
Изрядно нализались... Краткий сон.
На танцах похлыщили... Боль в виске.
Закусывал... Играли в бадминтон.
У Сандро за мадерой... Десять лиц.
Ходил к молебну... После пили чай..."

И хоть бы раз из скорлупы страниц
проклюнулась мыслишка невзначай.
"Не клеилось... Скучали... Двор... Дворец.
Убил ворону... Третье января..."
...Чуть позже — мученический венец
всея России. И ее царя.

* * *

Шпиль, Кунсткамера, Невский —
Петербург, о котором
говорил Достоевский,
мол — "умышленный город."

Не возникший случайно,
как гора или поле,
не загадка, не тайна —
государева воля.

Дождь. Раскисли ботинки.
Флаги, мачты, матросы.
Отчего же дождинки
я глотаю, как слезы?

Отчего, из скитаний
возвращаясь, из пекла,
я у стен его зданий
возрождаюсь из пепла?

Знать, не столь он крамолен
был для церкви и трона,
сколько в муках намолен,
как святая икона.

* * *

Я вижу лес, за ним — Москва,
а за Москвою — вся планета.
Она пока едва жива,
она почти уже мертва,
но в храме Жизни — не отпета.

Над нею спутники взошли
и, не страшась в пространствах сгинуть,
плывут над нею корабли, —
как будто жители Земли
ее задумали покинуть.

А я взираю за окно,
я потерял свою подружку...
В иллюминаторе темно.
Знать, мой ковчег идет на дно.
А посему — поднимем кружку!

* * *

Под взглядом, как под фонарем,
стою, измят осклизлой пьянкой.
Была моим поводырем,
а стала — сторожем с берданкой.

Прости за дерзкие слова...
Я и не знал, болтаясь в мире,
что на любовь нужны права,
как на прожитие в квартире,

как на отбытие в Париж,
как на вождение машины...
А ты, подумав, говоришь:
"Да будут прокляты мужчины".

И выводя меня за дверь,
все причитала над порогом:
"Иди, иди отсюда, зверь..."
И добавляла внятно: "С Богом".

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Непутевым гулякой-солдатом,
обожавшим стаканчик и треп,
угодил я однажды поддатым

вместо койки — в январский сугроб.
Но возникла из вьюги лошадка,
на полозьях везущая воз,
ковылявшая валко и шатко...
Поровнялась и дышит всерьез.
И — ни с места. Хоть шеф ее злится.
А лошадка фырчит не шутя!
...Мне об этом поведал возница
за бутылкой, неделю спустя.
Так и спал бы в сугробе, воитель,
но торчал из сугроба сапог, —
и крестьянин, мой ангел-хранитель,
непутевое тело извлек.
...Сколько раз, замерзая, сгорая,
утопая в крови под ножом,
я тревожил посланника рая,
извиваясь в гордыне ужом.
И всегда шелестение крыльев
ощущал я в предгибельный миг.
Вот и нынче над смертною пылью
воссиял его пламенный лик.
Воссиял и погас... И сдается:
вдруг устал он рассеивать тьму?
Вдруг ушел и назад не вернется?
Будешь знать, каково одному!

* * *

Всё безобразно и пресно:
пайка, прогулка, кровать...
— Что это с вами, любезный?
Грех в наши дни унывать:
нет ни вождей, ни цензуры,
сник указующий перст.
...Что же он выглядит хмуро?
Что же он пайку не ест?
Глянет в окошко и охнет,
словно допустит просчет.
Плачут больничные окна,
дождик прохожих сечет.
Но иногда он — колючим
взглядом, пронзающим тьму,
глянет сквозь черную тучу
и улыбнется! Кому?..

* * *

И с дождичком свирепым,
и с колыханьем ржи,
и с этим серым небом —
расстаться не спеши.

Ласкай веселым взглядом
травинку над ручьем
и шпиль над Петроградом,
и хмель в мозгу своем!

Всё, всё — руины Рима,
лик нищенки, цветок —
свежо, неповторимо,
как в сердце холодок...

* * *

Я не желаю жить со всеми
в обнимку, в ногу... И пускай
меня клюет в затылок время,
как душезлобный попугай.

Я не желаю думать громче,
чем позволяет голос мой.
Я рад проснуться среди ночи
и, как дыханье, слиться с тьмой.

Я не хочу будить соседей,
я очарован ночью той...
Я окунек, попавший в сети,
в тенета музыки святой.

* * *

Вот-вот задует свечку —
свет жизни, золотой...
Устал, хочу на речку,
на бережок крутой.

Как воробей в навозе,
копаюсь сам в себе.
Устал, хочу на воздух,
к архангельской трубе,

к целительной церквушке,
к избушке без страстей...
Где Лермонтов и Пушкин
меняли лошадей.



ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ



НЕ ОТВРАТИ ЛИЦА ТВОЕГО...

"А дверь затворена́..." (Иез. 44-1)
Надпись на фреске церкви
Рождества-на-Красном поле,
г. Новгород.

За Окольным валом на подоле
Тихо дремлет в роще над рекой
Церковь Рождества-на-Красном поле,
Сторожа́ кладбищенский покой.

Тяжелы бугры валунной кладки,
Груб портал и окна без прикрас, —
Но иные тайны и загадки
В Божьем храме спрятаны от глаз.

Там, внутри, под сенью низких сводов,
Где, струясь, мерцает полутьма,
Золотятся в охристых разводах
Фрески несказанного письма.

Вещий свиток развернул Исайя,
В седине — лучисто-серебрист,
И, фаюмским ликом потрясая,
Смотрит строго Марк-евангелист.

Серафимы, ангелы, пророки,
Лики Византии и Микен, —
Все наследье мира, все уроки
Отразила роспись древних стен.

КУРДАКОВ Евгений Васильевич родился в 1940 году в Оренбурге. Автор книг стихотворений "Из первых рук", "Мой берег вечный", "Сад мой живой", двух книг очерков. Член Союза писателей. Живет в Новгороде.

Кто ж ты, Русь? Наследница? Предтеча?
Где, каким порывом и судьбой
Эта красота всечеловечья
Так свободно принята тобой? —

Так, помимо доли и юдоли,
Что и впрямь, не Господом ль дана?..
Церковь Рождества-на-Красном поле, —
тайна спит, а дверь — затворена.

* * *

Глум оглашенных... И нечем, и нечего
Бросить им встречно — в их темный угар...
Как удалось этой меченой нечисти
Вынести нас на вселенский базар?

Вынести ладное, русское, светлое —
На оголтелое всеторжество...
Мира заступница, Мати всепетая,
Не отврати лица Твоего...*

* * *

Над Москвой снежок осенний сыплет ситцевую муть,
Снова вспомнился Есенин, видно, надо помянуть.

Снова за сердце схватила эта боль из мрака лет:
Был поэт небесной силы, — ничего уж больше нет.

Только ветер лихолетья да тоска невпроворот...
Что-то солнышко не светит и уж, видно, не взойдет...

Вся судьба в родимой песне, — песни даром не поют:
Может, и меня на Пресне завтра палками забьют.

Эта банда... эти пушки... бесовская круговерть...
Выпьем с горя... ах, то — Пушкин... с ним полегче пить и петь...

Над Москвою ветер, ветер, серебристый снежный свей...
Что-то солнышко не светит над головушкой моей...**

* * *

По Мстинской улице моей летят метели,
И сквозь метельное безвременье глядят
Две церкви древние, две ветхие скудели, —
Никита Мученик и Федор Стратилат.

Безумен снег, смятенна ночь, но и в смятенье
Святая стража эта страждет до конца, —
Никита Мученик в мучительном терпенье,
Воитель Федор — с твердой стойкостью бойца.

Не бойся ночи, не сдавайся, обессилев, —
В пустом безвременье не спят, еще хранят
На Мстинской улице моей — мою Россию
Никита Мученик и Федор Стратилат.

---

* Из молитвы Державной Божией Матери.

** Песня руководителя крестьянского восстания на Тамбовщине Антонова, которую пел перед гибелью Сергей Есенин. См. "Есенин в воспоминаниях современников", т. 2, с. 354, М., "Художественная литература", 1986 и "Сергей Есенин. Материалы к биографии", с. 414, М., "Историческое наследие", 1993.



ЗА ПРАВО ИМЕТЬ ДОМ НА ЗЕМЛЕ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

РУССКИЕ: БРЕМЯ ВЫБОРА

"...И все это, как живая вода, нужно было нам, гордой и яростной нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиными очами!"

Л. М. Леонов
1944 г.

Вместо введения

В первой половине дня 4 октября 1993 года на шестом этаже Дома Советов под звуки канонады танковых пушек навсегда закончился один теоретический диспут. По крайней мере, для меня. Тогда, в моменты относительного затишья, когда можно было говорить и слышать, когда не звенели разбиваемые пулеметными очередями оконные стекла, я, лежа на полу, сказал лежащему рядом коллеге и другу С. Н. Бабурину, что давний спор наш закончен. А суть его была очень проста и одновременно актуальна. В нас, русских депутатов, называемых в прессе патриотами, национал-патриотами, националистами, стреляли русские солдаты и офицеры. Мы их видели собственными глазами. Знаю, что кто-то видел засланных из-за рубежа американских агентов, кто-то видел бейтаровцев, а я видел, как русские стреляли в русских...

Спор наш, как должно быть понятно, был о русском национальном самосознании, и я утверждал тогда, как утверждаю и сейчас: только при отсутствии национального самосознания русские могли стрелять в русских и только укорененное и развитое национальное самосознание исключает повторение подобной трагедии в будущем.

Для меня и раньше это было аксиомой, совершенно очевидной вещью, получившей такое страшное подтверждение во время шестичасового пребывания в простреливаемом снайперами и пулеметами кабинете С. Н. Бабурина. Я никогда не уставал повторять, что единственная прочная гарантия мира в России — это воспитание русского национального самосознания. Но это только часть проблемы, хотя и очень важная. Вторая же часть еще важнее: государство, образующееся как результат исторического творчества нации, существует тогда и только тогда, когда у государствообразующей нации существует выраженное и действенное Национальное Самосознание. Его исчезновение, разрушение, постепенная эрозия неизбежно влекут за собой ослабление политико-государственной воли и как результат изменение природы государства: отчуждение от него большинства нации, окончательный крах государства и растворение самой нации среди других племен и народов. То, что происходит с русскими сегодня, является одним из неизбежных этапов этого трагического процесса. Убежден, что процесс еще обратим, иначе бы я эту статью не писал.

У русского писателя Д. Балашова есть замечательный роман "Бремя власти". В этой книге художник раскрывает психологию властителя, вынужденного постоянно находиться в ситуации поистине трагического выбора, когда приходится

ПАВЛОВ Николай Александрович родился в 1951 году в д. Сальково Ярославской области. Кандидат биологических наук, доцент. Народный депутат Российской Федерации 1990—1995 годов. С 1 марта 1994 года политический секретарь Национально-республиканской партии России.

жертвовать честью во имя сохранения народа и государства. Но, как бы ни был гениален властитель, он должен быть подкреплен и соответствующим выбором самого народа или, по крайней мере, значительной его части. Сегодня наступили времена, когда русский народ поставлен перед необходимостью выбора. Бремя выбора в любом случае будет нелегким, независимо от того, что выберет русская нация. Сам же выбор очень ограничен: либо стать реликтом, диаспорой, раствориться среди сотен других наций, либо через сверхусилие, неистовую, бескомпромиссную борьбу стать Великой Русской Нацией, обеспечить свое историческое существование и процветание.

Точка отсчета

Совершенно очевидно, что Россия как государство и русские как нация переживают кризис. Это справедливо хотя бы потому, что практически трудно установить, каким образом русские определяют свою судьбу, какой видят свою будущность. Одни видят Россию в "семье цивилизованных народов" (так утверждают многочисленные "западники"); другие — не мыслят России без самодержавной монархии; третьи — мечтают о восстановлении Союза ССР; четвертые — готовы признать "Республику Русь" в виде "кишки" ничейных территорий 28 областей Российской Федерации... При этом о существовании русской нации как основного субъекта и объекта всего происходящего, как правило, никто не вспоминает, наоборот, все громче слышны голоса тех, которые утверждают, что русских как таковых нет, русские — это вообще не нация и т. д. и т. п. Говорят еще о "чистоте" нации, подводя к мысли, что коль "чисто" русских нет, то, стало быть, русские не нация. Как будто есть "чистые" англичане, французы или китайцы.

В пылу политических сражений возникла и пышным цветом расцвела целая мифология, которой в большинстве своем следуют противоборствующие политические стороны. Отход от этой мифологии весьма жестко пресекается добровольными цензорами, недостатка в которых ни один из противоборствующих лагерей не испытывает. Мифов множество, но есть среди них несколько таких, без развенчания которых дальше двигаться нельзя. Для патриотического движения это имеет особое значение, поскольку именно "патриотические" мифы делают движение недееспособным, обрекая на неудачи и поражения.

Например, как объясняется сегодня крушение тысячелетней российской государственности в 1917 году и крушение государственности советской в 1991 году? Эти два вопроса являются важнейшими для определения позиций на перспективу любой национально-ориентированной организации. Есть три стандартных варианта ответов. Первый — марксистский. Его все изучали в школе и институте. Борьба классов, Россия самое слабое звено, противоречие между трудом и капиталом. Это относительно 1917 года. Что касается 1991 года, то здесь дело посложнее, так как сколько-нибудь серьезного теоретического осмысления с марксистских позиций пока предложено не было. Достаточно прочесть статьи Г. Зюганова, чтобы убедиться в этом. Там превалирует упор на субъективный фактор, то есть "предательство" многочисленных партбонз вроде Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе.

Существует ответ на эти два вопроса с либерально-демократической точки зрения и сводится он к закономерностям борьбы за демократию, права человека, национальное освобождение "угнетенных народов", наконец борьбы против "империи зла". Характерно, что либерал-демократы, осуждая (на словах) октябрьский переворот 1917 года, всячески демонстрируют свои симпатии Февралю.

А что же так называемый патриотический лагерь?

У патриотов есть два ответа на эти вопросы. Первый носит всецело религиозный характер и в практической политике вряд ли применим. Крушение государства и в 1917-м и в 1991 году рассматривается как кара Божья за грехи, из чего делается вывод о невозможности восстановления порушенной жизни без искренней веры народа. Конечно, с сакральной точки зрения отвергать такой ответ было бы неверно, но для практического политика, ясно сознающего степень реальной воцерковленности сегодняшних русских, было бы лицемерием и легкомыслием руководствоваться только таким объяснением.

Второй ответ, широко распространенный в патриотическом лагере, объясняет все еще проще. Я имею в виду, конечно, "теорию заговора". Эта теория весьма весомо подкрепляется фактическими данными, введенными в отечественный на-

учный оборот в последние годы. Первые работы эмигрантского историка проф. С. Пушкарева о связях Ленина через Парвуса с генеральным штабом немцев стали широко доступны у нас в конце 80-х годов, и патриоты получили мощное документальное подтверждение одного из фрагментов "всемирного заговора" против православной России. В довершение этого совсем недавно документальное подтверждение получили давно ходившие слухи о еврейских предках матери Ленина. В новейшей истории роль Пушкарева для русских читателей и политиков выполнил благополучно здравствующий ныне глава КГБ СССР В. Крючков, пространно рассказавший на страницах некоторых патриотических газет о своих подозрениях в отношении члена Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлева. Дело доходило даже до проверки Генпрокуратурой России. И вновь версия легла на хорошо подготовленную почву, если вспомнить о русофобских позициях Яковлева, высказанных еще в его известной статье 1972 года и многократно подтвержденных в "перестроечный" период. Все сошлось. Русофоб, работал на ЦРУ, проник в верхние этажи руководства, методично вел подрывную деятельность: результат — СССР разрушен, русские расчленены, сатана торжествует. Писатели и ученые из эмиграции эту точку зрения авторитетно подтверждают. Уважаемый многими А. Зиновьев и многими ругаемый Э. Лимонов неоднократно писали о предательстве, перерождении нашей элиты и ее вине за катастрофу СССР. Круг замкнулся. Ни один "приличный патриот" сегодня "теорию заговора" в полном объеме отрицать публично не решается, даже если и высмеивает, чтобы не прослыть антисемитом.

Читатель, очевидно, уже нервничает и ждет, что же предлагаю я в качестве объяснения причин двух величайших катастроф этого столетия и в чем вижу ущербность "теории заговора" и объяснений марксистов и либерал-демократов.

Доктрины марксизма и либерал-демократов здесь обсуждать не имеет смысла, так как их фактически отвергла сама жизнь. А вот "патриотический" миф, тормозящий развитие национального движения, нуждается в обсуждении.

Первое, что сразу необходимо отметить: на протяжении всей мировой истории любое крупное государство подвергалось, в той или иной форме, подрывной деятельности соперников. Так было и так будет всегда, пока будут существовать люди и государства. Вопрос не в том, осуществляли или нет японцы, немцы, американцы, евреи и представители всех других наций и государств подрывную деятельность против Российской империи и СССР в начале и конце XX века. Вопрос совершенно в ином: если все они эту деятельность осуществляли, то почему их эмиссары и резиденты не были своевременно разоблачены и нейтрализованы. В США организацию "Черные пантеры" ФБР контролировало еще на стадии формирования и, как только она стала представлять опасность для государства, она была разгромлена.

Когда-то русская гвардия меняла императоров как перчатки, а в 1991 году, когда только слепой не видел, куда идет дело, наши "русские" партбонзы на последнем пленуме ЦК КПСС ограничились только мягкой критикой в адрес М. Горбачева.

А может быть, все дело в том, что никакие они не русские? Но тогда возникает другой вопрос, еще более важный и даже страшный — вопрос о реакции народа! В последнее время в политических или, вернее сказать, политизированных кругах стало правилом высказывать недовольство в адрес народа. Бывшие демократы это делают из-за провальных итогов последних выборов, а оппозиция из-за его покорности и долготерпения. Но факт остается фактом: подавляющая масса населения России не восстала против разрушения Союза. Да, на референдуме народ голосовал "за", несмотря на истерику бывших демократов, а вот в декабре 1991 года не вышел на улицы, не бастовал, воинские части не взбунтовались, не было никаких видимых проявлений недовольства. И это требует объяснения. Можно объяснить поведение элиты предательством, но весь народ в предатели записать нельзя. Нельзя также всерьез рассматривать версию об отсутствии государственного начала у русского народа. Это вздор и чистая русофобия, которой есть кому заниматься и помимо меня. Тогда что? Остается одно-единственное. Русский народ всем своим существом уже давно ощущал абсурдность ситуации, когда его по старой директиве В. Ульянова-Ленина поставили в неравноправное положение по отношению к другим нациям и народам. И хотя жаль государства под названием "Союз", но и себя хоть немного, но тоже жаль. Народ в этой ситуации всего лишь проявил, пусть и в ослабленном виде, инстинкт самосохранения.

Здесь, видимо, уместно напомнить многим забывчивым сторонникам восстановления Союза в прежнем его виде о людоедских по отношению к русским

планах поворота рек, программе массового переселения на чрезвычайно льготных условиях жителей Средней Азии в Центральную Россию, которая к этому времени была уже лишена исторического и даже географического имени и названа “нечерноземной зоной”. Напомнить то, о чем в последнее время сказал в своих интервью бывший премьер Н. Рыжков, а именно, что **ни одна из союзных республик, кроме Туркмении, ни копейки не поставляла в союзный бюджет.** Уже осенью 1989 года было точно известно, что из бюджета РСФСР ежегодно уходит 70 млрд. рублей в бюджеты других республик. Все эти факты сегодня многие предпочитают не вспоминать и даже говорить об их искусственности, провокационности, целенаправленном использовании для разрушения Союза. Отчасти это справедливо, действительно Ельцин и часть “Демократической России” перехватила многие аргументы искренних патриотов образца 1985—1989 годов об униженном положении РСФСР и русских вообще в Союзе ССР. Но кто бы ни использовал эти факты, их существование бесспорно! Просто уже невозможно стало дальше скрывать статистические показатели бюджетных перераспределений, количество студентов разных национальностей, которые в ущерб русским обучались во всех российских вузах, количество автомобилей и метраж жилой площади на тысячу жителей разных национальностей. То, что так называемые “политики” и так называемая “интеллигенция” узнала только к концу 80-х годов, простые русские люди давно увидели собственными глазами, а многие уже испытали на своей судьбе. Ведь процесс наглого, циничного “выдавливания” русских из многих союзных республик начался отнюдь не после распада Союза, а еще в 70-е годы! И только те, кто ничего не понял и ничему не научился за эти годы, продолжают делать вид, что теоретической и практической дискриминации русских в Союзе не было и разрушение “союза нерушимого республик свободных” было только результатом действий ЦРУ и его агентов внутри страны.

Все это, конечно, совсем не означает, что меня можно записать в апологеты Ельцина, да это было бы просто смешно. Ведь я был один из тех шести (!) депутатов, членов ВС РФ, которые голосовали в декабре 1991 года против ратификации Беловежских соглашений, и нисколько не жалею об этом. Могу и сейчас сказать, что это был самый настоящий заговор и его авторы были бы в любом нормальном государстве немедленно арестованы и отданы под суд. Теоретически у Горбачева были для этого все возможности. Но суть сейчас не в этом... Когда я голосовал за Союз, я, разумеется, вовсе не желал сохранить Союз в прежнем виде, напротив, я думал единственно о модернизации Союза не в ущерб, а на пользу России! В этом принципиальное отличие позиции русских националистов от “союзных” патриотов. И от того, как будет решен этот спор, зависит историческая судьба Русской Нации. Потому что для русских националистов подлинная трагедия не в разрушении Союза, а в том, что не восстановлена до сих пор историческая национальная Россия, что Россия остается пока в ленинско-сталинско-хрущевских границах.

А как быть с 1917 годом, спросит внимательный читатель! И здесь ответ в общем виде может быть только такой же, как и применительно к году 1991-му.

Конечно, в 1917 году ситуация была на порядок сложнее. Ведь никто не может отрицать факт гражданской войны и факт неприятия большей частью национальной элиты нового режима. Одновременно остается вопрос о причинах поражения национальной России в гражданской войне, как это принято считать у ортодоксальных “белых” патриотов.

Эта тема настолько объемна и сложна, что вряд ли возможно даже в нескольких статьях ее детально рассмотреть. Я коснусь только одного аспекта, а именно — вопроса восприятия гражданской войны с учетом нынешнего опыта. С кем воевали мобилизованные русские рабочие и крестьяне? С позиций русского националиста, они воевали с такими же рабочими и крестьянами. А с позиции самих красноармейцев? С позиции красноармейцев, они воевали с “буржуями”. Соответственно для многих “белых” война была с восставшей чернью и со взбунтовавшимся быдлом. Сегодня наследники тех и других не утомляются выкладывать все более весомые аргументы в свою пользу. Одни перечисляют порушенные храмы, фамилии расстрелянных и высланных ученых, напоминают о происхождении большевистской верхушки, а другие, в свою очередь, признавая иногда издержки, говорят об индустриализации, стремительном росте образования, создании первоклассной науки, выходе в космос и т. д. И опять — вопрос о русском национальном самосознании целенаправленно отодвигается в сторону. На мой взгляд, дело гораздо сложнее — перед нами картина краха национального менталитета, распад

вековых национальных идеалов и общепризнанных приоритетов. Перед 1917 годом русское национальное самосознание имело множество разломов — следовательно, органическое единство нации просто отсутствовало. Даже в хорошей семье бывают ссоры, но они заканчиваются взаимными уступками и миром. Здоровая нация всегда напоминает именно такую семью — вместо революций и гражданских войн здоровая нация осуществляет, по мере накопления проблем, необходимые изменения, то есть идет национально-реформистским путем.

Когда нация глубоко больна, все происходит совершенно иначе. Вот и в октябре 1993 года русские солдаты и офицеры с отшибленным национальным самосознанием стреляли не в своих, русских по национальности людей, они громили "заговор" "красно-коричневых" и "коммуно-фашистов", то есть зеркально повторилась ситуация после 1917 года. Можно с таким подходом спорить, можно даже заклеймить автора и долго сладострастно перечислять ему фамилии комиссаров Красной Армии, начиная с Лейбы Бронштейна по кличке Троцкий, или напомнить о небезызвестном Боксере и отрядах "Бейтара". В ответ я мог бы перечислить фамилии столбовых дворян, командовавших полками и дивизиями "красных". Но делать этого не буду, а только спрошу, как случилось, что среди всего мобилизованного в революцию офицерства не нашлось ни одного полковника, предвосхитившего Штауфенберга, подложившего бомбу Гитлеру. Троцкому, Сталину и Фрунзе никто такой бомбы не подложил. И это не объяснишь трусостью, нельзя же упрекнуть в трусости людей, ежедневно рисковавших жизнью на протяжении многих лет войны. Напротив, полковники генерального штаба добросовестно разрабатывали операции против бывших своих сокурсников по Академии Генштаба точно так же, как в октябре 1993 года один "афганец" согласился на использование танков против другого "афганца". И опять мы упираемся в так нелюбимый рационалистами-материалистами идеальный фактор национального самосознания. Вот это неуловимое, неосязаемое чувство национального самосознания и есть главный фактор, определяющий как готовность отказаться стрелять в своих, потому что они именно свои, русские, так и — подвигающий на смерть и подвиг. С великим сожалением приходится констатировать, что сегодня чувство национального самосознания у русских находится на столь низком уровне, когда оно не только не выступает в качестве движущей силы борьбы, но даже не служит преградой к взаимоистреблению.

Национальное самосознание и его связь с практической политикой

Тезис об отсутствии в сколько-нибудь развитых формах национального самосознания у современных русских становится вполне очевидным при сравнении политических событий в бывшей Югославии и бывшем СССР.

Однако прежде чем перейти к этой теме, хочу пояснить, что национальное самосознание — это не только, а может, и не столько знание своей истории в глубь веков, традиций, национальной культуры и прочих, условно говоря, "фольклорных" премудростей. Это все является очень желательным и даже необходимым, но этого явно недостаточно для эффективной реализации охранительной функции национального самосознания, для жизни и развития нации. Эта функция национального самосознания может быть реализована только в действии, когда в критической ситуации человек готов решительно, не останавливаясь ни перед чем, бороться и даже погибнуть в борьбе за право на жизнь и развитие своей нации как органической целостности. Более того, он даже счастлив оказаться в ситуации, когда от него требуется героический поступок, личная жертва во имя блага его народа, он возвышается в душе своей именно от сознания, что представляет собой нацию, ее малую, но органично связанную с целым часть! И борется такой человек не за некие абстрактные права человека, историческую справедливость, гуманизм и прочие пошлейшие лозунги лживого либерализма. Он борется за историческую судьбу своего народа! Тот, кто отдавал приказ бомбить Ирак, меньше всего думал о правах граждан Кувейта или исторической справедливости. Эти люди думали о вполне реальных интересах реальных американцев, которые хотят иметь дешевый бензин для своих многочисленных автомобилей...

Сравнивая Югославию и СССР в период распада, я испытываю чувство горечи при анализе поведения сербов и русских. Сербы из 23 млн. человек насе-

ления СФРЮ составляли 36 процентов, тогда как русских в Союзе было более 50 процентов. Точно так же как сербы в СФРЮ, значительная часть русских проживала на территориях, непосредственно граничивших с РСФСР (Эстония, Украина, Казахстан). Но как разительно отличается поведение тех и других при распаде единого государства! Русские в большинстве союзных республик, включая и прибалтийские, дружно голосовали за суверенитеты (чьи?), избирали своих будущих притеснителей и совершенно не ощущали свои отдельные интересы, не ощущали себя частью единой русской нации. Выполнив свою функцию "демократического тарана" на первой стадии распада страны, они немедленно были лишены всяких политических прав де-юре, как в Латвии и Эстонии, а в других местах де-факто, как в Казахстане и на Украине. Степень жесткости отношения и конкретные механизмы дискриминации в разных республиках различны, но смысл их оказался един. Русские стали дискриминируемым национальным меньшинством, имеющим меньше прав, чем имели их коренные обитатели колоний Британской империи. И пока нигде, за одним исключением, русские не заявили делом о своем несогласии с таким положением вещей.

Это исключение составляет Приднестровье, но и там русские не могут рассматриваться как главный инициатор действий, так как большая часть русских в Молдавии живет не в Приднестровье, а по другую сторону Днестра. Оказалось, что многомиллионные (!) массы русских совершенно не способны даже к самозащите и либо покорно терпят унижения, либо спасаются неорганизованным бегством в Российскую Федерацию.

Что в подобной ситуации сделали сербы? Сербы сразу же после объявления независимости Хорватии (12 процентов населения — сербы), Боснии и Герцоговины (около 1/3 — сербы) начали борьбу. В Боснии и Герцоговине во время референдума о независимости 1 марта 1991 года сербы как один отказались от голосования, их депутаты, после того как парламент Боснии и Герцоговины проголосовал (вопреки Конституции) простым большинством за независимость, вышли из состава парламента. Был организован референдум среди сербов и создано свое государство Республика Сербска. В Хорватии сербы также создали фактически независимое государство Сербскую Краину. Читатель, возможно, скажет, что после этого началась война, и сделает совсем не тот вывод, с которого я совершенно сознательно начал сравнение. Да, война началась, да и не могла не начаться, поскольку сербы не захотели жить на положении людей второго сорта. Слишком прочна их генетическая память, да еще живы и те, кто помнит геноцид во время последней мировой войны со стороны хорватских фашистов. Организаторы развала СФРЮ исходили из того, что либерализм, пацифизм, общество потребления и прочие "достижения" цивилизации необратимо изменили национальное самосознание сербов, они рассчитывали, что сербы просто оставят землю, на которой жили долгие годы. И просчитались! Да, война — это страшная реальность мировой истории, и я отнюдь не призываю к войне. Делал и делаю все, что от меня зависит, чтобы найти политические способы решения возникающих проблем. Но беда-то в том, что мы шаг за шагом, отступая везде, где можно и где нельзя, не только не отодвигаем от себя войну, а всячески приближаем ее грандиозный шквал. Мир в Европе после 1945 года держался почти 50 лет не благодаря усилиям платных кликуш и проповедников мира из различных общественных комитетов, а только и исключительно благодаря паритету сил и продемонстрированной во время Великой Отечественной войны воли русского солдата сражаться, не щадя своей жизни.

Я абсолютно убежден, что воля эта сохраняется и сегодня, и огромную ошибку совершают политики из ближнего и дальнего зарубежья, считающие происшедшие изменения необратимыми. Невежды и провокаторы в СБ ООН, поддержавшие резолюцию о принадлежности Севастополя Украине, меня интересуют мало, а вот украинские самостийники могли бы призадуматься о судьбе Мазепы и Бандеры...

Ради справедливости стоит отметить, что есть обстоятельства, объясняющие нынешнюю пассивность русских в государствах-новоделах. У сербов до самого последнего времени за спиной чувствовалась поддержка Белграда, а у русских в той же Эстонии слышны только крики из Москвы о сталинской агрессии, о "тюрьме народов" и "империи зла". И второе, что очень важно. Русские, как достаточно большая нация, расселенная на огромной территории и давно привыкшая мыслить глобальными категориями, пока просто не в состоянии ощутить степень и масштаб угрозы для своего национального существования. Однако это все вторично.

Первичным же является утрата национального самосознания до такой степени, что даже внутри России, например в Казани, русские, составляя половину населения, голосуют за какой-то мифический суверенитет, отказываются принять участие во всероссийских выборах и референдуме и вообще ведут себя не как русские, не как часть единой нации. И это уже после экспериментов в Прибалтике!

Читатель вправе спросить, что же надо делать? А если он еще и "цивилизованный", то уточнит насчет войны, то есть спросит, не предлагаю ли я войну. Нет, пока еще русские могли и могут все эти проблемы решить без войны. Наши предки, не знавшие внушенных "интернационалистами" типа Ленина понятий "коренной" и "некоренной" наций, оставили нам в наследство такую мощь и силу, что пока можно отстоять свои права без войны. Завтра это сделать без войны уже не удастся, поэтому "партия войны", о которой постоянно кликушествует Козырев, — это не те, кто говорит о русских национальных интересах, а именно его команда, допустившая попрание этих интересов в беспрецедентных в мировой истории масштабах. "Партия войны" — это те, кто поощрял и поощряет антирусскую агрессию как внутри России, так и за ее пределами. И если кто-то действительно желает мира не за счет национального унижения русских, то выход только в политической борьбе с "партией войны" в лице политиков, проводящих антирусский курс.

Несколько слов о пацифизме. Стремление избежать войны, вообще говоря, является вполне справедливым и объяснимым. Никто, находясь в здравом уме, не бросается под колеса мчащегося поезда. Но вместе с тем только трус и подонок не сделает этого, если на рельсах заигрался ребенок. А если это не просто ребенок, а ваш сын или дочь?

Пора, наконец, понять, что есть вещи поважнее пресловутого мира! Это честь, достоинство, свобода и независимость. Отказ от них, якобы во имя мира и благосостояния, еще никогда не приносил ни того, ни другого, а только бедность, унижения и страдания! Абстрактный пацифизм всегда предлагают тем, кого хотят поработить. В последние десятилетия, особенно после 1945 года, русским буквально вдалбливали в голову тезис "лишь бы не было войны!". И сегодня многие споры заканчиваются этим "неотразимым" аргументом, когда на любые разумные предложения, с которыми на словах соглашаются, следует сакраментальное: "Это может привести к войне!" Причем парадокс заключается в том, что войны не боится никто, кроме русских. Ее не боятся латыши, лишая сотни тысяч русских всяких прав, не боятся чеченцы, изгоняя русских, не боятся татары, шаг за шагом разрушая российское государственное единство, даже эстонские "антикоммунисты" не боятся, требуя от России выполнить завет коммуниста номер один по фамилии Ульянов-Ленин и отдать исконно русские земли по так называемому "Тартускому договору".

Вот и получается, что войны должны бояться только русские, чтобы их можно было грабить, унижать и расчленять, не встречая никакого сопротивления. В это же самое время наши заокеанские "учителя" пацифизма прибегают к войне даже по самым ничтожным поводам, как было, например, на Гренаде или в Панаме.

Поэтому сегодня нет важнее задачи, чем избавить нацию от ложно понимаемого миролюбия и мистического страха войны. Россия 90 процентов войн вела вынужденно, обороняясь, и не мы должны извиняться, а перед нами. Это к нам шли Батый и псы-рыцари, Наполеон и Гитлер, а не мы к ним. И если бы русские в последнюю войну с "цивилизованными" германцами из третьего рейха руководствовались мерзостями пацифистской идеологии, нас уже просто не было как нации и государства. Это хорошо понимали наши предки. Выдающийся русский патриот М. О. Меньшиков, расстрелянный чекистами в 1918 году, писал, как будто предвидя нынешний всплеск абстрактного пацифизма: "Мир, во что бы то ни стало мир! Всякое первородство отдадим за чечевичную похлебку! На эти рабские крики приходит высшее существо, народ-победитель, и отнимает не одно первородство, а и чечевичную похлебку... Пусть не думают "мирные буржуа", что им придется пожертвовать только народной честью. Теряя честь, трусливый народ теряет обыкновенно и территорию свою, и свою свободу!" Вот почему лозунг русского национализма в этом вопросе должен быть простым и ясным: **нам чужого не надо, к военным авантюрам не стремимся, но за свое будем воевать до Победы!**

Нужна русская национальная политическая элита!

Выше был рассмотрен вопрос о причинах катастрофы 1917-го и 1991 годов и была высказана точка зрения о том, что главной причиной той и другой катастрофы была слабость и расколотость русского национального самосознания. Многие с этим не согласятся. Не хочу привлекать крупные авторитеты в подтверждение этой точки зрения. Я высказываю свое понимание и свои позиции, но не могу отказать себе в удовольствии привести точку зрения известного православного монархиста, выдающегося русского философа и мыслителя И. А. Ильина, который в статье "О главном" говорит следующее: "Прежней России не будет. Будет новая Россия... И вот к ней мы должны готовиться; и мы ее должны готовить, — ковать в себе самих, во всех нас новый русский дух, по-прежнему РУССКИЙ, но не прежний русский, то есть **больной, не укорененный, слабый, растерянный** (выделено мною. — Н. П.). И в этом главное". И далее, в статье "Почему сокрушился в России монархический строй", высказывает И. Ильин совершенно невероятное, с точки зрения ортодоксального православного монархиста, мнение, что одной из причин катастрофы в России было отсутствие дееспособной монархической партии: "Настоящей ответственной монархической партии с глубоко продуманной программой и верной активной политической тактикой в России перед революцией не было". Приведу некоторые собственные аргументы, касающиеся необходимости существования национальной политической элиты как важнейшего условия развития и национального самосознания, и собственно существования самой нации и государства.

Никому не приходит в голову идти лечить зубы к окулисту или, тем более, к учителю истории. А вот доверить решение сложнейших вопросов, определяющих судьбу народа и государства, совершенно случайным людям оказалось возможно. Теперь, как будто, начинает доходить до очень многих людей, что принципы формальной демократии, даже в нашем достаточно образованном обществе, во многом ущербны. Трех лет радикальных "реформ" оказалось достаточно, чтобы слово "демократ" стало ругательным. И вот уже один из певцов демократии Г. Попов рассуждает о необходимости ограничить всеобщее избирательное право, напоминая, что и в других странах оно вводилось не сразу и не для всех. В частности, речь идет о системе образовательных и имущественных цензов, ограничений избирательных прав женщин, существовавшей в США и Великобритании. Широко известна статья обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева с характерным названием "Великая ложь нашего времени", в которой блестяще раскрыты пороки парламентской демократии.

Вопрос этот, таким образом, имеет солидную историю даже в нашей стране, а вообще восходит к дискуссиям, которые велись еще в Древней Греции. Вряд ли кто возьмется утверждать, что в ближайшее время он будет решен, если не считать, конечно, решением стрельбу из танков по парламенту. В любом случае та или иная форма выборных органов государственной власти в России существовать будет, хотя полномочия их могут изменяться в зависимости от конкретной расстановки политических сил. А вот принципиальное решение этого вопроса, как часть национальной идеологии, должно быть сформулировано раз и навсегда. Сформулировано и воплощено в действительность независимо от политической конъюнктуры.

Таким единственным решением может быть только признание двух важнейших тезисов.

Первый. В современном высокоспециализированном обществе политическая деятельность должна являться (и давно является!) действительно высокопрофессиональной деятельностью.

Второй. Нация не сможет успешно существовать без своей национальной политической элиты. Тем, кому слово "элита" не нравится, поясню, что любая высокопрофессиональная деятельность, строго говоря, является элитарной. И у нас, как и в других развитых странах, существовали практически все виды элит. Все, за исключением политической!

Формально и в Российской Империи, и в СССР политическая элита как будто бы существовала. Более того, если говорить об СССР, то политическая элита даже специально готовилась. Но нельзя не признать, что крах государства, происшедший не в результате военного поражения, продемонстрировал прежде всего несостоятельность, выморочность этой политической элиты. В период 1989—1991 годов, то есть с момента первых свободных выборов и до ликвидации СССР,

советская политическая элита количественно доминировала на всех уровнях всех ветвей власти. В этот раз, в отличие от 1917 года, в СССР никаких пломбированных вагонов из Швейцарии и пароходов из Нью-Йорка с Лениным и Троцким нам не присылали. Если проанализировать состав, например, российского съезда народных депутатов, то выяснится, что он на две трети состоял, во-первых, из членов КПСС, во-вторых, из русских по национальности и, в-третьих, из лиц, имевших высокий образовательный и служебный статус. Все эти данные, даже с фотографиями, легко доступны и не раз публиковались. Новых людей, откровенно враждебных системе, в депутатском корпусе были единицы. Причем парадокс всей ситуации заключается в том, что основная часть разрушительной работы была проведена с прямым или косвенным участием именно лояльного системе и государству "серого" большинства, тупо нажимавшего на кнопки пульта для голосования по принципу "не ведаю, что творю". Здесь нужно сказать, что неопытные в политическом смысле люди (их было абсолютное большинство!), люди, хорошо подготовленные в конкретных профессиональных областях, и люди, которые были опытны политически, но чрезвычайно трусливы, прямо способствовали всему тому, что случилось. Если бы на начало политической деятельности одни из них имели опыт, а другие — мужество, то катастрофа, разумеется, не произошла бы.

Накопив опыт в течение трех лет работы, эти люди начали понимать очень и очень многое. Одна из нераскрытых "тайных причин" расстрела Верховного Совета и заключается в том, что депутаты, которые на первой стадии своей деятельности были от политики далеко чрезвычайно, приобрели те необходимые качества, какие требуются политику (здесь я имею в виду политика как ответственного представителя своих избирателей), и начали, следуя своему пониманию интересов страны и народа, принимать решения, крайне неудобные верхним эшелонам власти. Как говорится, не боги горшки обжигают. Я вспоминаю состояние полной опустошенности после ратификации договоров с Украиной, Казахстаном и, особенно, после ратификации Беловежских соглашений. В последнем случае, как я уже говорил, нас было шесть человек, проголосовавших "против". И вот когда все, дружно нажав кнопки, встали и начали аплодировать, у меня мелькнула мысль, что мои коллеги просто сошли с ума. Ведь они только что простым нажатием кнопки отдали ту святыню, за которую их деды и отцы пролили реки собственной крови. И никакими подкупами это объяснить нельзя. Можно подкупить два десятка депутатов, но подкупить сотню просто никто не решится. Реальное объяснение страшно своей обыденностью. Все эти люди потеряли ориентиры, а для политика в современном мире может быть только один ориентир — это интересы нации, которую он представляет. Наши политики, хоть из "старой", хоть из "новой" политической когорты, такими категориями, как правило, вообще не мыслят. Они представляли округ, область — их население. Наблюдая более трех лет поведение депутатов, нельзя было не обратить внимание на поразительную разницу в поведении русских (по происхождению) и нерусских депутатов. Последние проявляли потрясающую активность при малейшем намеке на игнорирование их интересов, даже в самых второстепенных вопросах. Именно потому, что совершенно однозначно самоидентифицировали себя с конкретной нацией, хотя их округа были ничуть не менее "многонациональны", чем у русских депутатов.

Сегодня приходится констатировать, что у нерусских народов России национальная политическая элита в большей или меньшей степени сформировалась, консолидировалась и делегирует на федеральный уровень весьма активных и хорошо подготовленных представителей.

В рамках нашего депутатского корпуса у представителей "национальных" республик, как правило, была выше подготовка к политической работе, активность в отстаивании своих интересов, конкретный опыт в политике. Новые выборы показали, что большинство из них вновь избраны либо в Думу, либо в Совет Федерации. Кроме того, самый поверхностный анализ показывает, что даже в "национальных" республиках с очень большой долей русского населения, за редким исключением, избираются представители "коренной" нации. И дело здесь не в том, что на съезде народных депутатов исконно русскую Новгородскую область представлял почему-то еврей Вайнштейн, а Тюмень — немцы Руппель и Миллер, а в том, что они к политике никогда и никакого отношения не имели. Вайнштейн — хороший врач, Руппель — прекрасный летчик, а Миллер всю жизнь успешно занимался проблемами автоперевозок. И все они, пройдя суровую школу за эти три года и освоив политические проблемы, уступили свое место на новых

выборах вновь совершенно неподготовленным людям, тогда как жители "национальных" республик руководствовались нехитрой житейской мудростью: "за одного битого двух небитых дают".

Как разорвать этот замкнутый круг?

Если исходить из того, что в той или иной форме представительная система нужна и будет существовать, независимо от степени полномочий парламента, президента и правительства, то нельзя не видеть необходимости целенаправленной подготовки национальной политической элиты. Подразумевая под элитой людей, профессионально готовящих себя для занятий политикой с точки зрения интересов русской нации. Для этого как политические партии, так и государство должны обеспечить людям, имеющим желание и соответствующие способности, возможность получить хотя бы минимальную политическую подготовку. Пока это остается мечтой в отношении государства, весь груз должны взять на себя патриотически ориентированные партии и организации. Без отбора и соответствующей подготовки будущих национальных политиков в XXI веке мы, русские, будем просто стерты с политической карты мира. Размышляя о грядущей России, Ильин писал, что править государством должны лучшие люди страны. И он же дал прекрасное определение таким людям: "...искренний патриот, государственно мыслящий, политически опытный, человек чести и ответственности, жертвенный, умный, волевой, организационно-даровитый, дальнозоркий и образованный". Вот такие люди нужны сегодня русской политике. Необходимо найти их, подготовить, привить вкус к политике и объяснить, что **традиционное российское восприятие политики как дела второсортного на руку только врагам русской нации!** Это задача именно сегодняшних политиков, поскольку без ее решения мы будем все дальше сползать в пропасть исторического небытия!

Срубить головы Змею Горынычу!

Все читали в детстве русские народные сказки, где присутствует трехголовый Змей Горыныч. Я убежден, что он и есть наш самый страшный внутренний враг. Причем страшен он не тем, что змей да еще и Горыныч, а тем, что живет в душе многих из нас. Давно известно, что не тот человек смелый, кто не боится, а тот, кто преодолевает свой страх во имя высокой цели и исполнения долга. Вот такое время и наступило сегодня. Нужно срубить головы Змею, живущему в наших душах. Их у него три, и зовутся они — **глупость, трусость и леность.** Не срубив эти головы, нельзя рассчитывать всерьез не только на мало-мальский успех в борьбе с внешним врагом, который был, есть и будет, но даже на решение самых элементарных проблем. Когда я смотрю на фотографию сидящего в инвалидном кресле в окружении конвоиров лидера организации "Хамас" и читаю подпись под снимком, что он с двенадцати лет инвалид, имеет 11 детей и в 1991 году в возрасте 56 лет приговорен израильским судом к пожизненному заключению, но не отказался от своих убеждений, то думаю отнюдь не о проблеме мирного урегулирования на Ближнем Востоке. В конечном счете это сугубо внутренняя проблема евреев и арабов. Я думаю даже не о религиозном фанатизме евреев или палестинцев. Я думаю о русском национальном движении. Есть ли сегодня у нас политические лидеры такого масштаба личности? Понимаем ли мы, что только при наличии людей такого характера можно всерьез претендовать на то, чтобы именовать свой народ нацией? Ведь у нас до сих пор как трагедию воспринимают даже небольшие бытовые неудобства. Мне до сих пор стыдно читать слова возмущения про отключенные свет и воду в Доме Советов. Кое-кто говорит даже о нарушении прав человека. И тут же начинает говорить об "оккупационном режиме"...

Может быть, некто робкий не поверит, но лично мне двухнедельное спанье на сдвинутых стульях принесло даже определенное моральное облегчение. По крайней мере, все встало на свои места. И в этой ситуации мы, бывшие депутаты, уже одну голову змея в своей душе отрубили. Голову страха. Но оставались еще две: глупость и леность. Вот они-то и не дали нам победить.

Почему необходимо специально обратить внимание на эту проблему? Да потому, что сплошь и рядом мы оправдываем свою пассивность, покорность, робость и неумение совершенно фантастическими причинами. Искушенный человек может в ответ на это вздохнуть и посетовать на наш национальный характер, усталость людей, задавленность бытом, отупляющую пропаганду, более

того, — на всеобщее безверие. Но все это будет абсолютная неправда, хотя все это и присутствует в жизни.

Неправда потому, что русские как нация продемонстрировали не раз за свою историю выдающийся ум, смелость и энергию. Менделеев и Павлов, Курчатов и Королев, Суворов и Жуков, выдающиеся полководцы, строители, монахи, купцы и воины, строившие монастыри, мостившие дороги, взмывавшие ввысь космические корабли, были не пришельцы из других миров, а обыкновенные русские люди. Нельзя не видеть недостатков в своем народе, это худший вид псевдопатриотизма, но нельзя отрицать и очевидных достоинств и свершений, что является просто отвратительной "смердяковщиной". И дело заключается в малом. Дело заключается в переносе вполне развитых качеств в сферу, которой народ наш исторически занимался мало, то есть в сферу политики. Инженер, врач, учитель, офицер, шахтер, летчик, водитель дальних рейсов или буровик на своем рабочем месте демонстрируют все эти качества, иначе у нас просто ничего бы не было. Но вот он приходит в новую для себя сферу деятельности и превращается в послушного и робкого ученика неизвестно каких учителей, становится совсем другим человеком. Это не вина, а беда его. И пока политически активная часть нашего народа не преодолеет гнездящийся в душе страх, пока мы не начнем думать своей головой, пока не поймем, что "как-нибудь" ничего не образуется, то есть пока не перенесем в политику хотя бы самые элементарные житейские истины и принципы, давно укорененные в жизни народа, наша политика будет оставаться преступно ублюдочной, однозначно антинациональной и прежде всего антирусской.

Нужно понять, что в России нет еврейского, татарского, немецкого или китайского "вопроса". **В России есть один основополагающий вопрос — это вопрос РУССКИЙ.** Вопрос развитого, полноценного, активного, дееспособного национального самосознания. И русское национальное движение в первую голову должно заниматься не различными перечисленными выше "вопросами", а должно заниматься **русским вопросом**, должно заниматься собственно русской нацией, решать ее задачи. Все остальные "вопросы" при реальной политической дееспособности русской нации будут казаться просто смехотворными, они станут уделом не политиков, а историков.

Победа над Змеем Горынычем не бывает легкой даже в сказках, а уж в жизни его победить без сверхусилий тем более не получится. Но не зря в народе бытует поговорка "не так страшен черт, как его малюют". Процесс преодоления лености, глупости и трусости, один раз начавшись, будет неизбежно продолжаться и набирать силу. Интересно с этой точки зрения взглянуть на ситуацию после государственного переворота, когда вместо того чтобы всячески стимулировать активность людей, прошедших горнило парламентских испытаний, часть патриотических теоретиков предложила им отойти в сторону, уйти в политическое небытие и заняться отмаливанием существующих и несуществующих грехов.

Мне уже приходилось в период предвыборной кампании писать о проблеме участия в выборах представителей оппозиции. Однако необходимо на эту тему высказаться более конкретно и прямо, поскольку сначала в статьях Э. Володина и К. Мяло в "Литературной России" (№39, 1993), а затем 3 ноября 1993 года в докладе С. Кургиняна на заседании клуба "Постперестройка" прозвучали резкие обвинения в адрес депутатов-оппозиционеров, решивших вновь участвовать в выборах.

Необходимость разговора по проблемам тактики и стратегии назрела давно, и сегодня очевидно, что без выработки ясной, целостной и современной идеологии, стратегии и тактики национального движения русским будет чрезвычайно сложно не только обеспечить свою независимость, но и просто выжить.

Во-первых, все трое известных публицистов, говоря о недопустимости участия в выборах депутатов-оппозиционеров старого парламента, во главу угла поставили нравственный аспект. Особенно категоричен был С. Кургинян. Его "система доказательств" включает такие выражения, как "проституированные политические животные", "бритые и бородатые козлы-провокаторы", "риторы от оппозиции" и другие столь же "научные" определения. Это все говорится о лидерах старой парламентской оппозиции, хотя не названо ни одной фамилии, ни одной фракции парламента или политической организации, кроме ФНС. Логика автора очень проста и на первый взгляд убедительна. Он рассуждает: "Вы звали людей к сопротивлению, они вам поверили, погибли, а вы, оставшись живы, предаете их, соглашаясь участвовать в выборах, против которых вы звали бороть-

ся массы". Вместе с тем С. Кургинян против бойкота выборов. Он пишет: "У нас достаточно лиц и структур, не связавших себя моральными и религиозными обязательствами перед павшими". Перечислить эти "лица и структуры" автор, по своей давней привычке, почему-то не считает нужным. И вот тут самое время задать прямой вопрос: а что было бы, если бы лидеры оппозиции последовали совету нашего аналитика-морализатора? Мы бы просто получили Думу Гайдара-Жириновского с небольшими добавлениями "независимых" депутатов, как это произошло с городской Думой г. Москвы. Разве не сам Кургинян писал об угрозе ГКЧП-2, целью которого должно быть "срезание" очередного слоя оппозиции? Я далек от мысли, что такие люди, как Володин, Мяло или Кургинян, могут искренне желать формирования парламента только из сторонников Гайдара, Бурбулиса и Жириновского. Но их запальчивые и, по-видимому, искренние советы могли привести только к этому. Если бы так случилось, тогда мы действительно были бы предателями памяти павших. Сегодня же любой другой думающий и объективный человек, ознакомившись с составом Думы и Совета Федерации, может смело требовать суда над преступниками, устроившими расстрел безоружных людей. Может именно потому, что оппозиция, будучи поставлена в архипохабные условия выборов, травимая, гонимая, частично деморализованная, не успевшая сформировать крупные блоки, лишенная газет и телевидения, нашла в себе силы для борьбы и доказала всему миру, что состав Верховного Совета вполне адекватно отражал расстановку политических сил в стране. То есть это был народный парламент, а переворот, следовательно, был антинародный, и борьба с ним была делом святым и справедливым. И долг тех, кто волею обстоятельств остался жив, заключался не в замаливании грехов и бегстве в монастырь, а в продолжении борьбы, которая единственно и может рассматриваться как выполнение долга перед павшими. Что касается "лиц и структур", о которых говорил Кургинян, то таких просто нет. В условиях переворота есть только две возможных точки зрения: либо вы за соблюдение Конституции, либо против, то есть за узурпатора. Вся оппозиция и большинство так называемых центристов выступили за соблюдение Конституции, то есть они все в той или иной степени "нечистые" и в той или иной степени несут ответственность за трагедию. Соответственно все они должны были бы уйти в сторону, чего, собственно, и добивались власти. Неплохо бы сторонникам нравственных проповедей в большой политике задуматься над вопросом: зачем люди в касках с автоматами наперевес ворвались в штаб-квартиру РОСа накануне сдачи списков, после чего РОС не досчитался 20 тысяч подписей и не был допущен до выборов.

Есть у этой нравственной проблемы и еще один сугубо узкий, но важнейший аспект. Я столкнулся с ним вплотную, когда после расстрела Верховного Совета первый раз приехал в свой округ. Я не смог попасть на встречу с коллективом даже того завода, который в 1990 году выдвинул меня кандидатом в депутаты. Директор просто запретил. Аналогичной была ситуация на радио, ТВ и в газетах. И только после регистрации меня кандидатом в депутаты Думы я получил возможность встреч с людьми и использовал их для максимально подробного рассказа о событиях в Москве. Вот это и было выполнением долга перед павшими, а не трусливое молчание на кухне с гордым выражением лица! Если учесть, что в провинции не читают "Независимую газету", а оппозиционная пресса в тот момент была закрыта, центральное ТВ под полным контролем, то без преувеличения можно сказать, что живое слово непосредственных участников событий было единственным правдивым источником информации. Когда-нибудь социологи оценят, какую роль сыграли "бывшие" в провале группировки Гайдара на выборах, но вне всякого сомнения, что эта роль достаточно высока. Почти везде, где лидеры и члены парламентской оппозиции приняли участие в выборах, даже там, где они, как я, например, не выиграли, вдохновители и пособники палачей были разгромлены.

Этот краткий фрагмент я привожу не для того, чтобы вступить в спор с конкретными публицистами или политиками. Здесь речь идет о более важном, более фундаментальном явлении. Речь идет о том, что основной принцип политики — принцип активности.

Итак, ни о каком формировании русской национальной политической элиты не может идти речи, если мы не сумеем преодолеть в себе накопившееся за долгие годы, сформированное советской практикой, а частью идущее от действительно традиционного русского мировосприятия крайне негативное свойство пассивности, неверия в собственные силы. Конечно, инстинктивно мы пытаемся преодолеть это свойство "умного пескаря", все понимающего, но ничего не смеющего

сделать Обломова. Однако на одном инстинкте далеко не уедешь. Мы должны идеологически, концептуально, теоретически осознать все слабости нашего национального образа мысли и действия. Осознать, что трусость, глупость и леность есть, они гнездятся в нас. Они есть у простого человека, есть у элиты, но самое страшное, что они есть у русских политиков. Именно поэтому прежде всего политики должны эти отрицательные качества осознать и преодолеть. Осознание уже есть момент преодоления.

Я проиллюстрировал этот тезис на примере конкретной политической ситуации, поскольку она как нельзя ярко показала традиционный псевдоинтеллигентский взгляд на реальную жизнь, как, впрочем, столь же ярко проявила новые лица, новые подходы, новые качества души. Это новое состояние русской души, для которой борьба за нацию свята и вечна, начисто отрицает даже теоретическую возможность ухода в сторону с "гордым" выражением лица и последующее почивание на собственном ущербном самолюбии. Ведь куда сложнее, а подчас просто мучительнее заставить себя выйти к людям, посмотреть им в глаза и объясниться перед этими людьми. Страшные вопросы задавались и будут задаваться, выдвигались и будут выдвигаться страшные обвинения. Но на то русский политик и называет себя русским, чтобы всегда и во всем — и в радости, и в трагедии — быть вместе со своим народом, каков бы этот народ ни был.

Ведь Родину и нацию, как отца и мать, не выбирают, их чтят, им служат!

Не заниматься самоуничижением, а извлекать уроки!

Что происходило и происходит в политической оппозиции, которую многие называют патриотической, национал-коммунистической или "красно-коричневой"?

При поверхностном взгляде на ситуацию в оппозиционном лагере и особенно в патриотическом его крыле есть от чего прийти в уныние. Ведь это факт, что на фоне стремительного нарастания катастрофы русских как нации (падение рождаемости, расчленение народа, резкое ухудшение его здоровья, обвальное ухудшение экономического положения, подрыв традиционной культуры, разрушение традиционных ценностей) в патриотическом лагере по-прежнему происходят бесконечные расколы и унылые тяжбы за лидерство. Вновь и вновь выдвигаются различные инициативы, собираются съезды, соборы, конференции, пленумы, публикуются призывы. Мне довелось в качестве одного из активных участников заниматься этой деятельностью на протяжении последних 5 лет. Не хочу бросать камень ни в одного из своих коллег, ко многим сохранил уважение и даже симпатии. Уверен, что с большинством из них сотрудничество в той или иной форме будет продолжено. У меня также не вызывает ни малейших сомнений, что этот период был совершенно необходимым и неизбежным этапом русского сопротивления. Однако нужно сказать со всей категоричностью: сегодня этот этап можно считать завершенным. Накоплен опыт, испробованы разные организационные формы, пройдены многочисленные идеологические искушения. Была травля в прессе, соблазны "хождения во власть", угрозы и прямые репрессии. Наконец, был сентябрь-октябрь 1993-го. Сегодня пора подводить итоги этого этапа, делать выводы и обозначать новые цели. Характерной чертой этого этапа был "объединительный синдром".

Были предприняты три серьезные попытки объединения социального патриотизма с патриотизмом национальным, русским, в единое державно-патриотическое движение. В декабре 1991 года был учрежден Российский Общенародный Союз (РОС). В феврале 1992 года на Конгрессе гражданских и патриотических сил образовано Российское Народное Собрание (РНС), а в октябре 1992 года — Фронт Национального Спасения (ФНС). Сюда же примыкает, но стоит несколько особняком и создание Русского Национального Собора также в 1992 году.

Каковы же характерные особенности этих попыток объединить столь идеологически разнородные силы?

1. Курс на объединение оппозиционных сил на всех этапах 1992—1993 годов носил в значительной степени вынужденный характер и был обусловлен как действиями властей в сфере внешней и внутренней политики, экономики, так и использованием силовых методов подавления народного недовольства и постоянными угрозами в адрес Верховного Совета и Съезда.

2. Тактика идеологических компромиссов как необходимый элемент объединения оппозиционных сил была абсолютно правильной, как и сам курс на объединение, реально возникший после избиения мирной демонстрации 23 февраля 1992 года.

3. Объединение оппозиционных сил, безусловно, сыграло важную положительную роль во многих отношениях. Был развеян миф, что против режима выступает только старая номенклатура, лишившаяся привилегий. Появление в руководстве объединенной оппозиции таких фигур, как, например, И. Шафаревич и В. Осипов, не оставляло камня на камне от этого мифа.

4. Благодаря соединению усилий различных оппозиционных организаций удавалось долгое время удерживать режим от крайних силовых действий, что давало возможность, к сожалению так до конца и не реализованную, сугубо политическими методами осуществить стратегическое изменение курса так называемых реформ не во вред, а на благо России.

5. Наконец, непосредственное знакомство и взаимодействие активистов различных течений оппозиции способствовало плодотворной дискуссии и выработке более взвешенных и точных идеологических подходов, не зашоренных узкопартийными предрассудками. В ходе этих дискуссий нарабатывался столь необходимый опыт поиска компромиссов, повышалась общая политическая культура, лидеры и рядовые участники движения учились действовать в широкой коалиции, что требовало отказа от крайностей личного и политического характера.

Все вышеперечисленное следует отнести к несомненным плюсам оппозиционного движения. Однако были и минусы, о которых до сегодняшнего дня мало кто решается писать и говорить. Я, разумеется, не имею в виду рептильную или русоненавистническую науку и журналистику. Попытки Кургиняна вызвать дискуссию на эту тему потерпели неудачу. И дело вовсе не в резкости его суждений или его позиции человека несколько со стороны. Просто степень вовлеченности активных участников оппозиции в этот период (1991—1993) в организацию массовых акций, а также в парламентские дела была настолько большой, что не оставляла возможности для ведения дискуссий. Сейчас же это становится просто необходимостью.

Первый минус, который очевиден, — ломка идеологии, вернее, попытка создать идеологическую химеру. Объединенная оппозиция пыталась объять необъятное, руководствуясь вполне правильной идеей национального согласия и примирения (напомню, что на I Конгрессе ФНС была принята специальная резолюция "об окончании гражданской войны" между "красными" и "белыми"), пыталась заявить о себе как выразителе интересов всего общества, всех наций и народностей России. Апелляция к идее соборности, к здравому смыслу рабочего и капиталиста, русского и татарина, якута и башкира лежала в основе такого подхода. Такой подход теоретически очень привлекает, он снимает многие обвинения и открывает широкие перспективы. Однако есть одно "но", которое сразу же сделало его патологически ущербным. Это "но" заключается в отсутствии русского национального движения, в отсутствии у русских адекватного политического представительства. Мои попытки на II Конгрессе ФНС поставить этот вопрос закончились неудачей и привели к решению сложить полномочия сопредседателя Политсовета ФНС и выходу из этой организации. То же самое повторилось 20 февраля 1994 года на III съезде РОС.

Можно констатировать, что почти все национальные группы России имеют сегодня государственное и политическое представительство, кроме русских. От крайне левой ВКП (б) до крайне правой Партии экономической свободы и партии Жириновского все политические движения и партии, за исключением только Национально-республиканской партии, являются сегодня интернационалистскими. На первый взгляд это нормально для современного, тем более многонационального государства. Но беда в том, что большинство крупных национальных групп России не слишком торопятся передоверить представительство своих интересов этим организациям. На всякий случай делегируя своих представителей в эти партии и движения, они почему-то создают собственно национальные политические движения, которые и играют ключевую роль в формировании и отстаивании интересов этих наций. У русских сегодня ничего подобного нет. У них есть РДДР, КПРФ, ПРЕСС, ЯБЛОКО, ДПР и т. д., но все они в равной мере пытаются представлять интересы всех сразу. **Собственно русские интересы никто не представляет и не защищает.** Кто-то сразу вспомнит о 25 процентах голосов, отданных за партию Жириновского. Чтобы не углубляться в эту тему,

рекомендую прочесть его книгу "Последний бросок на Юг", и большинство вопросов отпадет. Замечу только, что название его партии вполне соответствует его идеологии. Она действительно либерально-демократическая, а отнюдь не национальная и уж тем более не русская.

Таким образом, приходится констатировать, что процесс объединения оппозиционных сил в этот период в значительной степени привел к тому, что **оппозиция не формулировала, не отражала и не пыталась отстаивать безусловно существующие интересы русского народа.**

Второй недостаток настойчивых попыток всеобщего объединения закономерно вытекает из первого. Коль скоро оппозиционное движение формировалось как коалиция, в значительной степени вынужденная, без единой цельной идеологической основы, то в этих условиях не могло быть и речи о появлении одного общего лидера. Известно, что рядовые противники нынешнего режима часто упрекали оппозицию за отсутствие именно широко известного и всеми признанного лидера. Часто эту ситуацию объясняли как личными амбициями "вождей", что, разумеется, имело место. Однако это была не единственная и не самая главная причина. Главная же заключалась именно в несогласованности фундаментальных идеологических подходов. В таких условиях появление единого лидера оппозиции исключено даже теоретически.

Подводя итог объединительным попыткам оппозиции последних лет и отмечая определенные успехи на этом пути, следует подчеркнуть и главный их минус. Приходится признать, **что результатом этого объединения явилась задержка в формировании мощного русского национального движения, самостоятельного организационно и опирающегося на собственную, а главное, современную идеологическую базу.**

Далек от мысли, что кто-то из лидеров оппозиции делал это сознательно, хотя не исключаю проникновения даже в руководство некоторых организаций людей со специальными заданиями со стороны как государственных структур, так и политических конкурентов. Но это едва ли было определяющим. Просто всякая идея должна вызреть. Поясню на собственном примере. Я был искренне убежден в возможности и необходимости интеграции патриотизма национального (разных наций) и социального в единый державный патриотизм. Так задумывался РОС, эта идеология легла в основу ФНС и обусловила сотрудничество с коммунистами. И если бы нынешняя власть хотя бы смягчила свои людоедские устремления в отношении русских и России, то, быть может, на какой-то период таких политических организаций было бы вполне достаточно. Однако переход кризиса в стадию прямого уничтожения прежде всего русских через вымирание, национальный эгоизм нерусских народов России, нарастание русофобии на всех уровнях, в том числе и у части оппозиции, антирусские по сути планы восстановления в прежнем виде СССР — просто диктуют необходимость работать именно над формированием русского национального движения. Кроме того, учитывая, что большая часть лиц наемного труда, то есть рабочие, инженеры, крестьяне, научные сотрудники, офицеры, — русские по национальности, существуют все предпосылки для того, чтобы русское национальное движение одновременно было бы и движением социальным. Во всяком случае, такое движение не должно отдать идею социальной справедливости в руки тех, кто еще вчера совершенно серьезно теоретически и практически отстаивал доктрину, по которой русские должны быть поставлены в более низкое положение, чем другие нации, кто и до сих пор не отказался от этой преступной русофобской идеологии. Я имею в виду здесь, конечно, часть коммунистического движения. Последние программные тезисы даже наиболее умеренного крыла коммунистов (КП РФ во главе с Г. Зюгановым), опубликованные в "Советской России", практически не содержат слова "русский"! Я не знаю, нужны ли еще какие-нибудь доказательства, чтобы сегодня наше национальное движение принципиально, открыто, гласно, публично и резко дистанцировалось от тех, кто продолжает исповедовать и отстаивать русофобские положения идеологии марксизма-ленинизма. Мы с уважением всегда относились ко многим нашим союзникам из левого лагеря, мы ценим (и всячески подчеркиваем это!) их мужество, проявленное в весьма тяжелой ситуации. Я лично подписывался под ходатайством в Конституционный суд об отмене запрета на деятельность Коммунистической партии РФ. Но сегодня наступает время, когда для того чтобы объединиться, что в будущем я не исключаю, в плане выработки каких-то совместных действий, нужно прежде всего разъединиться. И этот вопрос является принципиальным, а не конъюнктурным, сиюминутным. Всякое промедление в принципи-

альных подходах к основным вопросам, а выработка идеологии относится к числу основных вопросов, будет неизбежно ослаблять не только формирующееся русское национальное движение, но и в целом нацию и государство.

Диаспора или единая нация?

Вопрос, вынесенный в заголовок, носит отнюдь не риторический характер. Это вопрос о государственно-правовом статусе русской нации, то есть вопрос для нас, русских, безусловно, главный. Сегодня в пределах бывшего СССР русские живут более чем в 38 государствах: в Российской Федерации, в четырнадцати бывших союзных республиках, в 23 "национальных" и даже "суверенных" государствах в составе РФ. Можно сюда же приплюсовать непризнанную Приднестровскую республику, а также Крым и Абхазию. В 37 государствах русские рассматриваются и кое-где конституционно определены как "национальное меньшинство" или даже апатриды, то есть лица без гражданства, нежелательные мигранты. Таким образом, диаспоризация русской нации на большей части территории ее исторического расселения юридически уже произошла. Этот факт фундаментального характера пока не вполне оценен, а большинством политиков вообще игнорируется. Справедливости ради надо отметить, что ряд политических организаций принял декларации с требованием признать русских разделенной нацией. Первой это записала в свои программные документы Национально-республиканская партия, затем РОС и, наконец, недавно созданный Конгресс Русских Общин. Однако декларации остаются на бумаге, да и касались они, главным образом, русских, оставшихся за пределами РФ. Внутри РФ ситуация рассматривается как относительно благополучная.

Вынужденную миграцию из "национальных" республик, входящих в состав РФ, и положение там русских политики пока предпочитают не анализировать. После погрома русских в Туве в 1990 году республика исправно получила очередную порцию вливаний из российского бюджета, а недавно указом Ельцина часть территории Тувы приравнена к районам Крайнего Севера. Иначе как шовинистическим рэкетом это не назовешь. Логика здесь простая и сводится к негласному требованию все новых субвенций из бюджета в обмен на отсутствие погромов против русских. Непрерывно звучит тема выравнивания уровней социально-экономического развития регионов в полном отрыве, разумеется, от уровня прироста населения. Понятно, что сколько бы ни заработал тувинец, его средний доход на каждого члена семьи будет меньше, чем у русского, так как в семье одного 7—9 детей, а другого — 1—2. Это касается Дагестана, Чечни, Ингушетии, Калмыкии и некоторых других "республик". Мой вопрос представителю правительства Тувы при обсуждении ситуации в республике в 1990 году о программах по контролю рождаемости был просто сначала не понят, а потом с негодованием отвергнут. После этого обсуждения и моего вопроса часть членов Совета национальностей, представлявших "национальные" республики, со мной не здоровались неделями.

Вывод из всего этого безжалостный, но справедливый. Русские сегодня добровольно делают все, чтобы превратиться в диаспору, то есть окончательно раздробиться и стать неким этническим реликтом. Пока ситуация сглаживается только прошлым демографическим потенциалом, то есть мы просто паразитируем на территориальном и демографическом наследии предков. Вытеснение русских из "национальных" республик в составе России — это верный путь к катастрофе российской государственности и русской нации. Можно попытаться оспорить такой взгляд, приводя в пример другие федеративные государства. Там тоже каждый субъект федерации обладает государственностью, и формально немцев и американцев можно было бы отнести к "полуразделенным" нациям. Но даже при самом поверхностном сравнении нельзя не увидеть принципиальной разницы.

Республики в составе России претендуют или уже юридически закрепили две важнейшие качественные особенности, резко отличающие их от субъектов классических федераций. Это, во-первых, суверенность и, во-вторых, подчеркнуто национальный (мононациональный!) характер. Если бы русский жил в Казанской или Уфимской республике, а татарин или башкир в Московской или Ярославской, то это была бы классическая федерация. Сегодня же мы имеем прогрессирующий шовинистический сепаратизм, который нагло требует все большей суверенизации! Например, Татария, ничтоже сумняшеся, собирается вступить в ООН! Мы

имеем назначаемых из Москвы чиновников для управления русскими аборигенами в краях и областях с многомиллионным населением и одновременно (театр абсурда!) — "президентов" в таких уродливых псевдогосударствах, как республика Алтай (198 тыс.) или Калмыкия (326 тыс.)!

Использование современного политического инструментария в виде референдумов о принятии конституций и всеобщих президентских выборах в "национальных" республиках России резко изменяет и юридическую, и фактическую ситуацию в них прежде всего для русских. Они действительно начинают ощущать себя "за границей", национальным меньшинством (хотя большей частью численно преобладающим) в чужом и чуждом им государстве. Результатом этого процесса станет дальнейший отток русского населения, если только мы не переломим весь этот антирусский шабаш суверенитетов. Как же реагируют на этот животрепещущий вопрос наши "политики" и "теоретики"? Вот одна из красноречивых иллюстраций.

В журнале "Наш современник" в № 3 за 1993 год опубликованы материалы "круглого стола", посвященного теме состояния русской нации. В этом "круглом столе" приняли участие весьма видные и патриотично настроенные люди: К. Мяло, И. Шафаревич, В. Распутин, В. Кожинов и Т. Глушкова.

В ходе дискуссии известный теоретик патриотической публицистики В. Кожинов привел следующие цифровые данные: в РФ 36 процентов нерусских граждан принадлежат к народам из других республик бывшего СССР, 28,5 процента нерусских (этнических россиян) живут вне своих национальных образований и лишь 35,5 процента этнических россиян РФ живут в своих национальных территориальных образованиях и составляют они только 6,6 процента (!) всего населения РФ. Далее В. Кожинов приводит еще одну интересную цифру, указывая, что в США живет 5 млн. немцев, а в РФ граждан немецкой национальности приблизительно 500 тысяч. Затем он говорит: "Никого не изумляет, что немцы РФ требуют суверенитета; в США над таким требованием просто посмеялись бы..." После этих слов автор заключает: "Словом, в России другой, как модно говорить, менталитет, и всего 6,6 процента ее населения и ведут себя, и воспринимаются так, как будто они составляют по меньшей мере половину населения РФ. И от этого, я полагаю, никуда не денешься — это исторически сложившаяся судьба России..."

И это пишет Кожинов, один из патриархов нашей патриотической мысли! Можно ли с этим согласиться? Разумеется, нет и еще раз нет. Во-первых, требования о создании республики немцев не только удивили, но и вызвали мощную волну сопротивления в месте предполагаемого создания республики — в Саратовской области. Этого, к сожалению, московские патриоты, за исключением К. Мяло и П. Гончарова (см. "Наш современник", 1990, № 9), практически не заметили. А, во-вторых, перекос, когда 6 процентов населения требуют себе и имеют права 50 процентов (а это действительно так, поскольку раньше Совет национальностей Верховного Совета формировался именно по такому принципу), сложился отнюдь не исторически, а в результате дикой антирусской насильственной политики 1917—1936 годов. Не мне рассказывать уважаемому Вадиму Валериановичу, КАК проходил этот процесс и КТО в наркомате национальностей его "исторически" организовывал. На эту тему, хоть и не слишком подробно, но написано достаточно. Имеется даже монография о деятельности народного комиссариата по делам национальностей. И последнее. Относительно "...никуда не денешься". Вот это каждый будет выбирать сам и, соответственно, выбор свой будет обосновывать.* Ведь вопрос стоит просто и грубо: будут выкроены обманом и насилием на просторах России в ареале исторического (на протяжении нескольких столетий) расселения русского и других народов России еще 100 "национальных" суверенных республик или же мы перейдем к построению нормального единого государства. В свою очередь, последнее невозможно без честности и государственной твердости. Честность заключается в признании того факта, что в результате крушения Российской Империи и гражданской войны русская национальная Россия проиграла. В силу своей центральной государственно-образую-

---

* От редакции: критика Н. А. Павлова явно несправедлива, так как именно В. В. Кожинов едва ли ни первым без обиняков сказал в печати о том, что действительно "инонациональное" население РФ составляет не 18,5 процента, как принято считать, а всего лишь 6,6 процента. И когда он говорил о присущем русскому народу безусловном ("никуда не денешься...") уважении прав столь незначительного "инонационального меньшинства", он констатировал сам этот факт, но вовсе не предполагал какого-либо ущемления прав русских.

щей роли наиболее проиграла именно русская нация. Сейчас мы на перепутье, в процессе выбора пути. Пока этот выбор осуществляется в духе известных решений II Интернационала о "праве наций на самоопределение" и агрессивно-антирусского закона США "О порабощенных нациях". За последние 4 года созданы 5 новых национальных республик на территории России. В некоторых из них доля "титульной" нации составляет едва ли 20 процентов населения. Все они пока твердо заявляют о своем желании оставаться в составе России. Пока. А вот в Туве есть вполне официальные деятели, заявляющие о намерении, получив от России все необходимое для жизни, создав кадры, инфраструктуру и т. д., стать самостоятельными. И уже внесли соответствующее право на выход из состава Российской Федерации в конституцию Тувы.

Теперь о государственной твердости. Она, очевидно, не должна иметь ничего общего с экстремизмом шовинистического пошиба, с одной стороны, а с другой — с мягкотелым антигосударственным и, объективно, антирусским псевдолиберализмом, псевдотерпимостью, псевдочеловечностью. Государство слишком серьезный институт, чтобы в деле его строительства допускались псевдогуманистические импровизации. Русские должны ясно и недвусмысленно заявить и объяснить, что все сегодняшние "государства" в рамках РФ существуют исключительно благодаря доброй воле русских и что их дальнейшее существование будет зависеть от неукоснительного соблюдения в этих "государствах" равных прав и возможностей граждан независимо от национальной принадлежности и отказа от малейших попыток сепаратизма. Потому что, как бы это не оскорбляло чьи-то слишком нежные чувства, государство может существовать только тогда, когда оно может обеспечить свое существование. Ясно, что ни одно (!) из образованных госкомнацевскими эмиссарами на территории исторической России "национальных" государств самостоятельно существовать не может и не будет. Это хорошо понимают даже крайние сепаратисты в этих "суверенных" республиках и уж тем более должны понимать русские патриоты. Разговоры об уникальном характере русских, их терпимости, умении уживаться с другими нациями и т. д. и т. п. в современных условиях служат просто ширмой для эгоистических интересов местных национальных элит, а у русских деятелей прикрывают зачастую элементарную интеллектуальную, политическую, да и просто бытовую трусость. Спекуляцию на всечеловечности, всемирной отзывчивости, мягкости и пластичности духовной организации русских в условиях прогрессирующего вымирания нации, лишений политических и гражданских прав на исторических российских территориях, тотальных переименованиях основанных русскими населенных пунктов (например, в Казахстане — нашей Южной Сибири), звучащую сегодня из уст некоторых представителей патриотических кругов, необходимо квалифицировать как национальное предательство! Вот когда восстановим и укрепим державу, тогда и будем теоретизировать, а пока надо сжать зубы и решительно преодолеть пассивность и традиционный страх последних десятилетий перед обвинениями в национализме. Потому как речь сегодня идет не об отвлеченных теоретических построениях, а о самом праве на жизнь русских как нации, а России как независимого единого государства.

Все эти резкие и весьма категоричные утверждения необходимо дополнить одним очень важным аспектом. Этот аспект касается отношений с нерусскими народами России и является одним из ключевых для выработки правильного подхода в конкретной политике русского национального движения. Готовы ли мы и способны ли мы сегодня с позиции русских национальных интересов вести диалог с нерусскими народами России? Я абсолютно убежден, что готовы, что у нас есть аргументы и что мы такой диалог должны начать. Условием такого диалога является по существу только одно: формирование широкого русского национального движения. Как только оно будет сформировано, как только оно будет организационно оформлено и достаточно дееспособно, такой диалог не может не начаться.

Здесь есть один очень сложный момент, касающийся того, что, не имея собственного исторического и государственного опыта (или в значительной степени утратив его), сегодняшние националисты среди нерусских народов России пребывают зачастую в мире иллюзий.

Иллюзии нерусских националистов заключаются в том, что они уверены в возможности построения своих независимых государств, а в перспективе и выделения из России и жизни в полностью уже независимых государствах. Почему это иллюзия?

Здесь мы должны ясно и недвусмысленно заявить, что всякая попытка исторического "реванша", в конечном счете, рано или поздно встретит адекватную реакцию тех, против кого этот "реванш" направлен, то есть русских. Если сказать просто и грубо, то попытка выйти из состава России, повернуть исторический процесс вспять должна предполагать кровопролитнейшую войну, которую мы, русские, будем вынуждены вести тотальными методами и в которой победитель заранее известен. Это — русские. И сегодня каждый ответственный, национально мыслящий политик из нерусских этносов России должен взвесить на весах пройденный исторический путь, те плюсы и минусы, которые в результате этого пути та или иная этническая группа имеет. Он должен задаться вопросом, что для его нации предпочтительней: потерпеть сокрушительное военное поражение, со всеми вытекающими отсюда последствиями, или сохранить право на реальную национальную жизнь, безоговорочно вернув то, что никогда его нации не принадлежало, — право на историческую миссию государства. Если учесть, что за период так называемой русской оккупации численность, например, татарской нации возросла более чем в 5 раз, то результат можно считать неплохим. Кроме того, все этнические группы, живущие в составе России, расселены по всей территории России, и при любых военных конфликтах, при любых подходах исторического реваншизма нужно отдавать себе отчет в том, что нынешнее сонливое состояние русских сменится сверхактивностью и результатом будет то, что мы наблюдаем сейчас на Балканах.

В дореволюционный период русские, проявляя и всечеловечность, и терпение, и мягкость, всячески способствовали тому, чтобы сохранить, а не уничтожить нерусские этносы России. Сумеют ли они в страшном мире XXI века, а он будет именно страшным, потому что усилится борьба за ресурсный передел мира, устоять как независимые национальные государства и сохранить свою национальную идентификацию, свое неповторимое лицо? Исторический опыт их проживания в составе России без всяких "национальных", "суверенных" государств показывает, что они свою самоидентификацию сохранили, более того — развили и приумножили. От добра добра не ищут. Говоря просто, на житейском уровне, это должно быть главным аргументом в споре с любыми сепаратистами. От добра добра не ищут!

Другой важнейший вопрос, решение которого необходимо для нормального политического структурирования русского национального движения, это вопрос о будущности исторической России. В последнее время здесь обнаружились три существенно различающихся подхода.

Первый подход. Его можно назвать классически имперским или державным. Этот подход предполагает восстановление Союза ССР в прежнем виде. Это восстановление декларируется сегодня всеми коммунистами и большим количеством патриотических партий и движений. Спор идет лишь о названии государства, о способе его восстановления и о будущем его устройстве. В данном случае это не является принципиальным, поскольку главный тезис один — восстановить единое государство в границах СССР.

Второй подход — либерально-демократический. Его сегодня отстаивают многие союзники Ельцина. Он декларирует восстановление конфедеративного государства, свободное политическое, экономическое, культурное и прочие пространства, прозрачные границы. Но не предполагает восстановление единого государства. Самым классическим представителем этой линии является клятвопреступник номер один Горбачев. Этот подход еще более опасен, чем первый.

И, наконец, третий подход, условно называемый национал-реформистским. Он не признает правомерности нынешних границ Российской Федерации и предполагает два варианта решения вопроса: либо объединение в единое государство с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, либо признание нынешних границ РФ спорными и проведение референдумов на территориях, населенных русскими на Украине, в Казахстане и других регионах.

Что должно быть взято за основу русского национального движения? За основу может быть взят только третий подход. Причина здесь одна. В ситуации, когда степень истощения ресурсов у русской нации настолько велика, что мы не способны замещать одно поколение другим, когда происходит вымирание нации, думать о судьбе армян, о судьбе Грузии, о судьбе таджиков, мечтать о воссоединении с ними в единое государство могут либо неисправимые догматики, либо скрытые или явные русофобы. Прошло время, изменилась ситуация, государство разрушено, и сегодня надо стоять на почве реализма и интересов русской нации.

Для русской нации сегодня восстановить единое государство в границах СССР — это значит принести себя в жертву и окончательно подорвать свои жизненные силы. Я думаю, что этого не произойдет, но эта тенденция нарастает и носит очень тревожный характер. Однако большей опасности мы подвергаемся со стороны представителей второго подхода, то есть людей, исповедующих псевдоинтеграционизм или идею химерической государственности. Создание СНГ — это как раз создание химерического псевдогосударства. Оно еще страшней. Если первый подход предполагает хотя бы некие стратегические преимущества, когда мы резко расширяем, а вернее — восстанавливаем, свою территорию и имеем плюсы от создания единого большого государства, то второй подход сводит эти плюсы на нет. Но одновременно с этим он создает ситуацию, когда мы оказываемся лишены даже остатков государственности. Даже той куцей, обрезанной государственности, того ленинско-сталинско-хрущевского обрубка исторической России.

Этот вопрос является одним из ключевых для размежевания в патриотическом лагере. Я про левый лагерь не говорю. С левым лагерем в данном случае все понятно. Но в патриотическом лагере идет дискуссия. Есть представители классического имперского подхода, которые говорят: "Что наше — то наше. Таджикистан наш, Армения наша и т. д. И мы никому не должны их уступать". Я же формулирую это принципиально по-иному: да, мы должны построить с ними добрососедские отношения, да, мы должны заключить с ними договоры исключительно на взаимовыгодной основе. "Объединительный" подход, доведенный до логического завершения, с неизбежностью поднимает вопрос о необходимости объединения в единое государство с Китаем.

Надо ли объединяться в единое государство с Китаем? (вместо эпилога)

Прочитав заголовок этой главки, большинство нормальных трезвомыслящих людей, разумеется, возмутится. И будет абсолютно право. Потому что элементарный инстинкт самосохранения пока утрачен не полностью. Однако когда я задаю вопрос своим коллегам и друзьям по патриотической оппозиции и прошу объяснить: зачем русским объединяться в единое государство с Узбекистаном, Азербайджаном, Грузией и Таджикистаном, то сразу в ответ раздаются обвинения в этнократизме, узком национализме и прочих грехах. Но ведь, с национальной точки зрения, принципиальной разницы между постсоветским "южным подбрюшьем" и Китаем нет. Даже если предположить, что Союз будет восстановлен, то и тогда вряд ли кто-нибудь из русских без крайней необходимости вновь поедет в эти государства. Историческая память русских надолго сохранит те унижения, которым их подвергли "демократические" режимы государств-новоделов. А для сторонников прагматического социализма Китай является образцом и идеологически очень близок. Вот бы и поставить неокоммунистам вопрос ребром — объединяемся, мол, в единое государство с Китаем, чтобы вместе противостоять "мировому империализму". Китайцы были бы весьма признательны. Еще бы! Совершенно отпала бы необходимость организации нелегальной иммиграции в Россию, которая достигла за последние 2—3 года более 2 млн. человек. Но пока таких предложений даже от самых "левых" коммунистов не слышно. Почему?

Скучно и неловко порой говорить об очевидных вещах, но все-таки приходится. Я не знаю ни одного пропагандиста интернационализма, кто не имел бы двери с замком с своей квартире. И уж тем более никто из этих певцов братства и всечеловечности не поехал на вокзал и не пригласил к себе на жительство в квартиру две-три семьи, например, таджикских цыган, наводнивших летом 1993 года сибирские города. Нет, все ставят вторые двери и дружно ругают разгул преступности. А вот внутрь страны, внутрь национального тела собственного народа они готовы запустить кого угодно и сколько угодно, только вот перед китайцами почему-то пока робеют. Что отражает такой подход? Прежде всего идеологический эклектизм и философскую беспомощность. Ну и, конечно, гигантскую силу инерции, когда прививалась идея, что заживем, мол, припеваючи "единым человечьим общежитием" без России и без Латвии.

А пока, живя на одной, перенаселенной земле, а тем более в рамках одного государства, разные нации борются между собой. Эта борьба не затихает ни на минуту, даже в самом стабильном и процветающем государстве. У нас эта тема

была запретной практически последние несколько столетий. Именно столетий, а не десятилетий, как принято говорить в последнее время.

Оппозиция шумит на московских митингах и патриотических вечерах, грезя о восстановлении Союза, а последних, конкретных русских изгоняют шаг за шагом с любых сколько-нибудь заметных должностей в так называемых суверенных республиках уже не вне, а внутри России. Кто-нибудь слышал на наших патриотических форумах анализ ситуации, складывающейся с обеспечением прав русских хоть в одной из "суверенных" республик Российской Федерации? А ведь семимильными шагами идет якутизация, татаризация, удмуртизация административных кадров. Русских просто выживают из всех значимых сфер влияния. Раньше этому вяло сопротивлялась рука соответствующих отделов партийных комитетов, тщетно пытающаяся ограничить семейственность, клановость, групповщину по национальному признаку. Сейчас ничего подобного нет. Власть на федеральном уровне занята растащиловкой, междоусобной борьбой, зачастую насквозь пропитана русофобией, а так называемые "российские" партии заигрывают с местными национальными элитами. Что же делают бравые патриоты? "Патриоты" никак не набьют мозоли на языках, клеймя заговорщиков из ЦРУ и Трехсторонней комиссии. В этой ситуации русские в "национальных" республиках оказываются никому не нужны, их интересы в коренных русских областях никто не защищает. Вот это и есть реальная борьба наций, а не выдуманная утопия мирного и гармоничного совместного проживания.

В одном из недавних сообщений узбекских статистических служб указано, что в Узбекистане сегодня проживают 23 млн. человек, причем молодежь в возрасте до 19 лет составляет 50 процентов населения, а темпы прироста в год составляют 2,5 процента. В России же только за 1993 год вымерло 803 тыс. человек населения. Это прежде всего русские! Именно поэтому, когда я слышу, что нам, то есть мне, ярославскому мужику, нужно присоединить к России Узбекистан, я спрашиваю: "Зачем?"

Убежден: сегодня для русского национального движения этот вопрос является вопросом № 1. Нас, русских националистов, этот вопрос четко отделяет и от левого лагеря, и от Жириновского, и от большинства других традиционно замшелых "имперских" организаций. Мы ясно и просто говорим, повторяя слова канцлера Горчакова: Россия и русские должны сосредоточиться. Следовательно, мы должны, наконец, навсегда оставить прекраснодушные с политической точки зрения мысли о том, что не бывает, дескать, плохих народов, а есть, мол, плохие люди. Мы должны понять, что, да, существуют народы скверные и хорошие, причем скверные — это те, которые противоборствуют нам, которые сжимают наше жизненное экономическое пространство, которые навязывают нам свой образ жизни, свое видение мира. А хорошие — это те, которые не делают всего этого. Мы, русские, должны раз и навсегда избрать для себя единую меру справедливости, единый эталон правды — наши национальные интересы. Печальный опыт XX века, на примере крушения православной империи и империи коммунистической, должен вполне убедить нас: в политике нет вечных истин, кроме одной — интересов нации. Все преходяще, и только они, интересы, вечны! Пока живы среди русских люди, которые способны орлиными очами взглянуть на мир!..



СЕРГЕЙ СЕМАНОВ

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ — ЗАГАДОЧНАЯ ПРОВОКАЦИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ

История России, как она подается в наших учебниках, энциклопедиях, повестях и романах, изумительно искажена. Сегодня настало время восстановить истину, то есть историческую справедливость. Тут требуются прежде всего терпение и осторожность, ибо истерические шарахания не только надоели, но и вредны, безусловно, — каковы бы ни были намерения самих исполнителей. Вспомним же древнее правило, которое как нельзя более подходит для летописца, историографа: "Sine ira et studio" ("Без гнева и пристрастия"). Эту мудрость полезно напомнить как писателям, так и читателям.

* * *

Одна из самых трагических дат российской истории — это, безусловно, 9 января 1905 года. Казалось бы, общее место, известное всем, однако значение данного события, мы убеждены, осознано и изучено далеко не до конца: ведь именно после Кровавого воскресенья и покатилось по Руси бесконечное число казней, насилий, взрывов, пожаров, голодовок и страшного всеобщего разорения. Последствия очевидны ныне всем. Именно Кровавое воскресенье породило первую русскую революцию, а она, как известно, стала прологом 1917-го, а там — гражданская война, военный коммунизм, коллективизация, спазмы тридцать седьмого и т. д., вплоть до трагикомической кукурузы или пресловутого "застоя". Да и события последних лет, связанные с именами Горбачева и Ельцина, сильно отдают гапоновщиной. Как ни горько, но связь прослеживается прямая.

В свидетельствах очевидцев сохранилась странная подробность: во второй половине дня 9 января над Петербургом вдруг засияли три солнца, потом — летняя радуга, а сразу затем — черная снежная буря, разом закрывшая все три солнца. Кажется это сценой из классической оперы, но произошло именно так.

Да, современная отечественная историография мистики не признает, но факт все же впечатляющий. Почему бы не учитывать его? И кто знает, может быть, наши коллеги из грядущих лет заметят тут нечто, недоступное нам сегодня?..

Короче, на примере историографии Кровавого воскресенья подтверждается на частном уровне обобщающий факт: издание источников сильно отстало у нас от их осмысления. Сейчас, когда некоторая гласность докатилась, наконец, и до нашей исторической науки, попробуем взглянуть на этот сюжет с точки зрения спокойной объективности.

Трагические события 9 января, когда была расстреляна мирная народная демонстрация, кладут глубочайший, как пропасть, рубеж между предшествующим и последующим развитием политической истории страны.

С внешней стороны как бы кажется, что события относятся к числу тех исторических сюжетов, которые принято считать изученными и не вызывающими серьезных разногласий в оценках. В самом деле, на эту тему есть многочисленные ученые исследования, изданы многочисленные документы и мемуары. Истолкование событий имеет давнюю и устоявшуюся традицию, существенных разногласий у авторов здесь до недавнего времени не было.

Однако сегодня, в связи с обострением взгляда в глубь отечественной истории, необходимо по-новому взглянуть на ряд устоявшихся (или даже окаменелых)

СЕМАНОВ Сергей Николаевич родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет ЛГУ. Кандидат исторических наук. Автор книг "Кровавое воскресенье", "Макаров" (ЖЗЛ), "Брусилов" (ЖЗЛ), "Нестор Махно", "В мире "Тихого Дона" и др. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

положений в нашей исторической литературе. Общим местом стал тезис, что царское правительство сознательно провоцировало шествие к Зимнему дворцу, чтобы учинить массовый расстрел рабочих и тем самым подавить разраставшееся стачечное движение в Петербурге и революционное движение в стране в целом. Об этом в одних и тех же выражениях писали многие авторы, это затвержено в различных учебных пособиях.

Согласно той же версии, орудием зловещего и обдуманного плана царского правительства стал священник Георгий Гапон — глава созданной им организации зубатовского толка. По словам академика А. М. Панкратовой, главы советских историков в 30—50-х годах, "полиция и охранка одобрили план Гапона, замышляя кровавую расправу над рабочими". Протографом, если так можно выразиться, данной концепции является известный некогда "Краткий курс истории ВКП(б)", где недвусмысленно утверждалось: "Гапон взялся помочь царской охранке: вызвать расстрел рабочих и в крови потопить рабочее движение". Пока отметим лишь, что ни Панкратова и никто из следовавших за ней авторов не приводили документов, подтверждавших существование этого кровавого заговора. Повторим: никаких документов, хотя соответствующие архивы были давно открыты и в значительной мере опубликованы.

Подобная грубая схема удерживалась в нашей литературе удивительно долго. В 1976 году о первой русской революции вышел обобщающий труд московских историков, а в 1984-м — ленинградских. Все было, как раньше: царь — убийца, Гапон — его подручный. А ведь в составлении объемистых томов участвовали солидные ученые!

...Невольно придется предаться воспоминаниям. в 1965 году в Ленинграде мною была издана небольшая книжечка "Кровавое воскресенье." Уже тогда меня, молодого еще историка, смущали затверженные схемы, что-то казалось тут не так. Позже я вернулся к этой теме и написал большую научную статью, где события 9 января представлялись несколько иначе, нежели было принято в официальной историографии. В течение двадцати лет горемычная статья кочевала из одного академического издания в другое, пока, наконец, не появилась уже в 1991 году в "Вопросах истории". Появилась только при настойчивой помощи академика П. В. Волобуева, за что ему — моя горячая признательность. Научные данные этой статьи, с немалыми добавлениями, и лежат в основе нашего очерка.

Вкратце напомним историческую обстановку кануна того самого тысяча девятьсот проклятого пятого года. В столице России образовалось "Собрание русских фабрично-заводских рабочих". "Собрание" сразу же получило большой вес среди столичного пролетариата, будучи зародышем профессиональных союзов, а Гапон стал непререкаемым его руководителем. Позднее о нем много и по-разному сплетничали (сплетни эти и по сей день научно не доказаны), но бесспорно одно: в те напряженные предновогодние дни Георгий Гапон был громким и авторитетным вожаком питерских трудящихся.

События развивались стремительно — 3 января встал знаменитый Путиловский завод, в следующие два дня забастовали еще четыре крупных предприятия, 6-го был нерабочий день, а уже в пятницу 7 января стачка петербургских рабочих стала фактически всеобщей, охватив, по неполным данным фабричной инспекции, 382 предприятия. В это число не входили, однако, охваченные общей стачкой рабочие 12 крупных казенных заводов и множества мелких предприятий.

Канун Кровавого воскресенья характеризовался всеобщей стачкой, в которой участвовало, по нашим подсчетам, более 150 тысяч человек.

Огромный индустриальный центр с полуторамиллионным населением замер, столица империи оказалась в состоянии полного паралича. Ничего даже отдаленно похожего история страны еще не ведала. Да и в Лондоне, Париже, Берлине о таком не слыхивали.

Итак, грандиозная стачка разразилась внезапно и бурно, как летняя гроза. Поразительный размах ее застал врасплох всех главных действующих лиц будущей драмы: и правительство, и революционные организации, и сам петербургский пролетариат.

Забастовочное движение рабочих развивалось стихийно, не имея никаких организационных центров, вроде стачечных комитетов. Ни Гапон, ни возглавляемое им "Собрание" не могут считаться вождями вспыхнувшей стачки, хотя влияние их в те дни было еще очень велико. В помещениях "Собрания" происходили в те дни беспрестанные митинги, а в роковое утро 9 января именно там рабочие строились в колонны для шествия к Зимнему дворцу. Но не было глав-

ного — организационного центра или центров. Никто не направлял рабочих идти от одного предприятия к другому и поднимать фабрично-заводские коллективы. Они шли сами.

Сам Гапон уже в разгар бурных январских событий явно растерялся, устрашась невиданного накала политических страстей, и не мог дать им собственной оценки. Из "вождя" он быстро превратился в растерянного человека, влекомого стихией. Об этом единодушно свидетельствуют все сохранившиеся воспоминания, а их немало. Он бросил служение в храме и ушел из дома, призывал, страшно нервничая, то к покаянию, то к всеобщей революции. Последние дни перед воскресеньем Гапона днем и ночью окружала охрана из десятка, а может быть, и гораздо большего числа рабочих, вот почему полиция даже не попыталась арестовать его, хотя такое решение казалось простейшим, да и привычным.

Здесь самое время коснуться пикантного сюжета о связях Гапона с полицейскими властями. Во всех советских работах за ним тянется незыблемое клише — "агент охранки". Да, Гапон вел переговоры с видными деятелями министерства внутренних дел В. К. Плеве и С. В. Зубатовым (сошли со сцены незадолго до описываемых событий), а потом с тогдашним столичным градоначальником Н. А. Фуллоном. Ясно, чем занимались названные лица, но общение с ними все же не означает непременной вербовки в "секретные сотрудники". Кстати, сам Гапон ни от кого этих своих связей не скрывал, о чем рассказали позже в своих печатных воспоминаниях ближайшие его соратники по "Собранию" кадровые рабочие Н. Варнашов и А. Карелин. Характерно, что оба рабочих писали свои заметки уже после Октября, то есть упорно и небезопасно шли против течения.

Больше всего сделал для закрепления памяти о Гапоне как об агенте-провокаторе Петр (Пинхус) Рутенберг, в ту пору молодой инженер Путиловского завода и член эсеровской партии. В последние дни перед 9 января Рутенберг буквально не отходил от Гапона, хотя никаких революционных заслуг не имел. По некоторым данным, Рутенберг, наряду с другими лицами, до сих пор неизвестными, помог Гапону вскоре после событий перебраться за границу.

Затем Рутенберг исчезает из поля зрения, но после Февральской революции появляется в России и сразу публикует сенсационную статью в популярном леволиберальном журнале "Былое"; появилась она в жанре воспоминаний под названием "Дело Гапона". Портрет получился густой, хотя подлинных документов там не приведено. По версии Рутенберга, он окончательно уверился в провокаторстве Гапона, и в марте 1906 года заманил его на дачу в Озерки (ближний пригород Петербурга). С Рутенбергом были какие-то рабочие, которые, мол, так возмутились откровениями Гапона, что удавили его на вешалке.

"Полна чудес великая природа"! После революции долго искали документы о связях Гапона с охранкой — нашли малоубедительные крохи. Неведомые "рабочие", совершившие столь важный революционный подвиг, тоже о себе ничего не объявили. Рутенберг их имен не назвал ни при первой публикации, ни много позже: после 1917-го он стал сионистом, переехал в Палестину и умер аж в 1942 году. Времени для воспоминаний у него было много, но он им не воспользовался. Почему — на этот вопрос он уже не ответит.

Итак, имена "рабочих", убивших Гапона, нам по сей день не известны, и в архивах их не обнаружили, хотя полиция вела дело довольно старательно. Зато известны связи Рутенберга с жутким провокатором Евно Азефом и его подручным темноватым Борисом Савинковым. По нашему мнению, удавили Гапона эсеровские боевики по приказу Азефа, но это лишь предположение. Легкомысленный Гапон пытался играть одновременно с рабочим движением, с революционными конспираторами и с полицией. Итог таких игр обычен, и он хорошо известен. Кстати, рабочие, близко общавшиеся с Гапоном, всегда сохраняли о нем добрую память. Это, конечно, не доказательство, но факт.

В январе 1905 года произошло то непоправимое, что не дает обратного исторического хода, хотя и такие события случались порой в жизни человечества. В наивных душах рабочих еще жила вера в "доброго барина", тем паче в "доброго царя". Что могло быть проще? Всем миром двинуться к царским покоям и почтительно положить к ногам государя свои просьбы. Так возникла идея "Петиции" с изложением своих чаяний. В составлении этого рыхлого и многословного документа принимал участие Гапон, а также некоторые журналисты не высшего уровня.

В раннее воскресное утро, которое уже к вечеру стало именоваться "кровавым", толпы людей двинулись к центру города. Никакого разработанного плана

не было ни у Гапона, ни у его окружения. А затем произошло всем известное: кровью были залиты площади и улицы Петербурга. Гапон шел в первых рядах Нарвской колонны, но остался невредим, его спрятали, а вскоре с помощью "друга" Рутенберга переправили за границу. Итак, народные массы свою роль сыграли, и как часто бывало, жертвенную.

Ну а как же действовала вторая сторона — революционные партии и организации? Ни одна из них не сыграла тут практически никакой роли (треугольник Гапон — Рутенберг — Азеф совсем из другой оперы). Очень слабо действовали. Петербургский комитет РСДРП(б) выпустил листовку "Ко всем рабочим Путиловского завода" лишь 5 января, когда забастовка была там уже в полном разгаре, листовка с призывом присоединиться к стачке датирована 7 января, когда она стала уже, по существу, всеобщей. Остается открытым вопрос, сколько их было напечатано и удалось ли их как-то распространить. Большевики пытались удержать рабочих от участия в шествии, но организация их была тогда очень слаба.

Разрозненные и раздираемые внутренними противоречиями группы меньшевиков и эсеров не сыграли почти никакой роли как в ходе забастовки, так и при подготовке шествия. Некоторые связи с рабочими имелись у группы так называемых "экономистов" (В. Я. Богучарский, Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович), но они также никак не руководили событиями, да и не претендовали на это. В воспоминаниях весьма осведомленного М. К. Лемке описан разговор с Богучарским в самый канун 9 января: отчетливо видно, как смутно представлял последний смысл и перспективы начавшегося движения. Добавим уж, кстати, что все четверо упомянутых лиц, как выяснилось позже, оказались масонами.

Слабость влияния революционных групп определялась, в общем-то, не только их малочисленностью. Активисты "Собрания" были типичными реформистами, явно отрицавшими революционный путь (об этом прямо и откровенно рассказали они сами), они хотели мирным путем добиться улучшения народной жизни, прежде всего — промышленных рабочих, не ломая и не разрушая сложившегося в стране общественно-политического уклада. Полиция своевременно подметила это обстоятельство: начальник петербургского охранного отделения 2 января сообщал, что в "Собрание" (видимо, в тот же день) явилось несколько интеллигентов, "в том числе три интеллигентных еврея и еврейки", их приняли настороженно, а попытку распространять листовки встретили уже прямо враждебно. Можно сделать бесспорный вывод, что в первую декаду января стыковка между рабочим движением и революционными группами, по сути, не состоялась.

Рассмотрим теперь, как действовала сильнейшая из трех сторон — царское правительство и какие у него имелись на этот счет планы и "планы".

Правительственный аппарат воспринял всеобщую стачку столичных рабочих как гром среди ясного неба. И это неудивительно. Правительство не имело никакой принципиальной программы по рабочему вопросу и даже не вело ее глубинной разработки. Законодательные акты в этой области в предреволюционную эпоху касались в основном второстепенных дел. Так, 10 июня 1903 года появился закон о фабричных старостах — присутствие в совете администрации выборных рабочих с совещательным голосом. 9 июня 1904 года — закон о пенсиях рабочим артиллерийского ведомства (это касалось десятков тысяч квалифицированных пролетариев), кое-какие иные акты: об ограничении детского труда, об упорядочении штрафования и т. п. Ясно, что коренных вопросов это никак не решало, но заметим, справедливости ради, что в ту эпоху в европейских странах и США порой не имелось даже подобного.

Неудачи первых месяцев войны с Японией в 1904 году вызвали некоторое общественное движение, в основном в верхах. 26 августа министром внутренних дел стал князь П. Д. Святополк-Мирский. "Прогрессивное общество" встретило его одобрительно, как якобы "либерала", но "либералом" он был весьма хилым, а как государственный руководитель, да еще в предгрозовое время, совсем никудышным. Что он вскоре и доказал.

А ведь было, казалось, о чем задуматься. "Рабочий вопрос" уже стучался в крупнейшие промышленные центры страны: 1901 год — знаменитая "Обуховская оборона" в Петербурге, 1902-й — бурная батумская демонстрация, политические стачки в Баку в 1903—1904 годах и некоторое другое масштабом поменьше. Был и соответствующий опыт на Западе, но вялая царская администрация, видимо, ждала жареного петуха, который клюнет. И дождалась.

Уже после январских событий в столице новый градоначальник Дедюлин представил обширную докладную записку о действиях петербургского градона-

чальства накануне и в самый день Кровавого воскресенья. Записка эта, пояснял ее автор, была "составлена на основании всех имевшихся в моей канцелярии материалов и сведений, а приводимые в ней некоторые объяснения, не имеющие письменных свидетельств, подтверждены лично бывшим градоначальником Фуллоном".

Документ весьма своеобразный и, что особенно любопытно, содержит совершенно несвойственные данному жанру "критику и самокритику". Оказывается, градоначальство столицы с начала стачки и вплоть до трагического исхода не получило из МВД "ни одной бумаги или предписания по рабочему вопросу", но все это время "вплоть до 7 января включительно" столичная полиция "руководствовалась взглядом министра внутренних дел о невмешательстве в эту забастовку ввиду ее мирного течения и отсутствия насильственных действий".

Между тем уже 5 января министр финансов В. Н. Коковцов, деятель умный и осмотрительный, отражая беспокойство петербургских предпринимателей, докладывал царю, что он "признавал бы настоятельно необходимым" принять "действенные меры" как для "ограждения имущества промышленников", так и для безопасности "благоразумных рабочих". Не было недостатка и в агентурных донесениях о возможном, и очень резком, обострении событий. Но на правительственной Шипке все по-прежнему оставалось спокойным...

Катастрофа назревала, и вот с утра 7 января спячка властей сменилась лихорадочными и суматошными действиями, не имевшими опять же никакого стратегического плана. Дело в том, что уже в праздничный день 6 января Гапон выступил перед рабочими с призывом идти общим шествием к царю — решение об этом было накануне принято верхушкой "Собрания". Охранное отделение, пристально следившее за ходом событий, уже на следующее утро поставило правительство в известность об этом. Что же правительство?

Вернемся к "Записке" Дедюлина. Утром к Фуллону явился начальник штаба войск гвардии генерал Н. Ф. Мешетич и заявил, что "Петербург объявляется на военном положении и высшая власть переходит к князю Васильчикову" (тогдашнему начальнику гвардейского корпуса, располагавшегося в Петербурге). Естественно, тут вставал важнейший политический вопрос о разграничении полномочий гражданских и военных властей. Изумительно, но такой вопрос даже не был поставлен в правительстве и перед царем!

Днем генерал Б. А. Васильчиков провел краткое совещание с гвардейскими офицерами и чинами полиции. Город был разбит на восемь районов, а перед войсками не ставилось никаких особых целей, кроме обычного в таких случаях "поддержания порядка". Каким именно образом следует обеспечить этот самый порядок, никто точно не знал да и не задумывался.

В тот же вечер состоялось заседание высших правительственных чинов России, созванное Святополком-Мирским. Присутствовали: министр юстиции Н. В. Муравьев, директор департамента полиции А. А. Лопухин, Васильчиков, Коковцов, Фуллон. Судя по той же "Записке", совещание одобрило вызов войск, но высказалось против объявления Петербурга на военном положении. Итак, принимается половинчатое и административно нечеткое решение: войска в город входят, но военное положение не вводится — как же в таком случае должен был чувствовать себя каждый чиновник и каждый гражданин города?..

По воспоминаниям осведомленного в делах высших сфер С. Ю. Витте (хоть он и не участвовал в совещании), "было решено, чтобы рабочих манифестантов... не допускать далее известных пределов, находящихся на Дворцовой площади", для этого и вызвали войска. Более подробное освещение совещания, но с той же оценкой, сделал и участник его Коковцов: оно "было чрезвычайно коротким" и имело целью выделить в разных местах воинские наряды, "с целью помешать движению рабочих из заречных частей города к Зимнему дворцу". И далее, что весьма важно и чего высокопоставленный очевидец событий явно не осознавал: "Совещание носило совершенно спокойный характер. Среди представителей МВД и в объяснениях начальника штаба не было ни малейшей тревоги".

Благодушен был и Святополк-Мирский — главное тут действующее лицо. Он успокаивал подчиненных, что "благодаря особой дислокации войск... все шествия будут остановлены у застав", — свидетельствовал позже сотрудник канцелярии МВД Л. Н. Любимов.

Ну, были выполнены некоторые текущие мелочи: у электростанций и иных подобных объектов были учреждены круглосуточные караулы войск. И еще: была предпринята слабенькая, в общем-то в большей степени для бюрократической

отчетности, мера: по Петербургу 7 января было расклеено какое-то число объявлений о запрещении в будущее воскресенье всякого рода шествий и демонстраций... Все свидетели дружно утверждают, что эти объявления мало кто видел, а видевшие не придавали им никакого значения.

И вот наступила "роковая суббота", завтра история России покатится под гору. Так что же предпринимали главные действующие лица событий, когда оставалась хоть призрачная надежда что-то предотвратить?

Рабочие и все трудящиеся с истинно русской непреклонной и мрачной решимостью готовились идти до конца. Революционеры всех мастей и оттенков могли только потихоньку потирать руки, они-то в любом случае выигрывали, причем ничем не рискуя. Ну а правительство, ведь основная инициатива пока еще находилась у него в руках?

Находилась-то находилась, но в министерствах даже не думали, как ее использовать, не предвидя на следующий день ничего чрезвычайного. Военные при участии чинов полиции методично уточняли места расположения войск вокруг центра города. Опасаясь, что гвардейской пехоты и казаков окажется недостаточно, вызвали армейские части из ближайших к Петербургу районов. Вот и все.

Кульминация событий, предшествовавших Кровавому воскресенью, — это, разумеется, вечерний визит Святополка-Мирского к Николаю II. Тот уже 6 января выехал с семьей в Царское Село и с тех пор безотлучно пребывал там. Визит министра к главе государства был относительно непродолжительным. Свидетельства оставили оба, причем непосредственно после разговора на столь, казалось бы, острейшую тему.

На исходе дня Николай, как делал всю жизнь почти ежедневно, оставил запись в дневнике: "Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Рабочие до сих пор вели себя спокойно... Мирский приезжал для доклада о принятых мерах". И все. Отсюда можно сделать очевидный вывод, что царь не услышал в тот вечер ничего, что могло бы его потрясти.

Вернувшись около полуночи в свою резиденцию, Святополк-Мирский благодушно успокоил коллег: "Все меры приняты. К центру города рабочие не будут допущены. Есть все основания думать, что завтра все обойдется благополучно..." И это произносилось без малого за десять часов до того, как в столице России раздались первые залпы и пролилась первая невинная кровь...

А теперь вспомним, что почти столетие внушали нашему народу (дело-то началось задолго до Октября усилиями разного рода либералов): царское правительство сознательно-де провоцировало шествие рабочих, чтобы утопить их в крови... Изложенные выше описания правительственных действий полностью точны и опираются на источники, не содержащие никаких мало-мальски серьезных противоречий.

В кровавом XX столетии человечество стало свидетелем (и одновременно жертвой) великого множества разного рода темных и кровавых провокаций, закулисные подробности большинства из них ныне хорошо прослежены. Так что же, разве с таким дурацким простодушием готовились те, "настоящие"? И разве такими неловкими олухами были "настоящие" заговорщики и провокаторы? В нашем случае мы точно знаем только двух таких — Евно Азефа и Пинхуса Рутенберга, но они тогда в правительственные верхи никак не входили (правда, Рутенберг в 1917 году войдет ненадолго, но то будут уже "верхи" временные).

Теперь немного пофантазируем, хотя это и не дело историка. Допустим, что Мирский, исходя из каких-то своих планов, обманул царя и сгладил оценку грозной обстановки. Это полностью противоречит всем наличным источникам — никаких особых целей у Мирского не имелось, да и жидковат был характером. Или, с другой стороны, царь согласился с предложенными министром (и тем, кто за ним, возможно, стоял) тайными планами грядущей бойни? Опять же этому нет ни малейших документальных подтверждений, а молниеносная отставка Мирского и некоторых других его высокопоставленных коллег достаточно красноречива. Безусловно, царь и его окружение рассматривали предстоящие воскресные события как обычную военно-политическую операцию, не более.

Разумеется, подобная слепота никак не снимает ответственности с руководителей российской государственной машины, в том числе — а может быть, и в особенности! — с самого Николая. Громадные политические последствия они не смогли вполне оценить даже тогда, когда Кровавое воскресенье стало уже фактом.

В течение всего 9 января правительство и столичное градоначальство пребы-

вали в состоянии полнейшей растерянности и никак не пытались даже повлиять на ход драматических событий (а в историческом смысле — и не могли уже повлиять, все уже было безнадежно проиграно). И еще: Николай хладнокровно пребывал по-прежнему в Царском Селе, нет никаких сведений, чтобы от него или к нему в тот день гнали тревожных гонцов.

По выразительным описаниям Любимова, Святополк-Мирский "в волнении ходил по кабинету и курил", а Фуллон вообще куда-то исчез и в течение нескольких часов чиновники министерства внутренних дел никак не могли разыскать градоначальника столицы. И это в ходе таких событий! Вечером он, наконец, появился, "видимо, с трудом передвигая ноги", и протянул Святополку-Мирскому "вчетверо сложенный лист бумаги" — прошение об отставке. Заметим, что отставка — причем в весьма оскорбительной форме — незамедлительно последовала для них обоих. Уже к исходу 9 января во главе правительства фактически стал Д. Ф. Трепов — новоиспеченный генерал-губернатор Петербурга.

Во всеоружии бесспорных документов перед нами отчетливо предстают не заговорщики-кровопийцы, а жалкие безыдейные бюрократы в цивильном или военном облачении. Их, так сказать, политическое "кредо" с солдатской простотой высказал генерал Мешетич, заявивший вечером 9 января: "Что же касается стрельбы, то это неизбежное последствие вывода войск. Ведь не для парада же их вызывали?" Не войска вызывали для того, чтобы стрелять, а стреляли потому, что вызвали войска. Эта нелепая логика еще раз показывает, какого рода "заговорщики" сгрудились вокруг Зимнего дворца.

Итак, "плана" расстрела рабочей манифестации не существовало, был только план расположения воинских частей вокруг центра города и особо — Дворцовой площади. В тяжеловесных мозгах царских сановников и самого государя и в страшных снах не могла возникнуть необходимость бессмысленного кровопускания. Однако именно их руками была сотворена катастрофа на улицах столицы России. Со всеми ее ужасающими последствиями.

...Еще древние римляне, создавшие основы современной европейской юриспруденции, важнейшим вопросом судебного разбирательства полагали "Cui bono". То есть: кому выгодно? в чьих интересах? Подводя итоги, рассмотрим же исход Кровавого воскресенья с этой ключевой точки зрения.

Судьба несчастных питерских рабочих ясна, и речь тут идет не только и даже не столько о жертвах 9 января: неизмеримо большие гекатомбы замаячили тут уже на ближайшем горизонте. С того самого январского кровопролития исчезла вера русских трудящихся в возможность мирных преобразований в обществе, они сделались объектом приложения разного рода разрушительных сил — к сожалению, не без успеха для искушающих.

Правительство? Оно утратило всякий авторитет, даже великий Столыпин не смог возвратить его. Любой демагог смел хулить Николая II "кровавым", хотя юридически ему может (и должно!) быть вменено бездействие власти, но не умысел, а это существенно разные вещи. Государь лично был добрым и благородным человеком, что он и доказал в последние месяцы, дни и часы своей жизни.

Но вот революционеры — о, те поживились всласть! И ведь как не стеснялись устно и печатно злорадствовать по поводу трагедии Кровавого воскресенья! Не станем тут далеко углубляться, кто желает, пусть ознакомится хотя бы со статьями и письмами Ленина за первые месяцы 1905 года.

Ну а Россия, а русский народ? Здесь-то и были принесены самые ужасающие жертвы. Считать, что перечень их заканчивается, к сожалению, было бы преждевременно.



РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ОБРЕТЕМ...

Беседа публициста Александра КАЗИНЦЕВА
с Председателем правления акционерного общества“Ространс”,
издателем газеты “Интервью”, лидером “Движения русских хозяев”
Александром ИОНОВЫМ

А. Казинцев. Хозяин — понятие стержневое для России. Тысячу лет она держалась на хозяине: от крестьянина (хозяина собственного подворья) до царя (хозяина земли русской). А какой смысл вкладываете Вы в это чрезвычайно емкое слово?

А. Ионов. Хозяин для России — понятие не только сословное, но и нравственное. Каким бы делом он ни занимался, он обязан быть человеком ответственным: за принятие решений, за доведение работы до конца, за себя, за своих работников. Бывает, что и капиталист оказывается плохим хозяином, проматывает деньги, теряет предприятие, увольняет рабочих...

А. К. Расскажите о своем хозяйстве. Вы возглавляете крупное столичное предприятие “Ространс”.

А. И. Наше предприятие — акционерное общество закрытого типа. Учредители — только его работники, прошедшие со мной путь от очистки сараев, проводки канализации, центрального отопления. Люди знали — все это делалось их собственными руками. Мы работали артельно. Много сил я вкладывал в то, чтобы мы стали единомышленниками. Старался, чтобы они получали более высокую зарплату, чем на государственных предприятиях, а не так — быстрее себе в карман (сейчас это довольно часто происходит), за год наворовали, конвертировали, перевели за границу и сами туда уехали, а рабочих — на улицу.

У нас в “Ространсе” единоначалие. Не может быть демократии в управлении войсками, не может быть ее и на предприятии. Контрольный пакет акций у меня. И ответственность на мне. Мог и в трубу вылететь. Но мне удалось использовать конъюнктуру стремительно расширяющегося рынка транспортных услуг.

Рабочие — мои сподвижники. Когда они понимают общую цель, они лучше работают. Завтра зубоврачебный кабинет у них появится, можно не по бешеным ценам зубы подлечить; можно не бояться заразиться в парикмахерской — у нас своя; столовые везде позакрывали, а я в “Ространсе” открыл.

Тот, кто надеется быстро “слинять”, не закладывает фундамент, способный вынести несколько этажей. А ведь дом, возведенный на этом фундаменте, перейдет твоим детям. И я работаю на создание образа предприятия, чтобы фирму знали, чтобы были уверены: наш персонал не ворует. Мои рабочие входили во все посольства, расположенные в Москве, и там ничего не пропало. ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ, бороться за клиента, понимать: его кормит не государство, не Ионов, его кормит клиент. И если он ушел, то унес кусочек хлеба к другому, а не к твоему ребенку.

А. К. Вы задумываетесь о будущем. Я хочу Вас расспросить о прошлом. О ваших корнях. Это очень важно. Русский капитализм в прошлом веке рос из деревни. Из деревни с ее нравственностью, ее трудовой моралью, убеждением, что богатство не для роскоши, а для приумножения дела. Сегодня таких предпринимателей немного. Заправляют другие. “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда”, — писала Анна Ахматова. У нас и бизнесмены часто растут из сора. Их почва — спекуляция, рэкет... А где Ваши корни?

А. И. Я из деревни, что в Алексинском районе Тульской области, из многодетной семьи, где из десяти ребятишек осталось семь. Не богатырского, скажем так, сложения, но могу косить, могу стоговать, запрячь лошадь...

В деревне считалось грехом воровство. Там не было в чести то, что сегодня. Что, мол, богатство можно нажить, только объегорив кого-то. Да, понимали, что “горбат не бывает богат”. Но крестьянин, занявшийся предпринимательством, в одном поколении богатства не наживал. Взять Рябушинских — они только в третьем поколении стали финансистами, промышленниками, биржевиками.

Считаю, что тягу к собственному делу я унаследовал: мать была до-

черью владельца сельской лавки. Не мог он обмануть, потому что завтра бы пришли: ну, что ж ты, Федор Петрович, обманул... Подростком я с матерью ездил на базар продавать свой товар. И мать считала за грех, если товар был гнилой, некачественный. Да и не брали такой.

В Москву приехал по лимиту — работал и учился заочно. Получив высшее юридическое образование, устроился в Мострансагентство. Так что транспортом занимаюсь всю жизнь, профессионал. Рынок не терпит дилетантов. И знаете, я считаю, что занимаюсь творчеством. Можно написать книгу — это творческое начало, можно подмести улицу — это тоже может быть творчеством. Бог говорит: это хорошо! Посмотрел на мир и сказал: это хорошо. Был хаос, мусор, теперь его не стало. Однажды я подумал: я занимался делом при коммунистах, я занимаюсь делом при Гайдаре, и даже если, не дай Бог, меня посадят в тюрьму "анпиловцы", я буду заниматься делом, хоть вязанием веников. Не могу не заниматься делом — это мое призвание, я этим горжусь. И поэтому не признаю права спекулянта-биржевика. Биржевики должны обслуживать промышленный капитал. Они должны знать рынок металла, рынок леса, цен... Такие люди должны быть.

А. К. Итак, Вы прошли путь от рабочего до руководителя акционерного общества. Сумели основать фирму, которая составила капитал не на воровстве, а на деле, обслуживании населения. Но Вы не замкнулись в кругу чисто профессиональных вопросов. Вы стали издавать газету "Интервью". Что побудило Вас к этому?

А. И. Александр Иванович, вся моя трагедия как частного предпринимателя состоит в том, что сегодня я вынужден доказывать, что я — не "новый русский", что они — это еще не класс собственников, что у нас до сих пор нет никакого капитализма. Мы шли к рынку, чтобы я мог конкурировать с другими, чтобы покупателю дохлый товар не всучили. И вдруг мы видим торжество лжи, дискредитацию рынка, суда, органов правопорядка, правительства, должности президента. И я сказал: разве я к этому шел! Когда-то за Ельцина голосовало большинство населения. Голосовали за демократию и благосостояние. Кто же против этого?

Но можно пойти убить, ограбить и завладеть богатством, а можно всю жизнь работать. Вот разница — в средствах.

Это они нам говорят: идет нормальное первоначальное накопление капитала. Нет, не все капиталы так наживались. Разве Цейс, профессор, изобретший очки, грабил? Он работал в лаборатории, сутками шлифовал стекла. Эдисон проводником работал, в вагоне свою лабораторию возил, а потом стал миллионером. Форд механиком был, в сарае собирал автомобили. А нам воровскую идеологию проповедуют люди, которые не любят работать. У них такого таланта нет. Вот, мол, сегодня все разворуем, а завтра будет хорошо. Потому что наши дети Гарвард закончат. А те дети, которые в Гарвард не попали? Они запишутся в раскулачиватели. Посмотрите, как уже сегодня милиция относится: застрелили банкира — сами ищите убийц, это ваши разборки. Несправедливо нажитое в конце концов выйдет боком.

Вот почему я говорю: в годы советской власти у нас сохранилось чувство справедливости (пусть и искривленной). Сейчас кричат — это было стремление к уравниловке. Нет. Если директор строил себе дачу за счет предприятия, народ на профсоюзных собраниях говорил: директор ворует! И можно было в райком партии написать. А теперь райкомы разогнали... А бывший обкомовец Ельцин, бывший "правдист" Гайдар, бывший комсомолец Ходорковский — они дискредитируют капитализм. Может быть, специально: мы вас ограбим, и вы на сто лет о капитализме думать забудете.

Поэтому так необходим голос разума. Я назвал "Интервью" газетой здравого смысла. Сейчас таких изданий единицы. В большинстве газет кричат, подают "жареные" факты, призывают к крови.

Убили корреспондента "Московского комсомольца" — а ведь это Вы, господин Гусев, тащили на первую полосу сообщения об убийствах, изнасилованиях, пытках. И вот беда пришла в Ваш дом. Так усвойте же: не зови воровать! Не зови убивать!

Пора бы и о другом задуматься: не хули Родину, не хули народ. Другого у тебя нет. Тебе народ этот не подходит — смени Родину. Нам же менять нечего. Мы корнями вросли в эту землю. Какие прекрасные слова у Тургенева: "Родина без нас обойдется, но мы без нее — нет". Так что же нам делать? Идти до конца. Не нам достанется нормальная жизнь, так нашим детям. Все равно будем класть фундамент — кирпич к кирпичу. За мою газету ко мне домой приходили с угрозами. Я это все прошел. Но я обречен на эту работу.

А. К. Еще совсем недавно казалось, что победа национального капитала в России, где сегодня торжествуют компрадоры, ориентирующиеся исключительно на Запад, это утопия. Но сейчас что-то в атмосфере меняется. И вот в "Независимой газете", которая традиционно считалась рупором российского либерализма, вненационального или даже антинационального, появля-

ется любопытнейшая статья некоего Алексея Севастьянова. В ней доказывается, что будущее именно за национальным капиталом. Автор намеренно обостряет проблему, говорит о д и к т а т у р е национального капитала.

При этом он отмечает, что диктатура национального капитала есть фашизм. Об этом кричали много раз, слово "фашизм" использовали как бранный эпитет, но самое любопытное в статье, что автор как бы приветствует такой порядок, во всяком случае, готов принять его как разумную необходимость. Можно было бы согласиться с Севастьяновым, если бы не его отношение к народу. Он пишет: "Нет, господа, народная карта бита. Массы уже не решают всего и не будут решать ничего. Грядущий национал-капитализм даст им работу, кров, одежду и пищу, но в политику не пустит никогда". Знаете, одежду, кров, пищу имели даже рабы. Так что же, национальный капитал в случае своего торжества превратит нас в рабов (к этому же явно ведет и капитал компрадорский)? Или русские хозяева выберут иной путь — сотрудничество со своим народом? Путь корпоративного государства, где промышленники, с одной стороны, и трудящиеся, с другой, становятся партнерами — в труде и политике.

А. И. Любопытная статья. Я в двух местах не согласен с автором. Нельзя отказывать народу в способности и праве разобраться в политике, в политиках. Севастьянов говорит, что народ способен избрать только Ельцина или Жириновского. Чепуха! Я из народа, я общаюсь с людьми, езжу в деревню, знаю крестьян. Один мужик, уже за шестьдесят, он такой политик, что удивляешься.

Народ не способен сделать выбор? Неправда! Разобрался же народ — не проголосовал за Гайдара. Политики кричат: давай деньги, будут деньги — мы все что угодно сделаем. А у Гайдара было денег больше всех. У него деньги и власть, а за него не проголосовали. У КПСС все это было. Ну и что? Достаточно было Ельцину уйти в оппозицию, как все разрушилось. Народ голосовал от противного: только бы не вы, только бы не Горбачев. Потому что вы все нам показали: и ГУЛАГ, и ложь Гайдаров в третьем поколении. Ничего не помогло.

КГБ перестал работать. Когда позволили выходить из партии, в первую очередь побежали люди из органов...

Не надо отказывать народу и в чувстве собственности. Разве не мы говорили: если бы завод был мой, я бы работал по-другому. Подсознательно все понимают: частная собственность нужна. Другое дело, что не все можно присваивать. Разве допустимо расчленить нефтегазовый комплекс на участки, нефтепроводы и приватизировать? Это национальное богатство. Сколько сюда вложено денег, общего труда, жизней! И вдруг все это отдается одному директору, и он — нефтяной король.

Я был в Арабских Эмиратах — там бензоколонка частная, а бензин государственный. Вы можете ввести свою розничную наценку, но в пределах, установленных государством. Хотя они на нефти плавают — кажется, отпусти цены, и ничего не случится. Но цены там регулируют. Иностранец свой бизнес завести не может. Право приобрести недвижимость закреплено только за гражданами Эмиратов.

Во всем мире столько вариантов! В Японии, например, практикуют пожизненный наем (то есть тот же социализм, который коммунисты принудительно хотели ввести). Это значит — я в фонд безработицы ничего не плачу, но и работника не имею права уволить. Человек может расти, получать повышение по службе: у него двадцать или тридцать ступеней, чтобы пройти до президента фирмы. Вот где можно поучиться социальной защите. Как же Зюганов не может понять: обеспечить нашим старухам условия времен "развитого социализма" — не проблема для настоящего капитализма, если он развернется. Только богатые могут накормить бедных. К кому идут просить денег? К богатым. Только сильный защитит слабого. Да здравствует сильный! И обычно это добрый человек.

Вы же не видели, чтобы сильный был мстительным, чтобы он гонялся, например, за пацаненком.

А. К. Сегодня мы не видим как раз другого: чтобы сильные защищали слабых. А гоняться за пацаненком — вспомните поведение омоновцев в сентябре-октябре 1993 года! Не видим мы и того, как богатые кормят бедных. Наоборот, они богатеют за счет того, что беднеет большинство соотечественников. Соотношение доходов десяти процентов наименее обеспеченных и десяти процентов самых богатых — 1:45. Чудовищный разрыв, которого нет ни в одной развитой стране мира.

А. И. Беда в том, что у нас к власти пришли предприниматели, мыслящие не по-русски. У них задача наворовать и сбежать. Они давно хотели сбежать, им открыли границу, но тут началась приватизация, и они остались. Но по-русски работать они не будут.

Да, и я мог бы копить крохи с этого жирного взяточнического стола. Было бы достаточно, чтобы обеспечить себя и ребенка. Но я хочу, чтобы страна процветала. От воровства страны не богатеют, а здесь система воровская. Сейчас не приватизация нужна — аренда. Вот была фабрика, валенки ва-

ляли. Дать в аренду, но чтобы площади лишней не занимали, чтобы новые технологии вводили. И многие готовы работать на таких условиях.

Показали по телевидению: в Красногорске разумный мужик какое производство наладил! А Чубайс сразу налетел — приватизировать! Это политика. Разве можно монопольно приватизировать? На Западе сразу же применят закон Тафта-Хартли, имеете право контролировать не более 30 процентов рынка. Перебрали — фирма ликвидируется. Это те самые западные стандарты, о которых они так кричат.

А. К. Для того, чтобы установить справедливый общественный порядок, где сильный обеспечивал бы права тех, кто слабее, нужна политическая борьба. Вы возглавляете “Движение русских хозяев”. Оно получило известность, когда на Конгрессе патриотических сил в Калининграде осенью 1994 года Вы выступили рядом с Зюгановым, Руцким, Бабуриным. Расскажите о Вашем “Движении”.

А. И. Я ищу национально ориентированных капиталистов, чтобы вместе с ними защищать наши интересы в политике. И не будем надувать щеки — это инициатива нескольких директоров, которые, как и я, поняли, что национальному капиталу здесь нет места, что завтра их не только в Европу не пустят, но и из России пометут. Придут такие акулы — нашим директоришкам с ними не сладить, потому что рыночную экономику мы еще не знаем, не обучены. Правильно пишет тот же Севастьянов: при их опыте подстроить тебе банкротство — нет проблем.

Мне говорят: да уже есть объединения промышленников. Да, есть. Есть Союз Вольского, есть Союз Скокова. Но обратите внимание, основа-то какая у союзов? Прежняя, государственно-профессиональная. Да и принцип тот же: добровольно-принудительный. Я это не в осуждение: мы так жили. А почему в эти Союзы директора вступают, знаете? Да очень просто. Вдруг кредит какой льготный дадут.

Правда, охотников до таких организаций все меньше, доверие к ним падает. Директора предпочитают бороться за свои предприятия в одиночку. Очевидно, наступает время новых объединений, на другой основе — нравственной, духовной, православной. Нам надо объединяться вокруг храмов, чтобы начинать наши дела с общей молитвы, чтобы возвысить свои мысли, чтобы думать не только о себе, но и о благе других. И тогда “лидером” станет не кто-то сам себя назначивший — вот, мол, я! — а духовный отец, священник. Он и силы укрепит, и пристыдит, когда надо.

Всем известно, как вели свои дела русские купцы и промышленники. Им достаточно было честного слова. И разве можно было нарушить слово, данное в церкви? Вот о каком согласии русских промышленников я мечтаю. Да, складывается наше “Движение” трудно, тяжело: далеко ушли мы от Бога, много раз были обмануты. Но ради того, чтобы встретить хотя бы несколько человек думающих, как и я, готов обманываться еще и еще...

А что касается оппозиции... мне было интересно на нее посмотреть: способна ли она защищать и мои интересы. Я по-прежнему считаю: надо создавать оппозицию современному курсу, включая в нее все национальные силы. Главное, о чем мы должны договориться, — Россия. Я так скажу: если Россия может сохраниться лишь как коммунистическая держава (хотя я с этим утверждением не согласен), то я за коммунистическую Россию. Есть права человека и есть права нации. Если русский народ сохранится, сохранятся и права русского человека. Можно спасаться на корабле, переплывая океан, а можно и на отдельной лодочке. Вот в отдельных лодочках акулы нас и переловят. Когда абсолютизируют права человека, это значит, что с тобой один на один будет какой-нибудь Ротшильд. Кто ты по сравнению с ним? Он все скупит немедленно.

Государство должно быть национальным. Оно должно поддерживать своих предпринимателей, культуру, науку, здравоохранение, уклад жизни, религию, наконец. В Швецию Вы не поедете торговать с Ближнего Востока, потому что там скажут: нет, нам их не надо. Это в законе не записано, но это общественная договоренность.

Я ехал в Калининград посмотреть: как представляют себе возрождение России лидеры оппозиции. И *кого* они представляют. К сожалению, я убедился, что за ними нет прочной социальной базы. У нас еще нет слоев с ясно осознанными социальными целями. Нет купцов, нет промышленников. Те — в Америке — знают, что если хоть одна компания полетела (“Дженерал Моторс”, которая заказывает металл у “Америкэн Стил”, и т. д. по цепочке), вся экономика летит. Там все жестко, иначе придет “русская мафия” и купит одну из ста компаний. Так вот — ей не дадут этого сделать!

В Калининграде я убедился, что оппозиции, опирающейся на широкие социальные слои, нет. Она разрознена. Это выгодно власти. Я подозреваю — это все специально. Очень много вождей, за которыми кроме амбиций — ничего. Как это далеко от заповеди: “Тот у вас первый, кто слуга вам всем”.

Сейчас у национальных капиталистов нет партии. Она должна выкристаллизоваться. Тогда русская

буржуазия, как и вся нация, осознает, что нам места в мировом распределении труда и капитала нет. Пока мы не будем сорганизованы, пока не научимся выступать единым фронтом. А когда придет сознание единства, тогда мы продиктуем Европе: вы нас не пускаете к себе с алюминием, мы не пустим в Россию производителей автомобилей. И тогда те побегут к производителям алюминия: слушай, увеличь квоту, а то русские нас не пускают... Вот что такое национальный капитал, партия национального капитала. Это партия национальная, недаром есть крылатая фраза: все, что выгодно "Дженерал Моторс", выгодно Америке. Потому что это рабочие места, это национальное образование, культура, налоги, содержание армии. И то, что выгодно мне, предпринимателю Ионову, выгодно нации, правительству. Чем больше Ионовых будет, тем лучше. Чем больше будут поднимать национальный капитал, тем я буду успешнее вести конкурентную борьбу с иностранными корпорациями.

Даже наша компрадорская буржуазия начинает понимать, что ей места на Западе нет. Что если зарубежные банки пустить сюда, то в течение нескольких суток все эти наши комсомольские банкиры пойдут по миру. Потому что с их технологией, с их качеством обслуживания ну кто же обратится к этим "банкирам", которые могли собирать только членские взносы, а теперь собирают акции. Те проживали, а эти теперь проедают.

А. К. Александр Федорович, а что такое в Вашем понимании русский?

А. И. Слово "русский" — для меня не случайное. Оно выстрадано, продумано, прочувствовано. Его истинный смысл помогли мне понять книги Солоневича, Ильина, Победоносцева. Что нового можем сказать мы после них? Да, русским мало родиться, русским надо стать. Русский — это больше, чем национальность, это состояние души, состояние духа. Русский — это тот, кто живет по совести, то есть по Богу, кто не унижает малого и слабого, для кого цель — не деньги, а труд, кто уважает свою и чужую национальность!

Духовность пропитывала все стороны русской жизни. Поэтому "русскость" так пленяла иностранцев, и многие иностранцы (их имена вы знаете) стали гордостью русского народа.

А. К. Александр Федорович, а вот каким вопросом мне хотелось бы закончить нашу, надеюсь, не последнюю беседу. Мне часто говорят на выступлениях: "Вы, Александр Иванович, все о русских капиталах, а какая нам разница — свой или иностранец. Все равно кровопиец, эксплуататор".

А. И. Русская история наполнена мифами. И если мы хотим стать полноценными русскими, нам многое придется переосмыслить. И для этого не только "Угрюм-реку" надо читать. Вот Вы, Александр Иванович, одним из первых на страницах "Нашего современника" открыли русского промышленника Мальцева. Да, он продал свое имение, но не уволил ни одного работника. А что, скажите на милость, привез из Парижа Прохоров?.. Гран-При за содержание своих рабочих. И тот же Прохоров отверг наивыгоднейшее предложение о продаже ситца, сказав: "А что же будут делать мои рабочие?" Нет, не были русские Прохоров и Мальцев кровопийцами, они были, если хотите, "отцами своим работникам". И это чувство у нас в крови. Я знаю предпринимателей: они лечат рабочих-пьяниц, помогают их семьям. И когда мне говорят, а вот во время первой русской революции бунтовали рабочие, я отвечаю: "А вы читали "Книгу Скорби русского народа", вы знаете, сколько рабочих погибло, защищая фабрики и заводы тех, кого вы называете "кровопийцами"?

Поймите, я не склонен приукрашивать достоинства русских промышленников, но и приуменьшать их не собираюсь. Ложная скромность не для нашего времени. И если дать окрепнуть нашему предпринимателю, не потребуется слезно умолять об иностранных инвестициях, о которых без умолку твердит Чубайс.

"Немец" церемониться с нашими людьми не будет. И Вы это прекрасно знаете. И, кстати, о западных инвестициях. Они хороши лишь тогда, когда у власти национальное правительство, когда есть закон о вывозе капитала, когда прочно защищено собственное производство. Пока всего этого нет, я не склонен разделять неуемные восторги по поводу иностранных вложений.

Русские обязаны подняться с колен, обрести утраченное достоинство. Да, сейчас мы должны признать, что находимся в состоянии побежденного. Но уже только от нас зависит, как долго будет продолжаться это состояние. И если мы перестанем оплакивать Россию, перестанем поносить западное богатство, восхваляя собственное рубище, тогда на смену России, которую мы потеряли, придет Россия, которую мы обретем!



НАШ ПОБЕДОНОСЕЦ

Полвека мы ждали этого известия. Ждали ветераны, прошедшие с Непобедимым Маршалом фронтовыми дорогами, люди, помнящие войну, свято чтущие полководца, участвовавшего в 58 сражениях и ни единого не проигравшего, творцы Великой Победы, их дети, внуки, правнуки — все, в ком жива память о народном подвиге, кто любит свое Отечество. И вот свершилось: создан памятник Георгию Константиновичу Жукову.

Автор — замечательный русский православный скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Почти все работы Мастера — образы Преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Святой княгини Елизаветы Феодоровны, равноапостольных Кирилла и Мефодия, Святого князя Владимира Крестителя — имеют долгую и трудную историю. Их нередко запрещали, снимали, переносили, замалчивали в прессе и официальной критике. Но Жуков... Близко зная скульптора и наблюдая его титанический труд в последние годы, могу сказать, ничуть не поступаясь истиной: самые мучительные треволнения связаны именно с замыслом этого монумента.

Когда у скульптора родилась мысль о создании памятника народному маршалу? Наверно, очень давно. Тема была ему близка с детства. Пятилетним мальчишкой в глухой курской деревушке Мармыжи Клыков встречал возвратившихся с фронта солдат — своего отца, прошедшего и финскую, и германскую войны, родственников, односельчан. Жадно слушал их рассказы. А какие тогда были разговоры? О боях, о фронтовых товарищах, о людях, внесших самый весомый вклад в Победу. Жуков, Рокоссовский, Ватутин, Черняховский — они были не просто грозными командирами, но именно товарищами солдат, близкими, родными,

хлебнувшими лиха вместе со всем народом. Жуков уже тогда стал живой легендой, особенно в сознании молодежи, детей.

Каким мы представляем Георгия Жукова? Мужественный, решительный, волевой. Открытое, типично русское лицо. Собирательный образ народного героя! Для большинства из нас война сейчас, по прошествии стольких лет, ассоциируется прежде всего с книгами, песнями, фильмами, кадрами кинохроники. Вспомним: командир поднимает бойцов в атаку, жены и сестры встречают солдат на Белорусском вокзале... В ряду таких исторических кадров и маршал Жуков, принимающий Парад Победы на Красной площади в Москве. Это был апофеоз ратного подвига народа, личный "звездный час" Георгия Константиновича, всей его судьбы, всей жизни.

Именно этот великий миг и запечатлен Клыковым в бронзе. Скульптор сумел сплавить воедино все свои эмоции и знания о Герое. Он часто и подолгу беседовал с ветеранами, встречался с дочерьми маршала, пытаясь уловить мельчайшие черточки характера, много читал, смотрел хронику. И вот модель памятника в одну десятую величины в клыковской мастерской на Ордынке. Образ выполнен в русских художественных традициях, это конная статуя (вспомним хотя бы памятники Юрию Долгорукому, Петру I), копыта коня попирают фашистские штандарты. Первая же ассоциация — Георгий Победоносец! Любимый православной Русью образ.

Где должен стоять памятник герою? Вопрос о месте — сложнейший не только для автора, это вопрос общественный, общенациональный: ведь любой памятник отражает не только нашу память, но и сознание, устремления, чаяния современников и потомков, выражает душу народную, а значит, никому не безразлична его судьба. Клыков высказал предложение: установить монумент на Красной площади перед Историческим музеем; бронзовый маршал будет словно выезжать из истории, нашей памяти, как во время Парада Победы, напротив навечно застывших героев Отечества К. Минина и Д. Пожарского, спасших Русь в Смутное время. Идею скульптора поддержали ветеранские и другие общественные организации, даже президент России и мэр Москвы.

Но не тут-то было! Нашлись ярые противники и маршала Жукова, и Победы, и установки памятника на Красной площади. Бюрократы-чиновники, ряд военных историков и ретивых журналистов вдруг выказали ретивую заботу о "неприкосновенности" исторического облика Красной площади, призвали в помощь ЮНЕСКО. Клыков, не привыкший отступать, на этот раз был вынужден смириться — чтобы спасти не просто свою работу, а народную идею. Новый указ: установить памятник на Поклонной горе, в галерее героев. Клыков не счел это место удачным. Четыре года назад он даже отказался участвовать во Всесоюзном конкурсе на памятник Г. К. Жукову, поскольку устроители выбрали местом установки монумента Смоленскую площадь. Как на таком пятачке, среди невообразимого коловращения транспорта не затеряться любой скульптуре? Не годится и Поклонная гора — срытая, напичканная чуждыми народной символике объектами. И вот новая весть: Манежная площадь! Это известие доброе: возле Красной, у Вечного Огня. Опять будет борьба за воплощение идеи в жизнь? Да, увы, пока у нас без борьбы ни одно хорошее дело не утверждается...

В Калуге, на скульптурной фабрике, где Вячеслав Михайлович работает над образом Жукова, он показал нам, группе журналистов, модель памятника в натуральную величину, выполненную в глине. Клыков не изменил своему особому методу работы: никогда не прибегать к помощи простого увеличения макета, а полагаться прежде всего на интуицию, чувство вкуса, доверять импровизации. Изменив в каркасе композицию, видоизменил и образ. Одно изменение продиктовало Мастеру последующие. На модели Жуков привстал в стременах, конь получил новое движение, он уже не гарцует, не скачет легко, а мерно ступает в ритме барабанного боя, чеканит шаг. Копыта коня попирают не только фашистские флаги и вымпелы, но и символ рейха — орла с зажатым в когтистых лапах дубовым венком, несущим свастику. Конец орлу — наш Победоносец обломал ему крылья, вот они, раздавленные копытами. Композиция подсказала скульптору и новый поворот головы маршала, другой жест руки — он стал более уверенным, как бы утверждающим Победу. Изменилось и лицо Жукова — оно строже, значительнее, мудрее. Вечный собирательный богатырский образ...

Скульптурная композиция высотой 5,45 м будет поставлена на пьедестал тоже внушительных размеров (5х2,5 м) — такой получается величественный памятник. Глину для работы над моделью Клыков выбрал местную, из Калужской области. И в этом есть своя символика: ведь маршал Жуков уроженец калужского села Стрелковка — родина дает материал его образу! Отливаться в бронзе памятник

будет на петербургском заводе "Монументскульптура", а для постамента используют 130-тонную глыбу розового гранита, добытого в Токовском карьере в Днепропетровской области, где местные каменотесы проведут обработку камня, после чего его доставят в Москву на специальной железнодорожной платформе. Гранит пьедестала будет хорошо гармонировать с бронзой композиции. Снова символ: словно вся наша великая страна-победительница участвует в создании памятника Освободителю!

— Я думаю, — говорит Вячеслав Михайлович, — что масштаб личности маршала Жукова и его вклад в Победу до конца нами еще не оценен и не осознан. Нами и нашей военной историей. Россия в лихую годину рождает богатырей, обладающих той силой и мощью, которую таит в себе она сама. Жуков — один из них. Имя его уже стало синонимом стойкости, отваги, синонимом самого русского народа — я не побоюсь высоких слов. Он стоит в одном ряду с такими народными героями, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Нахимов. Может быть, он еще большего масштаба и значения, ибо и масштаб войны, на полях которой он покрыл себя бессмертной славой, необычайно велик, ни с чем не сравним. Великая Отечественная началась 22 июня 1941 года, в день Всех святых, в земле Российской просиявших. Завершилась она в день Святого Георгия Победоносца. Вот почему образ маршала-победителя органично сливается с образом этого святого. Я думаю, что такие люди, как Георгий Константинович Жуков, рождаются, чтобы свершить свою историческую миссию. Он сознавал эту миссию, не мог не сознавать: два Георгиевских креста, полученные им за храбрость еще до революции, что-нибудь да значат. Просто человек из глубинки, плоть от плоти, кость от кости народа, он из унтер-офицеров вырос до маршала. В чем основная роль Жукова? Он развеял три мифа, о которых шумела пропаганда за рубежом: о непобедимости вермахта, о непобедимости квантунской армии и о непобедимости сионистской власти... Я часто думаю: а как бы поступил он в нынешнее время, в создавшейся обстановке? Очень такой человек нужен народу, и сейчас — не меньше, чем в войну. Маршал Жуков должен одержать еще одну победу — помочь нам одолеть разруху, обрести достойную нашего народа жизнь. Не он, конечно, а образ его, память о нем.

...Как и все настоящие творцы, Клыков не любит говорить о самом памятнике Народному Маршалу: сделал работу для людей, зачем что-то объяснять, пусть судят сами, пусть каждый найдет в образе героя что-то свое, личное...

Ирина ПАНОВА

"РУССКИЙ НАРОД Я ЛЮБИЛ И ЛЮБЛЮ..."

(К 100-летию со дня рождения академика В. В. ВИНОГРАДОВА)

Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969) — один из наиболее выдающихся филологов XX века, что уже давно признано во всем мире. Но только сегодня мы можем получить представление о самых драматических страницах его биографии...

Еще в конце 1940-х — начале 1950-х годов я слушал лекции В. В. Виноградова в Московском университете, а позднее достаточно близко познакомился с ним, участвуя в научных предприятиях Отделения литературы и языка Академии наук (которое он возглавлял в 1950—1963 годах), не раз посещал его дом около заветной Собачьей площадки и затем в Калашном переулке, куда он вынужден был переехать после варварского хрущевского уничтожения чудесного московского уголка (ради прорубания Калининского проспекта, нужного главным образом для быстрого движения "членовозов" в направлении правительственных дач).

Особенно сблизился я с Виктором Владимировичем после того, как он по моей просьбе весомо поддержал дело издания трудов Михаила Михайловича Бахтина. Это была непростая ситуация, ибо в свое время М. М. Бахтин написал весьма резкую полемическую статью о некоторых филологических идеях Виноградова, и хотя статья эта была опубликована под чужим именем, Виктор Владимирович прекрасно знал, кто ее настоящий автор. Но, сказав мне об этом с понятным неудовольствием, он без всяких колебаний и не единожды выступал в поддержку своего давнего оппонента...

Теперь я лучше понимаю его поведение. Ведь в те годы я имел только самое смутное представление о том, что Виноградов — товарищ Бахтина по несчастью, что и он испытал тюрьму и ссылку, хотя его судьба повернулась в лучшую сторону много ранее, чем бахтинская.

...В своем ответе на запрос КГБ (в 1964 г.), фрагменты которого публикует теперь Анна Борисовна Гуськова, Виктор Владимирович предельно кратко и просто объяснил, почему он — вслед за его отцом, рязанским священником — был арестован и осужден в пору зверских бесчинств Генриха Ягоды и присных. "Русский народ я любил и люблю", — написал он.

Такая любовь в 1920-х — первой половине 1930-х годов рассматривалась, в сущности, как "преступление". И нельзя умолчать о том, что в наши дни властвующие или кормящиеся из рук власти субъекты явно стремятся восстановить "порядки" тех лет. Из публикуемых документов читатели ясно увидят, что обвинение в "фашизме", бросаемое ныне любому русскому патриоту, — это мерзкое повторение мерзостей шестидесятилетней давности, когда именно по такому обвинению свора Ягоды арестовала и П. А. Флоренского, и Н. А. Клюева, и В. В. Виноградова, и многих-многих других выдающихся русских людей.

Поистине замечательно, что трое названных мною и после ареста продолжали мыслить и творить в невозможных, казалось бы, условиях...

Да, я только теперь получил отчетливое представление об этих страницах биографии В. В. Виноградова и, признаюсь, сожалею, что так получилось; если бы все это было известно мне при его жизни, я постарался бы сблизиться с ним еще более тесно и глубоко...

В хрущевскую пору — что было вполне закономерно и о чем я надеюсь еще рассказать — Виктора Владимировича отстранили от его высокого поста академика-секретаря Отделения литературы и языка, и он покинул Москву и вернулся в город своей молодости Петербург-Ленинград. Помню, как, приехав туда в 1968 году, я вдруг увидел опального ученого на Невском проспекте. Он шел или, вернее, ш е с т в о в а л мимо Екатерининского сквера, где высится памятник достославной императрице, и все встречные, казалось, почтительно расступались перед ним, ибо была у него особенная горделивая осанка, подобную которой мы знаем именно по скульптурным и живописным портретам "екатерининских орлов"... И я как-то не решился заговорить или хотя бы поздороваться с ним.

Между тем вскоре после этой встречи мне передали приглашение Виктора Владимировича участвовать в сборнике статей "Поэтика и стилистика русской литературы", который должен был появиться к его 75-летию, то есть в 1970 году. Я прислал в Ленинград свою претендующую на широкие обобщения статью "Литература и слово", но 4 октября 1969 года В. В. Виноградов неожиданно скончался, и сборник с этой статьей вышел в свет уже с посвящением "Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова"...

Нисколько не сомневаюсь, что память об этом замечательном человеке не сотрется в отечественной культуре.

Вадим КОЖИНОВ

АННА ГУСЬКОВА

В. В. ВИНОГРАДОВ И ДЕЛО “РУССКИХ ФАШИСТОВ” (1933—1934 гг.)

Автор сердечно благодарит за предоставленные материалы, дружеское внимание к работе В. М. МАЛЬЦЕВУ, правопреемницу Н. М. МАЛЫШЕВОЙ, вдовы академика В. В. ВИНОГРАДОВА, В. Н. ВИНОГРАДОВУ, племянницу В. В. ВИНОГРАДОВА, а также Ф. Д. АШНИНА, В. М. ЗАВЬЯЛОВУ, Г. А. ЗОЛОТОВУ, А. М. КАЛГАНОВА, В. И. КРЯЖЕВА, М. П. КУДИНОВА, Н. А. ЛОБАНОВУ, Л. Е. МИСАЙЛИДИ, В. Н. МОРОХИНА, Е. В. ОДИНЦОВА, В. Н. ЯКУШЕВА.

В 1936 г. при разработке архива Главного управления государственной безопасности НКВД СССР было зарегистрировано следственное дело № 2554. Оно было заведено ОГПУ по обвинению “Дурново Николая Николаевича и других, всего 32 человека” в принадлежности “к контрреволюционной национал-фашистской организации, именовавшей себя “Российская национальная партия” (РНП). Данное дело начато 3 сентября 1933 г., закончено 29 марта 1934 г., состоит из 11 томов. В литературе упоминается преимущественно как “дело славистов”[1]: среди его жертв много ученых-славистов. По существу оно является первым известным нам делом о “партии” “русских фашистов” в СССР. Его можно рассматривать как логическое продолжение начатого ранее геноцида российской интеллектуальной элиты — писателей, поэтов, ученых, приверженных русской культуре и развивающих ее традиции, под надуманным предлогом борьбы с “русским фашизмом”. Еще в 1924 г. Г. Ягодой и Я. Аграновым была “пресечена” “террористическая деятельность” “Ордена русских фашистов”. “Русские фашисты” в лице крестьянского поэта Алексея Ганина и его друзей-литераторов были расстреляны. “Дело”, естественно, было сверхсекретным, приговор выносился во внесудебном порядке. Чекисты усмотрели вину этих несчастных в том, что они окружали себя “исключительно русскими людьми с контрреволюционным прошлым”, что “замышляли” “произвести террор над членами совправительства”, что нанесли побои “ответственным работникам ОГПУ” (Беленький, Агранов, Славотинский и др.), пришедшим “ликвидировать” их организацию[2].

Временной момент для внедрения в массовое сознание мифа о “русском фашизме” Ягода—Агранов психологически выбрали точно. На фоне агрессивного распространения фашизма на Западе существование в СССР в 1933 г. организации “русских фашистов” — Российской национальной партии — выглядело зловеще и правдоподобно. ОГПУ получало безграничный простор для расправ с “буржуазной” интеллигенцией, “спецами”, всеми “социально чуждыми”, инакомыслящими и просто неугодными лицами.

Один из осужденных по делу № 2554 (проф. А. И. Павлович) в 1964 г. писал, что следствие обвинило его в том, что его научные интересы были “устремлены в область изучения славян”. Это квалифицировалось как “ярко выраженный национализм и шовинизм” (т. 11, л. 1)[3]. Такой подход позволял ОГПУ рассматривать любую группу лиц (в каком бы уголке Союза она ни находилась), проявлявшую профессионально или любительски интерес к культуре славян, русской культуре и истории, как ячейку “русских национал-фашистов”. А каждый, как сказали бы сейчас, “русскоговорящий” мог быть объявлен “русским фашистом”. Призрак

ГУСЬКОВА Анна Борисовна родилась в Екатеринбурге. Окончила филологический факультет МГУ. Более тридцати лет возглавляла издание учебников и учебной литературы по русскому и иностранным языкам в издательствах “Прогресс” и “Высшая школа”. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза журналистов. Живет в Москве.

---

1 “Дело славистов”: 30-е годы” — так называется монография одного из первых исследователей дела № 2554 Ф. Д. Ашнина, написанная в соавторстве с В. М. Алпатовым (находится в печати).

2 Подробнее см.: Станислав Куняев. “Пасынок России” (журнал “Наш современник”, 1992, № 4, с. 159, 169).

3 Здесь и далее указывается номер тома и лист дела № 2554, хранящегося в Центральном архиве Федеральной службы контрразведки РФ.

"русского фашизма" с такой силой тяготел над сознанием лубянских вождей, что когда их усилиями в Москве в 1935 году была "выявлена" еще одна "фашистская организация" — на сей раз "немецко-фашистская" — они не преминули "обнаружить" в ее составе "группу русских фашистов", а "организацию" замкнуть на "русский национал-фашистский центр" в лице Р. О. Якобсона и Н. С. Трубецкого. По версии ОГПУ, участники этой "организации" — немцы, русские, евреи — "фашизировали" немецкие словари, издающиеся в Союзе. К тому же одному из них, переводчику М. А. Петровскому, ставилась в вину еще и "связь" с "русским фашистом" — В. В. Виноградовым.

Идея существования в СССР "партии русских фашистов" вынашивалась ОГПУ в ходе оперативно-следственной работы, начатой в конце 20-х — начале 30-х годов. В "разработку "Жупаны"[1] собирались "неотработанные" ранее дела на украинских и белорусских националистов, на специалистов, связанных с Академией наук, Ленинградским университетом, Эрмитажем, Русским музеем, музеями краеведения. Они, а также информация, полученная из других источников, просеивались в одном аспекте — возможной привязке к фабрикуемому делу об "украинских и русских фашистах". Естественно, материалы извлекались не только из "запасников" ОГПУ. Инспирировались и новые дела. С каждым днем росло число жертв команды Ягоды—Агранова.

Первоначально "центр" "украинско-русского национал-фашизма" виделся руководству ОГПУ в Ленинграде во главе с ленинградцем В. Н. Перетцем, академиком двух академий — украинской и союзной. С арестом москвича Н. Н. Дурново, члена-корреспондента АН СССР, имевшего более обширный круг знакомств, особенно закордонных, "центр" "русского фашизма" оказался в Москве. Так возникло дело № 2554, где ключевой фигурой стал Н. Н. Дурново. Не менее значительное место отводилось члену-корреспонденту АН СССР Г. А. Ильинскому, а также сыну Н. Н. Дурново, литературоведу-слависту А. Н. Дурново. Таким образом "разработка "Жупаны" продуцировала новые и новые следственные дела, каждое из которых получало свой номер. Отпочковалось групповое дело на "участников РНП" — ленинградцев, заведены дела на В. Н. Перетца и академика М. Н. Сперанского, каждое из них получило свое развитие. В эту круговерть был вовлечен и будущий академик В. В. Виноградов, ставший к этому времени москвичом.

Московское дело — "Дурново Н. Н. и другие", как и все дела на "участников" РНП, было сверхсекретным. В ходе следствия (кроме немногочисленных очных ставок) подследственные были наглухо изолированы друг от друга. Постановления Коллегии и Особого совещания при коллегии, решавшие их участь, выносились заочно. Выписки из постановлений с указанием статьи УК РСФСР, срока и места отбытия наказания вручались каждому осужденному в отдельности и только в момент отправки по назначению. Спецконвою сопровождения предписывалось самым строжайшим образом следить за тем, чтобы осужденные не соприкасались друг с другом, даже если они направлялись в одно и то же место.

Суть дела № 2554, конкретная вина каждого из последственных и, наконец, ответ на вопрос, кто они, "русские фашисты", — все это изложено в обвинительном заключении. Заключение — это итог и результат работы следствия, возглавлявшегося начальником 2-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ Каганом, при непосредственном участии заместителя начальника СПО Люшкова, начальника СПО Г. Молчанова, заместителя председателя ОГПУ Я. Агранова. Дело "курировал" лично Г. Ягода.

Приводим выдержки из текста "Обвинительного заключения по следственному делу № 2554" (т. 9, л. 1).

"Проведенным по делу следствием установлено, что в Москве, Ленинграде, на Украине, в Азово-Черноморском крае, в Белоруссии, западной области и Ивановской области существовала разветвленная контрреволюционная национал-фашистская организация, именовавшаяся "Российская национальная партия", ставящая своей целью свержение Советской власти и установление в стране фашистской диктатуры. <...>

Контрреволюционная организация "РНП" была создана по прямым указаниям заграничного русского фашистского центра, возглавляемого князем Н. С. Трубецким, Якобсоном, Богатыревым и другими. <...>

---

1 Разработка — проф. жаргонизм, обозначает собирание в секретное дело (досье) компрометирующих материалов на лицо, группу лиц, организацию. Сюда входят доносы сексотов, протоколы тайных наблюдений и пр., а также задания агентам, планы оперативных комбинаций и т. д. Жупан — 1) старинная верхняя одежда у украинцев и поляков, род полукафтана. Ср. с русским "зипун"; 2) должностное лицо, возглавлявшее "жупу". Первоначально "жупа" у западных и южных славян — территориальное объединение родовых, позднее — соседских общин.

Во главе "Российской национальной партии" стоял политический центр, из состава которого следствием выявлены:

1) академик Н. С. ДЕРЖАВИН, бывший директор гимназии до революции, директор Института славяноведения в Ленинграде, проживает там же;

2) академик М. С. ГРУШЕВСКИЙ, бывший председатель Центральной Рады на Украине, проживает в Москве; <...>

3) академик В. И. ВЕРНАДСКИЙ, бывший член ЦК кадетской партии, сын его — видный деятель евразийского движения за кордоном, проживает в Ленинграде;

4) академик Н. С. КУРНАКОВ, директор Химической ассоциации Академии наук СССР, проживает в Ленинграде;

5) академик В. Н. ПЕРЕТЦ, видный украинский националист, вице-директор Института славяноведения в Ленинграде, проживает в Ленинграде;

6) Н. Н. ДУРНОВО — дворянин, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, бывший "октябрист", проживает в Москве;

7) академик М. Н. СПЕРАНСКИЙ — монархист, литературовед, проживает в Москве;

8) Г. А. ИЛЬИНСКИЙ — профессор-лингвист, проживает в Москве;

9) В. Н. КОРАБЛЕВ — бывший активный политический деятель при царизме, черносотенец, один из руководителей Института славяноведения в Ленинграде. <...>

В основу программных установок организации были положены идеи, выдвинутые лидером русского фашистского движения за границей — князем Н. С. ТРУБЕЦКИМ. Сущность их сводилась к следующему:

1) Примат нации над классом. Свержение диктатуры пролетариата и установление национального правительства.

2) Истинный национализм, а отсюда борьба за сохранение самобытной русской культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа.

3) Сохранение религии как силы, способствующей подъему русского национального духа.

4) Превосходство "славянской расы", а отсюда — пропаганда исключительного исторического будущего славян как единого народа".

Отработка "программы" РНП Аграновым—Каганом протекала не без борений, следствие стремилось усугубить тяжесть вины подследственных. В программе РНП всего за две недели до вынесения заключения на Коллегию ОГПУ содержался еще один пункт. Он гласил: "5) Распространение антисемитских идей в целях развития и укрепления идей националистических" (т. 6, л. 198). В деле просматривается явная тенденция следствия приписать антисемитизм русским ученым. Так, в показаниях Н. Н. Дурново на имя прокурора СССР И. А. Акулова (август 1934 года) читаем: "Больным местом (М. Н. Сперанского. — А. Г.) является некоторый антисемитизм..." В свою очередь М. Н. Сперанский признал свою вину в том, что "некоторые разговоры", когда он принимал у себя в доме по понедельникам гостей, носили "антисемитский характер". "Это выражалось в том, что Ильинский, Дурново говорили, что евреи приобретают превалирующее значение в общественной жизни, большее, чем до революции" (т. 11, л. 190).

"Романы" (то есть показания, протоколы допросов) писались, как правило, самими следователями. Они могли вписывать в них любые нужные им "факты", свидетельства и так далее. Нет сомнения в том, что аполитичные, пожилые, больные люди, интеллигентность которых не вызывает ни малейших сомнений, упоминали антисемитизм не без предшествующей "обработки" следователями. Дальнейшего развития эта тема в данном деле не получила. Возможно, она была оставлена "про запас".

Далее в "Обвинительном заключении" утверждалось:

"До 1932—1933 гг. основную поддержку русский фашизм за границей и "РНП" в Советском Союзе получали от реакционных французских кругов. С ростом фашистского влияния в Германии "РНП" переориентировалась на германские фашистские круги. Одновременно не порывались и старые связи с французскими и чешскими контрреволюционными кругами. <...> Легальным прикрытием этой связи являлись созданные в целом ряде стран (Франция, Чехословакия, Германия) "Славяноведческие институты", через которые проводилась контрреволюционная работа на территории СССР" (Это позволяет сделать вывод, что само по себе изучение славянства рассматривалось руководством ОГПУ как проявление "фашизма". — А. Г.).

"Практическая деятельность" РНП в изложении следствия включала в себя все составляющие образа "врага" начала 30-х годов. Здесь и "вербовка кадров для организации", и создание "повстанческих ячеек", и "приобретение оружия", и неизменные "террор" и "вредительство".

На основании изложенного следствие обвиняло:

"1. ДУРНОВО Николай Николаевич, 1876 г. рождения, урож. г. Москвы... Бывший член Белорусской Академии наук, откуда исключен как социально-чуждый элемент <...>; 2. ИЛЬИНСКИЙ Григорий Андреевич, 1876 г. рождения, урож. г. Петербурга, сын служащего, славяновед ... член-корреспондент Академии наук <...>; 3. СЕЛИЩЕВ Афанасий Матвеевич, 1886 г. рождения (из крестьян. — А. Г.)... член-корреспондент Академии наук, примыкал к монархистам <...>; 7. КВИТКА Климентий Васильевич, 1880 г. рождения, уроженец г. Киева, украинец, сын казака ... профессор историко-этнографической кафедры Московской консерватории <...>; 9. ПАВЛОВИЧ Андрей Иванович, 1889 г. рождения, уроженец г. Слоним, белорус... сын священника... бывший офицер царской армии, до ареста доцент Международной Ленинской школы <...>; 16. ТРУБЕЦКОЙ Владимир Сергеевич, 1891 г. рождения, уроженец г. Москвы, из потомственных дворян, бывший князь... до ареста работал музыкантом в кино г. Загорска Московской обл., имеет брата за границей, возглавляющего русский национал-фашистский центр <...>; 17. ТРУБЕЦКАЯ Варвара Владимировна, 1916 г. рождения, уроженка г. Москвы, урожденная княгиня... до ареста ученица театральной студии <...>"

Текст обвинения в части В. В. Виноградова приводим полностью:

"11. ВИНОГРАДОВ Виктор Владимирович, 1894 г. рождения, уроженец гор. Зарайска, происходит из дворянско-духовной семьи, русский, гражданин СССР, окончил Историко-филологический институт в Ленинграде, до ареста профессор по курсу языковедения в Институте им. Бубнова, (обвиняется. — А. Г.) в том, что:

1) Входил в состав к.-р. организации "Российская Национальная Партия".

2) Входил в группу организации, возглавляемую членом к.-р. центра ДУРНОВО Н. Н. (Помимо В. В. Виноградова, в нее якобы входили И. Г. Голанов, В. Н. Сидоров. — А. Г.)

3) Принимал участие в к.-р. совещаниях у активного члена организации ИЛЬИНСКОГО, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58/10, 11 УК РСФСР.

Виновным себя признал".

Среди обвиняемых не только именитые дворяне и всемирно известные ученые-филологи и искусствоведы, но и рядовые интеллигенты: агроном Н. И. Аргасов, геолог В. М. Чернов, безработный литератор Б. С. Пушкин и др.

Восемь обвиняемых, в их числе А. В. Григорьев (краевед), К. В. Квитка, Н. И. Лебедева (музейный работник), П. А. Расторгуев (профессор МГУ, специалист по древнерусскому языку), А. М. Селищев, Е. В. Танцова (чертежница), Г. А. Тюрк (детский врач), Ф. В. Ховайко (инспектор земельного управления) — виновными себя не признали.

Дело представляли "на рассмотрение коллегии ОГПУ" "помнач." 2 отделения СПО ОГПУ Сидоров и "нач." того же отделения Каган. "Согласен: Зам. нач. СПО ОГПУ" Люшков. В левом углу первой страницы "Заключения": "Утверждаю" "нач." СПО ОГПУ Г. Молчанов.

К "Обвинительному заключению" прилагалась "Справка", подписанная Сидоровым. Ее четыре пункта наглядно демонстрируют масштабы и механизм фабрикации дела:

"1. Список арестованных по делу"...

Первоначально в числе арестованных числился еще один москвич — известный русский славист Николай Леонидович Туницкий, 1878 г. рождения. Допрашивался. Следствие сочло возможным изменить ему меру пресечения, заменив содержание под стражей на подписку о невыезде. Придя домой, он покончил с собой.

"2. Материалы на участников организации в Ленинграде, на Украине, в Азово-Черноморском крае, Смоленске, Ивановской промышленной области находятся в отдельном производстве".

Только в Ленинграде были арестованы как "участники фашистской организации русских и украинских националистов" 35 человек. В их числе: В. Н. Кораблев, ученый секретарь Института славяноведения, Р. Р. Фасмер, Э. И. Линдрос, научные сотрудники Эрмитажа, Ф. И. Шмидт, действительный член АН УССР, П. И. Нерадовский, зам. директора Русского музея, В. И. Асмин, секретарь Управления Детскосельских и Павловских дворцов-музеев, Б. Л. Личков, профессор ЛГУ и др. Можно представить себе, сколько же дел находилось в "отдельном" производстве на названных территориях!

"3. Материалы на участников организации, не привлеченных по данному делу, согласно имеющемуся в деле постановлению, выделены в особое производство".

В "особое производство" с целью "уточнения имеющихся данных" выделены дела на В. И. Вернадского, Д. Н. Ушакова, Н. К. Гудзия, Д. П. Святополк-Мирского, Ю. М. Соколова и др. Всего в этом постановлении СПО ОГПУ от 28 марта 1934 г. названо 36 деятелей отечественной науки и культуры.

"4. Вещдок. — изъята при обыске брошюра князя Н. С. Трубецкого, приложена в особом пакете".

Из этого пункта вытекает, что практически не было никаких доказательств уголовных преступлений обвиняемых. Дело № 2554 (как и другие дела, связанные с РНП) с истоков и до его завершения носило сугубо политический характер.

29 марта 1934 г. в судебном заседании коллегии ОГПУ СССР слушалось следственное дело № 2554 "Дурново Н. Н. и др." В два приема. Обвинялись 22 человека в контрреволюционной деятельности по статье 58, параграфы 4, 8, 10, 11·УК РСФСР (шпионаж, террор, участие в к.-р. организации, антисоветская агитация). Полученные обвиняемыми сроки — от расстрела (замененного десятью годами исправительно-трудовых лагерей) до пяти лет исправительно-трудовых лагерей (т. 10, лл. 39, 40).

2-го апреля 1934 г. Особое совещание при коллегии ОГПУ поставило в нем последнюю точку, заслушав "дело № 2554 по обвинению граждан Квитка Климентия Васильевича, Виноградова Виктора Владимировича и др., в числе 10 человек, по 58/10, 11 ст. УК" (т. 10, л. 41).

Дела (как это видно по количеству вынесенных на коллегию и на ОСО вопросов) просто штамповались и подписывались секретарем коллегии ОГПУ, правой рукой Г. Ягоды — П. Булановым. Обвиняемые этой группы получили сравнительно мягкие наказания: от трех лет исправительно-трудовых лагерей до трех лет ссылки.

На первый взгляд "участникам" партии "русских фашистов" в 1934 г. повезло больше, чем их "предшественникам" в 1924 г.: ни одного расстрела. Но не пройдет и нескольких лет, как по вновь сфабрикованным делам еще до истечения срока пребывания осужденных в исправительно-трудовых лагерях и ссылках будут расстреляны: отец и сын Дурново, отец и дочь Трубецкие, Г. А. Ильинский, участники краеведческого кружка Г. А. Тюрк, В. Э. Розенмейер, А. А. Устинов, а также славист В. В. Дроздовский, искусствовед Б. Г. Крыжановский, инженер А. А. Синцов (т. 11, л. 493).

Документов, связанных непосредственно с В. В. Виноградовым, в деле № 2554 не так уж много. Это ордер на производство ареста и обыска, протокол обыска, анкета арестованного, четыре протокола допросов, разная документация технического рода. С ордера № 146117 от 8 февраля 1934 г. и начинается "слом", по выражению жены В. В. Виноградова Надежды Матвеевны Малышевой, в его жизни. Ордер подписан заместителем председателя ОГПУ Я. Аграновым (т. 2, л. 184).

Обыск зафиксирован в протоколе. "Взято для доставления" в ОГПУ: "1. Разная переписка". Она и послужит для СПО источником информации о "преступных" связях В. В. Виноградова. Протокол составлен 9 февраля 1934 г. (т. 2, л. 190).

Есть справка из Центральной картотеки Учетно-статистического отдела ОГПУ от 10 февраля 1934 г., смысл которой в том, что ранее В. В. Виноградов ОГПУ не наблюдался и "компромата" на него на момент ареста не было.

На Лубянке В. В. Виноградов заполнил "Анкету арестованного" (т. 2, л. 190, 191).

Из анкеты: "Виноградов Виктор Владимирович, 1894 г. рождения, г. Зарайск". Дата указана по старому стилю — 12 января 1895 г. по новому стилю.

"Из недвижимого и движимого имущества" "до 1929 г." и на момент ареста В. В. Виноградов называет: "книги, белье, верхняя одежда". Примерно то же, включая период "до 1917 г.," писали в анкетах "подельники" В. В. Виноградова: "неимущий", "носильные вещи", "кровать, полка с книгами", "кроме одежды, ничего не имею" и т. д. и т. п. Из 32 арестованных едва ли наберется человек пять, кто располагал хорошей библиотекой, квартирой, деньгами.

На вопрос о происхождении В. В. Виноградов сообщает: "отец — из духовного звания, мать — из дворян (оба умерли)". Остановимся на ответе В. В. Виноградова подробнее. Глава семьи Виноградовых — Виноградов Владимир Александрович (1867—1933) был священником Троицкой церкви г. Зарайска, его жена Виноградова Ольга Ивановна (1870—1933) вела домашнее хозяйство. В семье было 8 человек детей. Жили очень бедно; дети, получив среднее образование, выбивались в люди самостоятельно. Виноградов, проявив выдающиеся способности и трудолюбие, получил высшее образование за казенный счет.

В. В. Виноградов никому и никогда не рассказывал об обстоятельствах и причине смерти родителей. Это понятно: в декабре 1930 г. его отец В. А. Виноградов, священник Николо-Ямской церкви г. Рязани, был арестован и осужден (январь 1931 г.) по ст. 58/10 (антисоветская агитация). Сослан на три года в Казах-

стан (Актюбинская область). В ссылку уехал вместе с женой О. И. Виноградовой. Его позиция по отношению к советской власти с достаточной полнотой определена им самим в "дополнительных показаниях" суду 17 января 1931 г.: "С политикой Сов. власти я не согласен только по вопросам религии, именно в том смысле, что неверию придается прав больше, чем религии; также классовое неравенство считаю несогласным с моим религиозным воззрением, т. к. считаю необходимым абсолютное равенство, как экономическое, так и политическое. Своих убеждений я никому не высказывал и по вопросам политики ни с кем не говорил. Действия Сов. власти, как хозяйственные (налоги, коллективизация, продовольственные затруднения), так и политические (лишение прав, религиозные ограничения), я ни с кем не обсуждал и не подвергал критике. Никакой антисоветской агитацией я не занимался, больше показать ничего не могу. Протокол записан мной. Владимир Александрович Виноградов". (Сообщено В. Н. Виноградовой, племянницей В. В. Виноградова.) Дополнительный штрих: В. А. Виноградов сообщил, что имеет детей, но кто из них где находится — не знает.

Отец и мать В. В. Виноградова умерли в один день, 24 апреля 1933 г. на Пасху, до истечения срока ссылки, предположительно от истощения. "Виктор и Сергей, которые приехали по телеграмме, застали мертвого отца за столом и мать без сознания". (Сообщено А. В. Виноградовой, сестрой В. В. Виноградова. — Архив В. М. Мальцевой).

Далее из анкеты: В. В. Виноградов в прошлом и настоящем не принадлежал ни к каким партиям; не состоял под судом и следствием. Категория воинского звания — рядовой; здоровье — среднее. Жена: Малышева Надежда Матвеевна, 34 года; пианистка, безработная (т. 2, л. 191).

Спустя две недели после ареста В. В. Виноградову предъявляется обвинение.

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения.
1934 года, "22" февраля дня, гор. Москва

Я, помнач. 2 отд. СПО ОГПУ Сидоров, рассмотрев следственный материал по делу № 2554 и приняв во внимание, что гр. Виноградов Виктор Владимирович достаточно изобличается в том, что он является участником контрреволюционной национал-фашистской организации, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58/11, 58/10 УК РСФСР, потому постановил:

Гр. Виноградова Виктора Владимировича привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 58/11, 58/10 УК РСФСР, а мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать: содержание под стражей. Помнач. 2 отд. СПО ОГПУ Сидоров.

Настоящее постановление мне объявлено (дата не указана. — А. Г.).

Подпись обвиняемого Викт. Виноградов.

Справка: *копия направлена: а) Прокурору ОГПУ 23/П—34...*"

Судьба В. В. Виноградова могла быть не менее трагичной, чем судьба Н. Н. Дурново и Г. А. Ильинского. В глазах бдительных сотрудников СПО ОГПУ он очень подходил на одну из ведущих ролей в РНП. Социально-чуждый по происхождению. Н. С. Трубецкой, глава закордонного "центра русского фашизма", сам посылает ему из Австрии свои евразийские книги. Р. О. Якобсон из Праги — второй по рангу деятель "русского фашизма" за рубежом — его коллега по Ленинграду: вместе учились в аспирантуре. Общается с представителями интервенционистских кругов Запада: славистом Андрэ Мазоном из Франции и с учеником Н. С. Трубецкого Рудольфом Ягодичем из Австрии, который к тому же в это время живет в Москве, в помещении Австрийского посольства, и бывает у Виноградовых дома. С Н. Н. Дурново, "членом политического центра партии русских фашистов в СССР", пишет совместно учебник, а сын Н. Н. Дурново Андрей — его слушатель по Ленинградскому университету. Однако в дело вмешался Н. Л. Мещеряков (1865—1942), один из руководителей Словарного издательства, организатор "Толкового словаря русского языка". Человек образованный, с партийными связями, имевший большой общественный вес, он очень высоко ценил участие В. В. Виноградова в словарной работе и, как писала Н. М. Малышева, "ходил в НКВД хлопотать, чтобы ВВ не послали в концлагерь... Мещеряков отхлопотал изъятие параграфа 4 (шпионаж), и ВВ получил высылку в Вятку, где он должен был работать над словарем". (Из письма от 19.XII—77 Л. Е. Косячковой. — Архив Л. Е. Мисайлиди-Косячковой).

Вели дело в части В. В. Виноградова и "обрабатывали" его наиболее солидные по рангу сотрудники ОГПУ: С. М. Сидоров, помощник начальника 2 отделения Секретно-политического отдела Кагана, и В. П. Горбунов[1], сотрудник для особых поручений при начальнике СПО ОГПУ Г. Молчанове.

Судя по протоколам допросов, московские (внутренние) связи Виноградова "выявлял" С. М. Сидоров, а внешние, закордонные — В. П. Горбунов. В письмах В. В. Виноградова из ссылки упоминается только Горбунов. Н. М. Малышева в рассказах и записях также называет следователем В. В. Виноградова только Горбунова. Известно, что С. М. Сидоров, в отличие от В. П. Горбунова, упоминался жертвами дела № 2554 как один из тех, кто применял незаконные методы следствия. В. В. Виноградов писал жене из Кирова, что "следователь Горбунов" "убеждал" его в том, что ссылка для него (Виноградова) — пробный камень. Она поможет ему проверить самого себя. Если он (Виноградов) "ближе к величию", то ему ничто не грозит и в ссылке, он ее выдержит. Если же он (Виноградов) "далек от величия" — утраты для науки и человечества не будет. Как видим, аргументация неотразима для того, чтобы убедить ученого в том, что он — "русский фашист". Справедливости ради отметим: после осуждения В. В. Виноградова Горбунов помог Н. М. Малышевой отстоять московскую жилплощадь и вызволить Виноградова из Кирова поближе к Москве.

Первый протокол допроса В. В. Виноградова не датирован. По его содержанию можно заключить, что он допрашивался сразу же по предъявлении ему обвинения, т. е. 22 февраля 1934 г. В. В. Виноградов не признал себя виновным в предъявленном ему обвинении (т. 5, л. 50).

На следующий день, 23 февраля 1934 г., В. В. Виноградов допрашивался второй раз.

С. М. Сидоров потребовал от В. В. Виноградова назвать всех родственников, а также круг лиц из числа знакомых В. В. Виноградова в Москве. Его особенно интересовали имена Ильинского, Сперанского, Дурново. В. В. Виноградов сообщил, что знаком с Г. А. Ильинским. Сперанского знает, но с ним незнаком. Возможно, следователь "давил" на В. В. Виноградова, требуя более подробной информации о Н. Н. Дурново. Поэтому после того, как В. В. Виноградов подписал протокол допроса, он сделал собственноручную приписку: "Разъясняю, что по предложению Уч. Гиз(а) я должен был писать совместно с Н. Н. Дурново Курс ист. русск. яз., но эта работа не осуществлена" и подпись: "Викт. Виноградов" (т. 6, лл. 137, 138).

Из родственников, помимо жены, Виноградов называет трех братьев — Николая, "работающего в ЦИНС(?)", Сергея — "инженера в Подольске", Александра — "безработного", сестру Марию — бухгалтера на складе. Видимо, В. В. Виноградов так волновался, что не назвал имен старшего брата Ивана, чей кожан вскоре будет донашивать в Вятке, и сестры Антонины; оба служащие.

Более трех недель допросов не было. Наконец 15 марта В. В. Виноградов попросил сам вызвать его на допрос. Нет сомнения в том, что в процессе "бесед" со следователями к этому времени он был настолько "обработан", что больше не мог по своему психофизическому состоянию оказывать следствию сопротивление. В то же время руководство СПО уже имело в своем распоряжении достаточно материала для обвинительного заключения и не стеснялось в средствах нажима на подследственных. Допрос В. В. Виноградова 15 марта 1934 г. вел Сидоров.

"Вопрос: Вы просили вызвать Вас на допрос, что Вы имеете показать?

Ответ: <...> Я признаю, что был настроен до ареста антисоветски. Мои настроения росли и из моих антимарксистских идеологических установок и из моей неудовлетворенности в стране, особенно резкими формами борьбы против капиталистических буржуазных элементов, принявшими широкое распространение за последние годы; тяжелым положением интеллигенции..." В. В. Виноградов признает далее, что он сознательно не участвовал в "советской общественной жизни"... (т. 7, л. 252).

Последний, четвертый допрос В. В. Виноградова 27 марта 1934 г. вел Горбунов.

"Вопрос: Расскажите, при каких обстоятельствах Вы познакомились с книгой Трубецкого "К проблеме русского самопознания".

Ответ: Впервые книгу Трубецкого "К проблеме русского самопознания" я получил в Ленинграде приблизительно в 1922 г. <...> Затем, около года спустя, я получил эту книжку от самого Трубецкого, который прислал мне ее по почте. В этой книге изложены основные программные положения русского национализма, пропагандируемого Трубецким[2]. Книгу Трубецкого я хранил до января 1934 г. После ареста Дурново Николая я, опасаясь обыска и обнаружения ее у меня, эту

---

1 Горбунов Виктор Петрович (1906—1938?) — уроженец с. Березняки Воскресенского р-на Саратовской области. К концу 30-х годов ст. лейтенант госбезопасности.

2 См. Вадим Кожинов. "Историософия Евразийцев". — "Наш современник", 1992, № 2, с. 140.

книгу сжег". О том, что на самом деле произошло с книгой, рассказывает Н. М. Малышева: "В ночь на 8-е февраля (1934 г.) к нам пришли с обыском. Два человека. Потом третьего пригласили. Книг было очень много. Пока их разбирали, наступило утро. Книгу Трубецкого не взяли. Она была на русском, а они откладывали книги на иностранных языках. Когда Виктора Владимировича уводили, он мне быстро сказал: "Трубецкого приберите" <...>. И я действительно отдала эту книжку работнице наших соседей, Матрене Ивановне, чтобы она ее сожгла. <...> Сама я боялась ее жечь после обыска, мало ли что. Матрена Ивановна просьбу мою выполнила". (Магнитофонная запись В. В. Одинцова, 14.04.79, расшифровка Е. В. Одинцова.

"**Вопрос**: Расскажите о Вашем знакомстве с Ягодичем?

Ответ: С Ягодичем Рудольфом, сотрудником Австрийской миссии в Москве, я познакомился у проф. Сакулина. Кроме квартиры Сакулина, я встречался с Ягодичем в Академии художественных наук. У меня на квартире Ягодич был один или два раза. Ягодич ученик Трубецкого. Во время посещений моей квартиры я у Ягодича интересовался работой Трубецкого.

Вопрос: Передавали ли Вы какие-либо материалы через Ягодича Трубецкому?

Ответ: Никаких материалов Трубецкому я через Ягодича не передавал" (т. 8, лл. 442, 443).

Лубянская эпопея заканчивалась: В. В. Виноградова больше не допрашивали, не "обрабатывали", не убеждали в том, что он "русский национал-фашист". 8 апреля 1934 г. полномочному представительству ОГПУ Горькрая в г. Горький была направлена выписка из протокола ОСО при коллегии ОГПУ от 2.04.1934 по делу № 2554. Она гласила:

"5. Виноградова Виктора Владимировича выслать через ПП ОГПУ в Горькрай сроком на три года, считая срок с 8/II—34 г.

Направить этапом" (т. 9, л. 41).

Вскоре в сопровождении спецконвоя В. В. Виноградов едет в г. Горький для последующего "водворения" по месту ссылки. Местом ссылки ПП ОГПУ Горькрая ему определило г. Вятку, которая через несколько месяцев стала называться г. Киров. Из Горького в Вятку В. В. Виноградов едет "свободный", без конвоя. Это было 18 апреля 1934 г. Начиналась другая жизнь — ссыльное бытие...

* * *

В начале 60-х годов КГБ, Прокуратура СССР, судебные органы, пересматривая дела, связанные с репрессиями 20 — 30-х годов, изучали и дела "русских фашистов", в том числе дело № 2554. Чтобы установить истину, были использованы все каналы, имеющиеся в распоряжении этих структур. Изучены десятки томов следственных дел, объяснения оставшихся к тому времени в живых участников и свидетелей дела РНП, сопутствующие документы и т. д. Аналитическая работа по материалам проверки составляет около 500 страниц. В результате проверки установлено, "что в 1934 году антисоветской организации, так называемой "Российской национальной партии" в действительности не существовало", что "осужденные Павлович А. И., Сычев Н. П., Кравцов Н. И., Голанов И. Г., Барановский П. Д. и Виноградов В. В. показали, что в 1934 году к ним применялись незаконные методы следствия, поэтому они о себе давали ложные показания" (т. 11, л. 497).

В ходе этой проверки писал объяснение и академик В. В. Виноградов. Текст объяснения сохранился. В. В. Виноградов писал на листках, вырванных из блокнота; некоторые предложения, слова перечеркнуты, много поправок. Очевидно, вызов в КГБ или визит к нему на работу сотрудника КГБ был для В. В. Виноградова неожиданностью. Похоже, что сначала с ним побеседовали, а потом предложили изложить самое существенное, и он писал второпях. Приводим текст объяснения (в сокращенном виде). Публикуется впервые.

В КГБ при СМ СССР

В феврале 1934 г. я был арестован. Был сначала заключен в одиночную камеру на Лубянке. Для меня и моей семьи (жены) арест оказался неожиданным. Правда, перед этим были произведены довольно многочисленные аресты славистов и специалистов по русскому языку среди лингвистов г. Москвы. Но лично я не был тесно связан с московскими славяноведами, мало общался с большинством из них как петроградец (ученик акад. А. А. Шахматова и акад. Л. В. Щербы) и не ожидал для себя никаких неприятностей. Впрочем, к тому времени в общее

сознание нашей интеллигенции (включая сюда и научные круги) уже стало вкореняться убеждение, что у нас начинает развиваться широкая кампания по истреблению кадров так наз. "буржуазных" специалистов в различных областях науки и техники; что всевозможными способами оформляются фиктивные контрреволюционные, "антисоветские" организации и (их участники. — А. Г.) направляются в концлагери или в места ссылки.

Лично я в это время был перегружен, с одной стороны, напряженной работой по подготовке "Толкового словаря русского языка" (по предложению В. И. Ленина — редактор проф. Д. Н. Ушаков), а с другой стороны, подготовкой двух книг, которые, к счастью, вышли в свет, несмотря на все мои злоключения: "Язык Пушкина" (изд. "Academia"; 1935) и "Очерки по истории русского литературного языка" (1934). Находился в состоянии крайнего переутомления. Поэтому я не выдержал глухого тюремного режима и — месяца через два после заключения — подписал все то, что следователь считал целесообразным возвести на меня (т. е. участие в организации славянофильского, профашистского типа). Никак не могу ни одобрить своего тогдашнего поведения, ни простить его себе. Способ "обработки" арестованных тогда был довольно примитивный: если человек не согласен с явными безобразиями и беззакониями бытовой и научной практики того времени, то он настроен "антисоветски" и т. п. (выражения — "несоветский" или даже "критически настроенный" — были исключены из употребления).

Надежд на законное, юридически оправданное ведение "дела" никаких не было. Так как все обвинение представлялось крайне нелепым и диким, то казалось целесообразным "удовлетворить" следователя и затем, отстрадавши, вернуться к общественно-полезной деятельности. Само собой разумеется, что эта "логика" в настоящее время мне не кажется правильной.

Ни к какой организации славянофильского или российско-националистического типа я не принадлежал. Я как в настоящее время, так и тогда не мог даже допустить ее существования у нас — в России. Но русский народ я любил и люблю. <...>

Необходимо прямо и честно сказать, что все эти основательно подготовленные лингвисты (ранее упомянуты: М. Н. Сперанский, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, Н. Н. Дурново, И. Г. Голанов, В. Н. Сидоров. — А. Г.) в то время были или совсем отстранены от активной научно-педагогической деятельности в высшей школе или назначены на жалкие второстепенные роли. Однако, оттесняемые и притесняемые представители старой кадровой славистической науки не были сплочены ни в какую общественную группу (или "организацию"). Лично я... общался больше всего с составителями Толкового русского словаря — с Д. Н. Ушаковым, Г. О. Винокуром, М. П. Петерсоном, отчасти же с работниками Министерства просвещения и Учебно-педагогического издательства — В. Н. Сидоровым, Р. И. Аванесовым.

Хотя у меня еще со студенческих лет завязались — под влиянием моих учителей — акад. А. А. Шахматова и акад. Л. В. Щербы — связи с некоторыми зарубежными славистами (напр., с сербским академиком — президентом Акад. наук А. И. Беличем — ныне покойным, с французским акад. Андрэ Мазоном, с чешским акад. Богуславом Гавранком и нек. др.), но в конце 20-х — начале 30-х годов эти связи почти оборвались. Правда, иногда я получал из-за границы книги, напр. из Праги, из Вены и т. п. Среди этих книг была, между прочим, книга проф. Н. С. Трубецкого (сына бывшего ректора Московского университета кн. Сергея Николаевича Трубецкого), который занимал кафедру славянской филологии в Венском университете: "К проблеме русского самосознания" (1927). В этой книге на языковедческой и музыковедческой основе развивалась своеобразная евразийская концепция истории русской культуры. Доказывалось, что в русской народной культуре был осуществлен глубокий и своеобразный синтез общеславянских и туранских (тюркско-азиатских) элементов, обусловивший жизненность и широкую многонациональную восприимчивость русского национального развития (иллюстрации — Ломоносов и народная музыка, а также пляска). Книга написана с большим блеском. Она и теперь признается за рубежом. В ней есть элементы русского национализма, но больше — патриотизма.

Проф. Н. С. Трубецкой не был фашистом. Он пострадал и умер при присоединении Австрии к фашистской Германии. Идеи Трубецкого оказывают огромное влияние на развитие современного лингвистического структурализма, между прочим, и у нас. Н. С. Трубецкой считается ученым мирового значения. Я не был с ним знаком лично, но он меня знал и ценил. Его ученик — проф. Руд. Ягодич занимался под моим руководством, будучи направлен в Москву.

Оглядываясь назад, я вижу, что все арестованные тогда слависты были политически малограмотны, могли испытывать некоторые субъективные ощущения недовольства современной советской действительностью и условиями своей научной работы, но представляли собой крайне пеструю и неоднородную массу и

никак не походили на какую-нибудь политическую организацию. Единства взглядов и убеждений у них никакого не было.

Дальше почтения к старшим (напр., к акад. М. Н. Сперанскому, чл.-корр. Г. А. Ильинскому и нек. др.) и некоторого повиновения им дело не шло. Быть может, было также — под влиянием старой славяноведческой традиции — сознание полезности и целесообразности дружественного культурно-политического общения славянских государств. Возможно, при брюзжании и психическом противодействии мелким оскорблениям (а их тогда было немало) прорывались у кое-кого "антисоветские" высказывания. Допускаю также у молодежи (типа А. Н. Дурново) неосмысленное фрондирование. Но от всего этого до заключения о существовании профашистской организации — "дистанция огромного размера".

В настоящее время, будучи сначала председателем, а затем заместителем председателя Международного комитета славистов и состоя бессменно председателем Советского Комитета Славистов, я близко знаком со всеми выдающимися славистами мира и могу твердо ручаться, что в то время никакого руководства организацией русских националистических или профашистски-славянофильских объединений в Советском Союзе не могло быть. Это, конечно, не значит, что крупнейшие слависты мира целиком одобряют и сочувственно принимают нашу политику и тактику даже в области славяноведения. <...>

Во всяком случае, процесс славистов-филологов в 1934 г. сильно ослабил базу нашего славяноведения. Почти половина крупнейших русских славистов была так или иначе отстранена от науки или уничтожена. Прекратили свою научно-исследовательскую деятельность академики В. Н. Перетц и М. Н. Сперанский. Уже не вернулись к науке умершие в концлагерях и ссылке чл.-корр. Акад. Наук Н. Н. Дурново и Г. А. Ильинский. (В. В. Виноградов не знал, что в 1937—1938 гг. они были расстреляны. — А. Г.) Вскоре после освобождения умер от рака чл.-корр. А. М. Селищев. Повесился на другой день после выпуска из тюрьмы проф. Н. Л. Туницкий.

Акад. Викт. ВИНОГРАДОВ

1964, 23.III

(т. 11, лл. 55—66)

В конце 1964 г. В. В. Виноградов получает по почте "Справку":

5 ПМ 262/64
17/XI—64 г.

СПРАВКА

Дело по обвинению ВИНОГРАДОВА Виктора Владимировича, до ареста профессор языковедения Института им. Бубнова, пересмотрено Президиумом Московского городского суда 26 октября 1964 г.

Постановление особого совещания при коллегии ОГПУ от 2 апреля 1934 года отменено, а дело в отношении ВИНОГРАДОВА Виктора Владимировича, 1894 года рождения, производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

ВИНОГРАДОВ Виктор Владимирович по настоящему делу реабилитирован.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА (ОСЕТРОВ)

Москва, Калашный пер. 2/10, кв. 11
Виноградову Виктору Владимировичу

Прочтя публикуемую справку, В. В. Виноградов полушутя-полусерьезно заметил: "А я и не знал, что до сих пор был поднадзорным".

Этим юридическим документом с делом № 2554 ("русских фашистов") в жизни академика В. В. Виноградова было покончено навсегда. Жить ему оставалось пять лет...

ЛАУРЕАТЫ ЖУРНАЛА
за 1994 год

Редакция журнала "Наш современник" признала лучшими следующие свои публикации 1994 года:



М. Аввакумова *В. Белов* *Ю. Беличенко* *С. Говорухин*

Е. Курдаков *С. Кара-Мурза* *В. Катасонов* *В. Кожинов*

В. Личутин *И. Переверзин* *А. Трапезников* *Н. Толстой*

Мария АВВАКУМОВА. Подборки стихотворений "Против Господа все беспобедно", "Только ласточки есть у меня" (№ 4, 10);
Василий БЕЛОВ. "Год великого перелома". Роман-хроника (№ 1—2);
Юрий БЕЛИЧЕНКО. Подборка стихотворений "Нам досталась такая страна" (№ 8);
Станислав ГОВОРУХИН. "Великая криминальная революция" (№ 5);
Евгений КУРДАКОВ. Подборка стихотворений "У стены расстрелянного дома" (№ 3);
Сергей КАРА-МУРЗА. "Тайная идеология перестройки" (№ 1—3);
Владимир КАТАСОНОВ. "Хождение по водам" (Религиозно-нравственный смысл "Капитанской дочки" А. С. Пушкина) (№ 1);
Вадим КОЖИНОВ. "Загадочные страницы истории XX века" (№ 1—4, 8, 11—12);
Владимир ЛИЧУТИН. "Раскол". Роман (№ 1—6, 11—12);
Иван ПЕРЕВЕРЗИН. Циклы стихов (№ 4, 9);
Александр ТРАПЕЗНИКОВ. "И дам тебе звезду утреннюю". Повесть (№ 10);
Никита ТОЛСТОЙ. Этническое самопознание и самосознание Нестора летописца, автора "Повести временных лет" (№ 5).

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ!
Кроме того, редакция и редколлегия считают необходимым с особым удовлетворением отметить, что в 1994 году явственно обозначился новый подъем молодой патриотической литературы. Лучшими публикациями молодых, в частности, признаны:

Марина ГАХ. Подборка стихотворений "Был долгий день" (№ 3);
Николай ИВЕНШЕВ. "Хмель". Рассказ (№ 11—12);
Сергей ПУТИЛОВ. "Дымовая завеса" над тайной кагала" (№ 3);
Марина СТРУКОВА. Подборка стихотворений "Спите, трусы, вас спасут герои" (№ 7).

Цена договорная   Индекс 73274

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Новый, 1995 год — год Великой Победы над фашизмом — ознаменовался для редакции “Нашего современника” еще и началом самостоятельного юридического бытия в качестве негосударственной некоммерческой организации.

Это значит, что у нас есть теперь свой финансовый расчетный счет.

Это значит, что мы теперь напрямую отвечаем перед вами за своевременность и качество выпуска журнала (за доставку по-прежнему отвечает почта).

Это значит, наконец, что отныне только ваша поддержка — и подписка, и посильные пожертвования — обеспечат выживание “Нашего современника”, начавшего “свободное плавание” в бурных водах безжалостного к культуре “дикого” рынка.

...Всякое даяние — благо; мы будем сердечно признательны любому из вас и за скромную лепту, и за спонсорский взнос на частичное покрытие растущих вместе с ценами убытков по изданию журнала.

Давайте все вместе сохраним “Наш современник” — культурное достояние патриотической России!

Реквизиты нашего расчетного счета и новый юридический адрес журнала сообщим дополнительно в № 2.

“Наш современник”, 1995, № 1, 1 — 192